







А. Г. ЕМЕЛЬЯНОВ

ПЕРСИДСКИЙ ФРОНТ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ГАМАЮН“**

БЕРЛИН • 1923



Все права сохранены за автором

— — —

Tous le droits réservés par l'auteur

— — —

Copyrigt by Emeljanov

— — —

Alle Rechte vom Verfasser vorbehalten

А. Г. ЕМЕЛЬЯНОВ

ПЕРСИДСКИЙ ФРОНТ

(1915 — 1918)



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГАМАЮН“ БЕРЛИН 1923 ГОД

ГЕРМ АНИА

Отпечатано в типографии Артели „ПЕЧАТНОЕ ИСКУССТВО“

в ВЮНСЛОРЕ

в 1923 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НОВЫЙ ФРОНТ

Была война.

В то время как правители посылали на смерть миллионы людей, дипломаты изощрялись в придумывании новых фронтов, стремясь использовать долголетнюю к войне подготовку. Успехи немцев на тайных фронтах международной дипломатии были не менее сильны, чем на открытых полях битвы. Острые дипломатического оружия было направлено на уязвимые для англичан места: Персию, Афганистан и Индию. Агитация политическая, национальная, религиозная, широко одобренная подарками и подкупами, должна была принести скорые плоды. Поднять мусульманский Восток против англичан, персов — против русских, создать в тылу Русской армии, действовавшей против турок на Кавказе, новый фронт на плато Иран — вот мечты, реальные планы и указания немецких вдохновителей войны, дававшиеся из Берлина своим дипломатическим представителям в этих странах.

Еще задолго до войны, в предвидении будущего столкновения, России и Германии готовили в Персии вооруженные силы. Русское Правительство создало из персов „Персидскую Казачью Бригаду“ с русским командным составом, а немцы, при помощи инструкторов павлов, организовали — персидскую жандармерию. „Казачи“ должны были нести службу связи, охраны и защиты русских учреждений и граждан, а жандармы — охранять мирных жителей, персидские учреждения, дороги. На самом же деле жандармы и персидские „казачи“ по воле своих хозяев стали активным элементом в политической борьбе, разыгравшейся в Персии в первой половине тысяча девятьсот пятнадцатого года.

* * *

Германский посланник, принц Рейс, уехал в Германию и возвратился весной в Тегеран. Он торжественно провозгласил политику „пассивности“.

* * *

Русский посланник, камергер фон-Эттер, долгоязыкий, корректный финляндец, холодный как и его страна, многого не понимал. Война затягивалась, съ разных мест консулы — все новые люди, писали одни неприятности; приходилось много сочинять и подписывать бумаг, без конца ездить, совещаться, ломать голову.

Большими шагами Эттер ходил по подаренному шахом ковру в столовой, думал и морщился...

— Опять четыре фургона с оружием привезли в немецкое посольство! Хотя бы постеснялись, а то среди белого дня! Да еще под охраной этих... жапдармов. Да, политика пассивности!

Эттер вспомнил об убийстве русского вице-консула Кавера в Исфгани, нападение на английского и нашего консула в Кянгавере и криво усмехнулся. — Да, здесь будут неприятности. Собственно они уже есть! Но почему Петербург так медлителен? Войска, войска нужны. Нам ведь так легко их подать, а немцы не могут. Да, в этом наше большое преимущество. Надо подумать, надо подумать...

* * *

В Персии поздняя осень. Приближались праздники Мохаррема, вернее не праздники, а траурные дни — „ашура“. Тысячу триста слишком лет тому назад в сражениях с арабами погибли потомки Имама Али-Шах-Гуссейн и его семья. Погибли героями в мучительной борьбе потомки первого халифа, и достойные почитатели памяти их и их страданий, персы, задолго еще до наступления страстных дней, готовятся к пышным и печальным торжествам.

Устраиваются разнообразные представления религиозных мистерий, — „тазие“ и религиозные собеседования „роузе-хана“ на темы о страданиях потомков первого халифа. Мистерии обставляются пышно, главным образом на улицах и площадях городов, а собеседования по преимуществу в мечетях, домах высшего духовенства и знати. Первоначальный, исключительно религиозный характер этих мистерий и бесед теперь значительно видоизменился, и на собраниях часто можно услышать речи на политические темы.

Мечети пользуются правом убежища. Здесь можно говорить свободно, критиковать правительственную программу и мероприятия. Полиция, как действующий исполнительный аппарат, внутри ограды не имеет никакой силы и не рискует проявить даже здесь, не говоря уже о храме, меры административного воздействия. Это вековая традиция, и горе тому ретивому полицейскому, который посягнул-бы на эту прерогативу толпы. В последние годы такие собрания в мечетях превратились в политические митинги и, религиозная аудитория вляется страстной ареной политической борьбы.

„Роузе-Хани“ начинаются в месяце Мохаремме и продолжаются также и в следующем за ним, в Саффаре. Острый характер эти собеседования носят вначале поста, т. е. в первую неделю Мохаррема, а потому администрация начинает готовиться к этим „неприятным дням“ заранее и в эти дни имеет немало хлопот и огорчений. Принимаются различные принудительные меры в целях сохранения „спокойствия и порядка“. Духовенство в эти дни в особом почете у населения и властей и получает различного рода подарки, угощения и деньги. Кормят и дарят все — паства по традиции,

власть задабривает, чтобы укрепиться или не пошатнуться, а политические партии и представители иностранной дипломатии, — чтобы обратить влиятельных и талантливых проповедников в орудие своих политических целей.



У ограды мечети не пройти. За тысячами черных высоких, как клобук енисейца, шапок персов, оратора деревина почти не видно. Коричневые аба*) слушателей, желтые фигуры жандармов, желтый блеск осеннего солнечного дня — однотонный радостный фон религиозного собрания. Жандармы знают, что на этот раз политические речи воспрещены, но оратор так пламенно говорит, так искусно вылетает в свою речь о страданиях шаха Руссеяна злободневные вопросы о войне, о единоверцах — мусульманах, восставших против поработителей Ислама, русских и англичан, что хочется слушать и слушать. От начальства, — офицера, что сидит верхом на гнедой кобыле, приказа разгонять толпу нет, а правая рука время от времени ощущивает в кармане кошель. А в кошельке лежит новая золотая турецкая лира. Только сегодня выдали...

— Мусульмане всего мира восстают против гнета и насилия. Сунниты уже подняли меч против креста... Шиниты, очередь за вами...

Фразы долетают отрывками.

— У поработенных народов есть один друг — народ немецкий, а у Ислама защитник — перед Аллахом пророк, а на грешной земле — германский Император.

Возбужденное настроение нарастает. Глухой ропот одобрения переходит в шумные крики, и на больном сером камне появляется новый проповедник в белой чалме.



В разных концах города идут собрания. В десятках мест идет страстная политическая агитация. За нарушение нейтралитета, за новую войну, за Ислам. Агитация уже вышла за пределы Тегерана, и на улицах больших городов, во всех концах Персии шпириты и фанатики перед толпами возбужденных горожан призывают народ к священной войне.



Барон Черкасов, русский консул в Керманшахе, ехал к месту своей службы. Да так и не доехал. В Хамадане был предупрежден, что население возбуждено против русских и англичан, что не только вокруг города шныряют подкупленные банды разбойников, но что не безопасно и в самом городе. Черкасов любил восток, знал Персию, язык и путешествовать привык. Узнал точно от персидских друзей, что на него и на английского консула в Керманшахе, готовится нападение. Консульская охрана состояла из нескольких русских казаков личного конвоя и трех сот двадцати персидских. Эта охрана была послана в Хамадан из Азербейджана и Тегерана по инициативе русской миссии, помимо персидского правительства. Охрана была небольшая, да и ненадежная.

*) Обычная верхняя одежда перса.

— Казаки то ведь не настоящие, — думал Черкасов. Решил в Керманшах не ехать, а ехать обратно, в Казвин. В Казвине было спокойно: там стоял русский отряд. Черкасов обратился в Тегеран в миссию с просьбой о разрешении выехать в Казвин и такое разрешение получил, но не успел им воспользоваться...

В Хамадане стоял отряд персидских жандармов под командой шведского офицера манора Чальстрема. Для поддержания безопасности и порядка. Казаки — для консульской охраны.

На Востоке оружие в руках человека не может быть долго без дела. Оно жжет руки.

Это было девятого ноября. Жандармы папали на казаков и после короткого боя казаки были победены. С обеих сторон человек двадцать было убитых и раненых, а победителям достались трофеи — оружие, пулемет, ружья и пленные. Казаки, как и следовало ожидать, дрались неохотно, и около полтораста из них сели в бест к одному из мушкетеров Хамадана: винтовки свои сдали нашему агенту министерства финансов. Ведь винтовки были русские, впрочем как и вся экипировка персидского казачьего отряда.

* * *

Одиночками, небольшими партиями переходили русско-персидскую границу военно-пленные турки и австрийцы. Они пробивались из Закавказской Области, убегая из русского плена. Тайный ли приказ дружественного Австрии и Турции персидского правительства своей пограничной страже смотреть сквозь пальцы, ловкость ли беглецов или откуп деньгами на границе — неизвестно: несомненно одно: беглецы паходили не только приют в Персии, но внимание и особенную заботливость. Бежавшие не задерживались долго в тех местах, где они попадали в руки персидских властей. Их направляли в распоряжение центрального правительства в Тегеране, а отсюда в Неймед-Абад. Недалеко от Тегерана, под руководством офицеров жандармерии, беглецы производили военные упражнения, жили как воинская часть, и их навещали разных рангов соотечественники — военные и гражданские.

— Позвольте, что же вы делаете? говорили наши и английские дипломаты главе кабинета министров. — Интернированные в нейтральной стране военнопленные должны подчиняться определенному режиму. Режим военного обучения недопустим. Австрийцы и турки наши враги. Ваши агенты готовят в Неймет-Абаде враждебные нам войска.

Искали поты, негодовали. Председатель кабинета отвечал неизменно, что он бессилен пресечь это зло.

— Et que voulez vous, que j'y fasse?

* * *

Дипломатический мир Тегерана волновался. Из разных концов страны получались одинаковые известия.

Отряд жандармов в Ширазе увел в горы английского консула О'Коннора, пять англичан и десять сынаев консульского конвоя...

В Исфагани при непонятных обстоятельствах ранен английский консул...

В Бушире убиты английские офицеры...

В Нефагани и Керманшахе консульства выброшены на улицу, а русские и английские флаги спущены в Кянгавере, Тавризе, Урмии, Султан-Абаде, Нефагани, Керманшахе, Хамадане и Ширазе...

* * *

По пустынным дорогам плоскогорья уже потянулись беженцы — русские и англичане. С насиженных мест — из Тегерана, Кума, Нефагани, Хамадана и Тавриза бежали чиновники и служащие в разных учреждениях с семьями, торговцы, духовенство, случайные путешественники, — все направляли свой путь в Казвин, под защиту русского отряда, а кто и дальше к границам, мечтая о России. Верхом на лошадях и катерах*), в кибитках-фургонах, в каретах, на выюках верблюдов и ослов, пристроившись к большим караванам, под военной охраной, а то и просто так, положившись на волю Божию, пробирались беженцы по большим дорогам мимо застав и разбойничьих гнезд. Ехали днем и опасно смотрели по сторонам.

— Встретный всадник и погонщик мулов — не враг-ли?

Не раздастся ли предательский выстрел из-за утеса, и не разбойник-ли сам коновор? — персидский казак.

Ночью на заставах, дрожали в чужих четырех стенах, или в каретах, боясь потерять остатки наспех захваченного скарба. Больше всего боялись правительственных жандармов.

— Вот, вот нападут! —

Нападали. Грабили. Казвин и Энзели были полны многочисленными беженцами, жертвами травли и возбуждения, невиданными в Персии.

* * *

Эттер потянул руки. Петербург до сих пор мало реагировал на его телеграммы и подробные сообщения. Английская дипломатия тоже не предпринимала активных шагов. А тут вдруг назначение Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича наместником на Кавказ!

— Нет, Великий Князь повернет политику. Я его знаю, — говорил посланник своим друзьям. — Он военный и решительный, граф Воронцов-Дашков человек деловой, но интатский... От слов мы скоро перейдем к делу.

В духе этих мыслей и надежд Эттер повел дипломатическую работу. В это время у власти стоял враждебный странам согласия кабинет Мустафиоль-Мамалека. Немцы и турки создали этот кабинет дипломатической ловкостью, интригами и деньгами, а глава его был горячим и действительным сторонником Германии и Турции. Представители Антанты стремились повернуть персидское правительство от формального благожелательного в отношении Германии и Турции нейтралитета и фактического попустительства против интересов Англии и России, по крайней мере к нейтралитету действительному, а в лучшем случае дружественному. Орудием были избраны деньги. Русский и английский посланники действовали сообща. Они нажимали на свои министерства и наконец Петербург и Лондон, несмотря на свое непримиримое отношение к кабинету Мустафиоль-Мамалека, решили оказать ему значительную финансовую помощь, сначала в виде одновременного аванса, а затем

*) Помесь кобылы и осла.

ежемесячных субсидий, начиная с восьмого сентября тысяча девятьсот пятнадцатого года. Денежная подачка, казалось, достигла цели. Был объявлен дружественный нейтралитет в отношении России и Англии; было обещано принять реальные меры в борьбе с германо-турецкой агитацией. Правительство обласкали. Ожидали результатов. Они скоро сказались, но были совершенно противоположными.

— У шаха был приближенный, церемониймейстер Эхтесаболь-Мольт. Лицо очень важное и влиятельное. По мотивам личного характера Шах уволил вельможу, но обиженный слишком много знал и скоро в дипломатических кругах Тегерана заговорили, что шах и правительство заключили тайный союз с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Эхтесаболь-Мольт — это знали все — пользовался большим доверием шаха и благосклонностью посланников этих трех держав. Его утверждениям придали веру. Знали, что некоторые приближенные шаха еще летом получили от германского посланника взятки, сопоставили эти факты, одобрили сплетнями и, зашифровав телеграммы, отравили в Петербург и Лондон. Сэр Эдуард Грей пригласил к себе персидского посланника и корректно заявил ему, что если эти сведения о тайном союзе верны, то Англия оставляет за собой в отношении Персии полную свободу действий. Сазонов рассвирепел, но так как дипломатам сердиться не полагается, то министр иностранных дел решительно сказал персидскому посланнику в Петербурге, что союз Персии с врагами России и Англии упраздняет англо-русское соглашение восемнадцатого августа тысяча девятьсот седьмого года, гарантирующее независимость и целостность Персии, и что по окончании войны Персия подвергнется разделу между Англией и Россией...

Заявления эти произвели в Тегеране очень сильное впечатление и персидское правительство негласно пыталось опровергнуть слух о тайном союзе.

* * *

В правящих кругах Тегерана первичали. Государственные и политические деятели Персии метались между двух огней. Обе группы держав давали деньги, выгодные обещания, угрожали. На шаха, правительство политические и общественные круги столицы жали со всех сторон. Нужно было выбирать: или со странами согласия или союза. Выступление Болгарии подлило масла в огонь. Уже горела Европа, пожар пачался на Балканах и его зарево освещало персидско-мессопотамские границы. За „дружественный нейтралитет“ заплатили хорошо, а за „активное содействие“ предлагали еще больше. Призывы к священной войне и выступления жандармов — были лишь предвестниками надвигающейся грозы. Создавшаяся обстановка уже не удовлетворяла ни Россию с Англией, ни Германию с Турцией. Обе группы держав через своих дипломатов ставили вопрос ребром: да с кем же, наконец, Персия.

— Народ не хотел войны. Персия ни с кем. Персия хочет мирно жить и трудиться. Это — правители, двор, часть народных представителей в меджлисе, муштегиды, вожди племен, начальники жандармерии, печать — хотели войны; все те, кто получал взятки, субсидии, на „расходы“, на „организации“, на „разъезды“ от кого бы то ни было, — все равно от одной группы держав или от другой. Англичане и русские чаще обещали, чем давали; немцы же платили щедрой рукой; Саррафы*) базаров увеличили валютные операции на золотые турецкие лиры, а злые языки утверждали, что лиры эти отчеканены на монетном дворе в Берлине...

— Где же действующие силы? Откуда их взять?

*) Менялы.

Для России вопрос разрешался просто. Усмирить Кавказский отряд войсками с Кавказского фронта и использовать персидскую казачью бригаду, созданную на русские деньги. Для немцев сложнее. Свой солдат нужен на европейских фронтах; его доставка в Персию просто невозможна. Далеко. В Персии же своего „материала“ достаточно. Жандармы уже приготовлены; — оставалось привлечь на свою сторону меджегодов, бахтиаров, дуров, дакенгелийцев и десятки других племен, промышляющих войной и разбоем. Нужно сделать все, чтобы привлечь на свою сторону хотя бы часть персидской казачьей бригады. Кабинет Мустафиоль-Мамалека вел игру на два фронта. Он провозгласил „дружественный нейтралитет“ в отношении России и Англии, вел переговоры о заключении союза с этими державами, а в то же время допускал и помогал организации враждебных сил. Нужно было выиграть время — дать возможность немцам организовать эти силы, а туркам уснуть, перебросить на персидскую территорию регулярные войска из Месопотамии. Как раз в это время английские войска отошли от Багдада и у турок были свободные силы.

Был задуман хитрый план. Агитацию и пропаганду против христиан, призывы к священной войне, эксцессы, — правительство объясняло как народное движение мусульман в защиту единоверцев турок. Нарадания, убийства русских и английских граждан, грабежи, выдворение консульств, стычки жандармов с персидскими казаками — правительство объявило мятежом персидских подданных против шаха и поставленных им властей. Персидская жандармерия, во главе которой стоят германские, шведские и турецкие офицеры, якобы восстала против своего законного правительства. Отряды мунтехидов — якобы против власти шаха. Мятежники якобы не слушают правительства. Кабинет Мустафиоль-Мамалека шел еще дальше. Он посылал отряды „казаков“ на борьбу с мятежниками, но эти отряды или разбегались, или садились в „бездну“. Правительство делало вид, что жандармы и мунтехиды восстали против него. Оно делало вид, что борется с этим движением, при его участии созданным.

— Что же получалось?

Когда правительство посылало свои войска против „мятежников“, во главе которых стояли германские и турецкие офицеры, признававшие над собой одну власть в Персии, власть своих послов, выходило, что оно ведет войну с германцами и турками. Когда принц Рейс посылал созданные им отряды „мятежников“ на борьбу с правительственными войсками, выходило, что он ведет войну с правительством шаха. Германия воевала с Персией. Турция воевала с Персией. Посланники же этих держав жили в Тегеране и находились в самых дружеских отношениях с персидскими властями. Выходило: Персия не объявляла ни нам, ни Англии войны уже вела эту войну и против нас и против Англии. Положение становилось невыносимым. Нужен был разряд.

* * *

Русский отряд в Казвине получил приказание продвигаться к Тегерану, но самый город не занимать. Выступление должно было носить характер демонстрации. Тегеран кишел. Кто пустил слух — неизвестно. В городе упорно стали говорить, что из Тифлиса отдал приказ о наступлении на Тегеран, что русские займут столицу, что в Персию посылает из России целый корпус.

Главными центрами турецко-германской агитации и деятельности, кроме столицы, были Кум, Султан-Абад и Хамадан. Города эти находятся друг от друга очень далеко и, в случае удачного восстания или объявления войны, пожар, поднятый одновременно в четырех местах, охватил бы огромный район и захватил бы все государство.

Главным штабом готовящихся военных действий против России и Англии был священный город Кум. Здесь великия святилища шиитов. Здесь — гробница непорочной Фатимы Массумы, сестры Имама Резы — место паломничества правоверных всей Персии. Здесь — фанатическое население. Взоры семнадцати миллионов шиитов были прикованы к Куму.

Выступление русского отряда из Казвина вызвало в Тегеране панику. Как только войска вошли в Энг-Имам, из столицы началось бегство. Куда? В Кум. С этим городом связывалось много надежд, да и дорога к тому же прямая, а путь на Казвин отрезан. Первыми бежали депутаты меджлиса*), сторонники германо-турок. Их было тридцать и почти все были из „демократической партии“.

В Куме был образован „Комитет Национальной защиты Ислама“. Комитет занимался агитацией, собирал деньги, вербовал добровольцев и организовывал отряды против русских и англичан. Бегство депутатов из Тегерана фактически упразднило меджлис, так как в Тегеране осталось всего тридцать пять человек членов парламента. Кворума не было. Цензовый меджлис, построенный по уродливой и не демократической избирательной системе играл и так ничтожную роль в стране, а тут совсем закрылся. Напрасно председатель его, noctенный Мотамеоль-Мольк, беспокоится и шлет телеграммы в Кум.

— Вернитесь народные представители!

Они не вернуться...

* * *

Молодого шаха пугали.

— Его Величеству не безопасно остаться в Тегеране. Враги Персии не дремлют, — говорили шаху, — русские уже заняли Энг-Имам. На население положиться нельзя.. да и на „казаков“ тоже. Вам бы уехать, Ваше Величество, в Исфогань... по дороге в Кум бы заехали!.. Там спокойнее.

Русский посланник узнал, что шаха подговаривают покинуть столицу и переехать в Кум. С ним должны были уехать туда-же двор, правительство и наиболее влиятельные сановники.

С переездом в Кум надеялись на взрыв национальных чувств, а пребывание шаха в священном городе должно было объяснить и оправдать грядущую священную войну.

Готовились к отъезду. Мулы, катера, лошади, ослы нагружались ценным имуществом шаха и его двора и отправлялись из Тегерана. Целый караван вьючных животных направился по дороге в Исфогань, увозя с собой предметы домашнего обихода, продовольствие и казну.

Эттер считал положение критическим. Переговаривал с английским послом сэром Марлингом. Решили всячески мешать поездке. Эттер явился к шаху и вырвал обещание, что он не покинет в столь тревожный момент своей столицы. Шах сдержал свое слово и через два дня выехал в загородный дворец в четырех верстах от Тегерана.

Фараг-Абад — роскошный дворец девятнадцатилетнего повелителя Ирана. Охотничий замок, из которого можно любоваться и темно-синими далями лесов на горах, и нежными красками небес Мазандарана, а в ясную погоду и белоснежной шапкой Демавенда. В знойные дни в садах Фараг-Абада прохлада, а ранней весной цветут ландыши, фиалки и розы. В замке — огромные залы с тяжелыми

*) Парламент.

многоцветными колоннами, зеркальные комнаты с хрустальными люстрами и десятки уютных кустушек эркерума, украшенных пестрыми коврами.

— В Фарат-Абад?!

Шах не нарушил слова: ведь это всего только загородная поездка!

* * *

Поездка шаха в Кум не состоялась. Отъезд шаха был бы почит всеми как открытый переход на сторону врагов держав согласия. Тегеран без шаха должен был бы неминуемо стать ареной столкновений враждебных сил. Мустафиоль-Мамалек, в предвидении отъезда шаха, разрешил выступить из Тегерана двум жандармским полкам. Полки эти должны были сопровождать коронованного путешественника, присоединившись к нему по дороге.

После нападения жандармов в Хамадане на персидских казаков и открытого перехода их на сторону германо-турок, Оттер и Марлинг развили большую энергию, стремясь парализовать увеличение сил врагов Антанты. Персидский кабинет вел тогда еще двойную игру и согласился на настояния посланников вернуть два полка жандармов с дороги. Возвращение жандармов должно было предотвратить переход их на сторону германо-турок. Мустафиоль-Мамалек обещал. Жандармы возвратились. Но возвратилось их не две тысячи, а семьсот, но и те лишь приличия ради, так как, вступив в столицу через восточные Шабдуль-Азмские ворота, они немедленно, небольшими группами, чтобы не возбуждать подозрения, покинули город через южные кумские ворота и направились в Кум. Еще перед выступлением из Тегерана жандармы роптали, что им не платят жалованья, а по возвращении, на базарах расплачивались турецкими золотыми лирами... Сам министр финансов говорил, что денег в казне нет.

— Плачу сколько могу. Эти жандармы съедают весь бюджет государства, а какой толк? Вот придут налоги, заплачу.

Начальник жандармерии, шведский полковник Эдваль разсуждал иначе:

— Если сам не возьмешь, ничего не получишь. Знаем мы это министерство финансов! Еще жандармы взбунтуются!

Финансовый агент вез в казначейство в Тегеран шесть тысяч туманов — собранные налоги. Жандармский отряд напал на агента и отнял деньги. Министр финансов заявил протест, а в виде репрессий совсем прекратил выдачу жалованья жандармам, — до возвращения реквизированных денег персидской казне. Эдваль рассердился и в резкой форме протестовал против этого распоряжения министра финансов, угрожая туманно, но веско, всему кабинету министров.

— Это распоряжение, — заявил Эдваль, — может иметь опасные и нежелательные для правительства осложнения и последствия...

В правительственных кругах возмущались Эдвалем. Начали говорить, что жандармы и шведы не оправдывают своего назначения, что они пасуют перед врагами — кашкаями, шахсеваами, дурами, а теперь вот, и перед русскими войсками. Они обременяют государственный долг, и вообще:

— Какое то государство в государстве!

* * *

„Державы покровительницы“ заставили было „нейтральную“ Персию повлиять на врагов своих. Представления Сазонова и Грея о нарушении англо-русского соглашения, угрозы и деньги принудили персидское правительство временно изменить свою

политику в отношении германо-турок. Германская миссия и все ее сторонники покинули Тегеран; развязали шахскому правительству руки, предоставив ему полную свободу действий. Сняты были национальные флаги с посольств германского, австрийского и турецкого. Звездный флаг Америки охранял германцев и турок. Испанский — австрийцев. Но уже через десять дней, как раз в день отъезда шаха в Фараг-Абад, возвратился в Тегеран Ассим-Бей, турецкий посол. Над посольством вновь заблестал полумесяц. Скоро приезжает граф Логотетти — Австрийский посланник, а принц Рейс в Хамадане на передовом посту, как и подобает первому солдату в начинающейся битве.

* * *

Гарнизон Тегерана усилился. Уже прибыли первые отряды воинственных бахтиаров, сарбазов, и тысячи всадников разных племен. Бахтиары из Исфгани, сарбазы из Верамина, всадники из Демавенда... Тысячный отряд жандармов в столице приведен в боевую готовность. Ждут приказа о выступлении жандармы в Шабдул-Азиме и Гассан-Абаде. Немцы и турецкие офицеры спешно роят вокруг Хамадана окопы и укрепляют горные перевалы Султан-Булаха. Восемь с половиной тысяч персидских жандармов и две тысячи полицейских в руках германо-турецких агентов.

В Казвине и Хамадане ружья и пушки начинают сами стрелять...

* * *

В кабинет Мустафиоль-Мамалека удалось провести трех друзей. Эттер и Марлинг считали это большой победой, а глава кабинета смеялся:

— Пусть, пусть утешаются, — говорил лукавый перс.

— Что может сделать старый Сапехдар? Их трое. Ничего, ничтожное меньшинство.

Стараниями дипломатов Антанты два видных портфеля были предоставлены сторонникам русско-английского сближения. Военного министра — Сапехдару и Министра Внутренних Дел — Ферману-Ферме. Третий Воссуг-ед-Довлэ был без портфеля. Это была новая декорация. Тройка растворялась в количестве министров. Какую силу представляет военный министр в стране, где нет армий, где есть тысячи племен, признающих военачальником только своего вождя? Что такое министр внутренних дел, когда вся полиция предана врагам его, когда касса министерства пуста и не выплачивает жалованья, а из враждебного лагеря золото широкой рекой льется в карманы жандармов?

Уже скоро три месяца, как руссофилы и англофилы министры сидят в кабинете шахского правительства — доброжелательные и беспомощные, пассивные и испуганные.

* * *

В Арке Совета Министров тайное заседание.

Двадцать пятое ноября. Пора действовать. Мустафиоль-Мамалек давно готовился к этому дню, но все же волнуется. Волнение выдает необычная бледность и подчеркнутое спокойствие.

— Мы вынуждены, — заявил первый министр, — прервать переговоры с англо-русской дипломатией, ведущиеся в Тегеране, Петербурге и Лондоне о заключении союза с Россией и Англией, ввиду полной безнадежности и невозможности успеха. Общественное мнение Тегерана, его политических кругов, меджлиса, и настроения персидского народа крайне враждебны России и Англии, ведущим войну с единоверной Турцией и защитницей Ислама, Германией. Это было бы безумие — противодействовать народному движению, принявшему стихийные размеры. Я отказываюсь от всякого участия в этой беспочвенной и фантастической дипломатической комбинации.

* * *

Еще много было сказано слов решительных и красивых. Много было приведено изречений и нарисовано образов согласно изящным обычаям восточного красноречия.

Но не убедили они мудрого Санехдара и друзей его.

— Ведь прекращение переговоров с Англией и Россией означает войну, говорил Санехдар. — Народного стихийного движения против России и Англии нет. Это выдумали немцы, которые тянут нас в пропасть.

Санехдар не верил в конечный успех Германии в войне и его страшила будущая судьба Персии. Он боялся русского сфинкса и знал судьбы народов, поработанных Англией. Старый принц Ферман-Ферма поддержал Санехдара и покачивая головой выражал сомнение, что Германия бескорыстно защищает Ислам и что будущее Турции, искусственно втиснутой в войну, еще неизвестно.

— Мы протестуем против политики и решения, принятого председателем, говорили Ферман-Ферма и Воссуг-ед-Довле, — будем голосовать против.

Большинство пошло с Мустафиоль-Мамалеком, и на другой день решения, принятые на тайном заседании, стали известны всему Тегерану.

— Итак война. Маски сброшены. Дата нового фронта — двадцать пятое ноября. Место объявления войны — Арка Совета персидских Министерств...

Подтвердились слухи о тайном союзе персидского правительства с Германией и Турцией. Призывы к священной войне и пролитая кровь нашли, наконец, истинное объяснение. Правители сговорились...

* * *

Сговорились и правители России и Англии. Из Петербурга было приказано в Тифлис:

— Поднять великодержавное имя России в Персии на подобающую высоту. Послать для „активной политики“ достаточные вооруженные силы. Незамедлительно.

В Лондон обещали:

— Дадут такие силы, что оттянут турок с Месопотамского фронта от английской армии на себя.

Нейтральная Персия должна была стать театром военных действий чужих вооруженных сил.

— Кого же послать в Персию? — спрашивал Великий Князь.

— Тут нужен генерал популярный и решительный. Боевой и дипломат. Нужен человек местный, знающий восток, кавказскую армию, кавалерист.

— Да, Баратов... Лучшего и придумать нельзя.

Выбор Главнокомандующего пал на казачьего генерала, Николая Николаевича Баратова, блестящие операции которого под Саракамышем прогремели на всю Россию и Турцию.

— Силы, посылаемые в Персию... скажем корпус, назовем корпусом... экспедиционным. Да, Экспедиционный корпус в Персии!..

Генерал Баратов прибыл со штабом и конвоем из Баку через Каспийское море в Энзели тридцатого октября тысяча девятьсот пятнадцатого года.

* * *

Седьмой кавалерийский корпус оперировал в северной Персии... В сложном узоре расположения армий Кавказского фронта отряд Чернозубова уже вел операции на земле „нейтральной страны“. Шериф-хане уже был тылом корпуса, а на Урмийском озере плавала русская флотилия.

Перевозили войска, продовольствие, военное снаряжение.

Граф Олсуфьев — Главноуполномоченный Земского Союза по Кавказу торопил своего представителя в Урмийском раноне — Чиджавадзе:

— Иван Феофанович. Торопитесь. Что же пароходики, баржи? Скоро придет из Москвы новая покупка?

Олсуфьев спрашивал о пароходе, купленном на „Москве-реке“ у Окуневых.

— Скоро, граф, скоро. Все делается, что можно.

— А „трапезундцы“ вас перегвали! Спустили новую шкупу...

— „Сергей Глебов“, — под парусами. Великолленно!

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ

Изумительная осень в Персии!

Прозрачный, струистый воздух, ранним утром не жарко. Горы покрыты дымкой и как все спокойно! Дышешь глубоко полной грудью. Радостный, полный надежд, смотришь с борта парохода в бухте Энзели на чужую, неведомую землю. Там за морем, осталась Россия, суета родных городов, брошенная печаль. Здесь — неизвестность, завеса востока, лишения, страдания, а может быть и смерть. Так вот она Персия! Страна великого прошлого человеческой культуры, застывший в своем мудром спокойствии древний Иран, разбуженный раскатами все-европейского грома! Что ты сулишь?..

* * *

Разгрузка шла очень медленно, хотя уже к вечеру район около пристани походил на вооруженный лагерь. Выгружались в образцовом порядке, делились первыми впечатлениями; все сходилось на том, что пока ничего „персидского“ не видно.

— Деревня, как деревня!

Другие говорили:

— Город, как город!

— Чтож она вся, эта Персия, такая будет? Похожа на Россию.

Сходи на землю со схода, крестись.

Штаб был торжественно встречен администрацией, нотаблями и депутацией от населения. Обменялись приветствиями, но, конечно, друг другу не верили; ибо это был восток, а мы непрошеные гости. Да и война кругом.

Войска передового отряда выгружались несколько дней; отдохнув от морского переезда, они направлялись в Казвину, расположенный в двухстах двадцати верстах от Энзели к югу. Уже с первого ноября командир корпуса со штабом расположился в Казвине для руководства операциями, с которыми нельзя было медлить. Баратов торопился вырвать инициативу у германо-турок и перепутать их планы. В Казвине командир корпуса встречал проходившие части, которые продвигались далее по двум оперативным направлениям — главному, на юг к Хамадану, и лево-фланговому Кумскому, на восток мимо Тегерана.

От Энзели до Казвина — одна дорога, шоссейная, Энзели-Тегеранская; от Казвина она раздваивается: на Тегеран около ста сорока верст и на юг до Хамадана двести восемнадцать. Других шоссейных дорог на северо-западе Персии нет — грунтовые. Дорога от Энзели лежит сначала на равнине, частью в камышах, частью в лесах, через город Решт; затем змеится холмами, незаметно переходящими в горы, а за Рустам-Абадом вьется по откосам и гигантским обрывам то весело зеленых, то обнаженно-голых гор...

Уже в Реште солдаты сознавались, что поторопились с выводами. Хотя и в Энзели есть азиатская часть, но ее не всем удалось рассмотреть, — надо через бухту переплыть на другую сторону. Зато Решт видели все, с его мечетями, базами, бассейнами...

Решт — на равнине, в лесах. Темный лес — неприветливый. Дуб, ясень, бук и вяз. Сыро здесь и не весело. Большой город, одноэтажные домики. Но, конечно, это еще не яркий восток. Решт давно уже столица некоронованного властителя Гиляна — революционера и демократа бесстрашного Кучик-Хана. Здесь штаб его и его друзей. Здесь центр политической жизни огромного района и отсюда „лесные братья“ угрожают Тегерану и самому Престолу.

В Персии нет мощной центральной власти. Эта власть есть в Тегеране; на местах от нее — губернаторы, но их власть в лучшем случае распространяется на город, где живет губернатор. За назначение на должность надо платить. Давать подарки — „бешкеш“. Это традиция, требование жизни. У губернатора большие расходы. Приемы, представительство, подарки министрам, приближенным Шаха... Иногда одни только подарки превышают годовое содержание чиновного лица. Где же взять эти огромные средства? Нажимается налоговый пресс. Чиновники „выколачивают“ с населения налоги, превышающие законные нормы. Собирают налоги, не забывая и себя. Ведь они тоже получают ничтожное жалование. Стонет бедняк-плательщик от произвольных, непомерных поборов. Стопнет, но платит... Невозможно, конечно, учесть огромных сумм, которые переплачивает население благодаря этой „системе“. Есть мнение — поборы превышают нормы податного обложения в два раза. В Персии нет регулярной армии, а потому нет силы, которой бы боялись. На местах столько властей, сколько племен. Вооруженный отряд одного из бесчисленных горных племен охраняет свой район, взимает налоги, ведет войну или дружбу с соседями и чаще всего живет совершенно независимо от Тегерана, шаха и его правительства. Шаха признают, но шах есть лишь идея правительства нации. Медленные попытки объединить национальные интересы в центре. Правильной системы организации выборов нет, а потому нет и полного народного представительства. Ведь персидская конституция была завоевана не широким народным движением, а выступлением нескольких десятков смельчаков революционеров во главе с знаменитым Ефремом.

Недовольное политикой правительства, воинственное племя „дженгели“ не признает ни центральных властей, ни местных. У них вооруженная сила — свыше тысячи воинов, симпатии населения, сколько угодно продовольствия и они хозяева положения всей области. Правительство прекратило войну с Кучик-Ханом, т. е. это было напрасной тратой и людей и денег. Дженгелины мало беспокоили русских.

Англичан ненавидели. Уже после ухода наших войск из Персии, когда пришли англичане, Кучик-Хан объявил им войну, а „лесные братья“ дали обет не стричь голов и не брить бород до тех пор, пока на родной земле останется хотя бы один англичанин. Я видел „лесных братьев“ в конце тысяча девятьсот восемнадцатого года. За восемь месяцев войны с англичанами у них так отросли волосы, что они имели вид диких людей.

* * *

От Рустам-Абада до Менджили не более двадцати верст. Дорога лежит на огромной высоте обрыва, и с крутизны видно, как внизу, узкой белой лентой вьется легендарный Сефид-Руд. Река очень широкая при самом впадении в Каспий у Энзели настолько широкая, что по неведению устье ее принимают за естественный залив бухты Мурдаб.

— С моря, говорит легенда, — на челнах пришли русые воины. Они поднялись по течению Сефид-Руда вверх в горы и прошли очень далеко, до того самого места, где истоки реки. А здесь, у истоков, горы чуть не до самых небес и начинаются три страшные дороги ущельями. Челны пришли сюда с Волги, прошли море и сто верст по серебряной реке неведомой страны. Русые воины не встретили никакого войска. Испугался Стенька Разин — ибо это был он, — величавой тишины гор на чужой земле, убоился он отсутствия неприятельского войска, ибо решил, что его невидимый враг в ловушку заманить хочет, и решил повернуть челны обратно к морю. В один день и в одну ночь, говорит легенда, — домчали волны Сефид-Руда русых воинов до моря.

У Менджили горы как будто остановились в раздумьи, а потом отдельными группами, толпами горных массивов направились в три разные стороны.

Отсюда, говорят, Стенька Разин повернул в Россию.

* * *

Мы в Менджиле, на полпути до Казвина. У дороги глинобитное строение — караван-сарай; здесь же чайная:

— Чай-хане. —

У скал прилежился городок. Но какой сильный ветер!..

— Вы знаете Поворосейский порд-ост? Это пустыни в сравнении с ветром в Менджиле.

В переводе с местного языка *) — Менджил обозначает — тысяча ветров. Ветер здесь дует из многих ущелий, образуя грандиозный сквозняк. За время моей жизни в Персии, приходилось бывать и проезжать мимо Менджили десятки раз, и я не помню, когда бы не дул этот ветер. Весной и летом он дует слабее: его легче выносить, вероятно, потому, что погода лучше. Но осенью и зимой тяжело. Вы в Менджиле всего несколько часов, но уже чувствуете необъяснимое беспокойство. Вы раздражаетесь по пустякам, а потом начинается тоска...

Не любил я Менджили. Редко кто здесь заспанивался, а если мимо проходили войска, то не любили устраивать здесь дневки. По необходимости лишь ночевали.

На всем пути от Энзели до Казвина, да пожалуй и далее до Хамадана и Керманишаха, деревни или заставы Энзели-Тегеранской дороги расположены одна

*) В этом районе Персии население говорит на турецком наречии.

от другой примерно в 20—30 верстах. Это расстояние как раз и составляло обычный дневной переход пехоты. Проходящие эшелоны приучивали свой отдых почлег или дневку к придорожным деревням и заставам. —

В Менджиле уже нет растительности. Из-за ветра. Только у городка, в ложниках, судорожно цепляясь за голые скалы, торчат кусты и деревья. Их зелень немного оживляет общий мрачный вид. За Менджилем, почти до самого Казвина, горы.

Тоскливый, зловещий Ляушан. Полное отсутствие всякой жизни. Ни людей, ни птиц, ни животных. Здесь нет воды, оттого и жизни нет. Вода только в самом Ляушане. Впрочем, это только застава; нельзя же принять несколько жалких глинобитных построек за деревню.

Я очень люблю горы. Вспоминаю величественный Кавказский хребет с его гигантами Эльбрусом и Казбеком, помню зубчатые вершины Тироля, нежные краски горных альпийских массивов, но нигде кроме Персии я не видел такой скульптурности горных групп. За несколько десятков верст с перевала, через огромное плато, уже видны новые цепи гор; они видны как то сразу, с нескольких сторон, — редко доминирует один горный кряж, — чаще всего их несколько сразу уходит вдаль, как будто бы рядом. Отдельные горы тоже видны как будто одновременно со всех сторон, и кажется, что все это нарочито создано невидимой гигантской рукой, и поставлено высоко, чтобы Вы могли видеть. Горы Персии — преимущественно известковые и меловые. Совершается вековой процесс. Мягкий состав горных пород подвергается выветриванию. В веках образуются осыни. Оседают на склонах, у подножий, заполняют ущелья. Горные громады иногда зарываются в осыни. Резкие очертания их постепенно исчезли, горы в веках становятся ниже. У Юзбаш-чая особенно странные голые горы — синие, зеленые, красные, многоцветные, большие. Неприятно смотреть. Как будто на земле или выросли красно-гнилые нарывы, или обнаружилась гангрена, которой свойственны особые, необыкновенные оттенки цветов. Горы эти — вулканического происхождения. В Персии много пород угасших вулканов новейшего времени. Некоторые из них, — еще в периоде сольфаторной деятельности — выделяют пары, горячую минеральную воду, в виде массы источников. На северо-западе Сехен и Савалан, Хазар-Кух близ Кермана, Демавенд. Краски горных пород у Юзбаш-чая — окиси железа, меди, свинца и других минералов. Они выбиваются из недр земли наружу, как будто нарочно, чтобы заявить о себе человеку. В этих горах все — золото, драгоценные камни, нефть, руды, уголь и мрамор. За годы моего пребывания и путешествий по дебрям Персии, я много раз видел и мрамор, и руду и уголь, пластами выходящие на поверхность земли. Один только раз — недалеко от Рудбара — я видел примитивную попытку брать чуть ли не с самой поверхности, каменный уголь, — как наш антрацит. Обработка металлов — в зачаточном состоянии... Иностранцы производили горные изыскания, — особенно англичане и русские, — и установили наличие значительных богатств в различных местах этого плоскогорья.

* * *

К Казвину горы уменьшаются, переходят в холмы. Город стоит на равнине. Казвин, как и все персидские города, непохож на привычные для нашего взгляда европейские, в частности русские города. Общий фон — однообразный глиняный цвет. Дома из глины, изредка из камня или кирпича. В один этаж, иногда в два, а если в два, то это почти незаметно, — уж очень низки эти этажи. Издали, когда приближаешься к городу, кроме многочисленных и невысоких минаретов, ничто не возвышается над общим уровнем городских однообразных построек. Городу пред-

шествуют сады. Не только Казвину, а всякому городу. Сады отдельно, а город отдельно. Прежде чем попасть в город, вы долго, несколько верст будете ехать или идти по садам, прекрасным тенистым садам, широко раскинутым по обеим сторонам главной дороги — шоссе, или грунтовой. Здесь много воды, здесь сложная система искусственного орошения; небольшие каналы-арыки, которые и орошают почву, дающую такую густую растительность. Вода — с гор, от тающих снегов или речная... Реки в Персии скованы горами. Они быстры, порожисты, мелководны. Единственная судоходная река — Карун, да и то на небольшом участке. Персидские реки в плену у гор. Они немощны прорвать горные цепи и вырваться на свободу — к морю. Только один Сефид-Руд разорвал все преграды и свободно течет по широким равнинам Гилана, к самому морю. Жадное солнце сушит персидские реки, — вода испаряется.

Человеку тоже нужна вода. Еще до выхода реки на равнину, он начинает отводить каналы для орошения склонов гор. На равнине отводных каналов еще больше. Река становится маловоднее, течение ее замедляется и она умирает в болоте или мелком соленом озере.

Тысячи лет из поколения в поколение передается предками потомкам священная обязанность беречь драгоценную влагу в этой слишком солнечной стране. Издалека, бережно и умело направляются потоки воды по скрытым каналам*) долины и обильно питают искусственную флору. Иногда в долине, за десятки верст от горных хребтов, можно встретить длинную линию высоких бугров с ямами-отдушинами этих подземных водных стоков. Вода течет глубоко: прижав к земле, можно услышать плеск или шум движения воды. Иногда это уже мертвая заброшенная артерия, представляющая лишь цепь глубоких, шириною в несколько десятков метров, ям. Живая вода течет теперь где-то по новым путям, орошает новые места, где выросли уже новые поселения. Древние сооружения кенатов грандиозны. Персы любили их строить, не жалея труда и средств. Древняя национальная религия воспитывала в персах уважение к земледелию и внушала в обязанность заботу об искусственном орошении почвы и уходе за деревьями. Прошли века... Древняя вера забыта. Новая — ислам, относится равнодушно к земледелию. Страна обнищала...

После мучительного знойного перехода по равнине огромного горного плато, попадая в пригородные сады, чувствуешь и ценишь значение большого человеческого труда. В этих садах растут большие пушистые персики, сочные груши и яблоки, и кровавые гранаты, наполняющие в паводочном количестве рынки больших городов Персии и украшающие иногда лучшие магазины Москвы и Петербурга.

Но вернемся к городам Персии.

Тишина. Знойное солнце сковало город. Небольшое оживление только на площадях. На улицах мертво. Изредка, как будто скользит, бесшумно промелькнет тенистая фигура персидской женщины с закрытым лицом; понурив голову, перс лениво бредет позади маленького осла, чрезмерно нагруженного пошей. Кривые, бесконечно длинные, без названий, узкие улицы и переулки. Улицы — только грязно-желтые стены. Домов не видно. Они обращены внутрь своих дворов; поэтому дома совсем не имеют окон на улицу, а ворота и входные двери всегда на глухих занорах. В Персии личная жизнь интимная. Мужчина — неограниченный хозяин и властитель в семье, а магометанский закон, разрешающий многобрачие, определяет быт и характер семейных отношений. Женщина и теперь бесправна. Ее не может видеть чужой мужчина и перс прячет от чужих и жену свою и дочерей, а вместе с ними всю свою семейную жизнь. Он отгородил дом свой от внешнего мира высокими стенами,

*) Кенат или кериз — подземный водопровод.

и эти стены высоки не только с улицы, но и со стороны соседей. Публичная жизнь протекает частью на площадях, а больше в лабиринтах городских крытых базаров. Публичных зданий очень мало.

* * *

Сосредоточение русских войск шло очень быстро. Уже к двадцатому ноября они заняли исходные пункты и ждали приказа о наступлении. Как уже было сказано, операционных направлений было два, соответственно этому и отрядов было два — Хамаданский Конный Отряд, которым командовал подвижный и хитрый казачий полковник Фисенко и небольшой Конный Отряд полковника Колесникова, двинувшийся на Кум.

Утром десятого ноября в Казвине необычное оживление. Осеннее солнце в Персии дает достаточно тепла и света. Воздух прохладный, густой. Когда дышешь, как будто пьешь драгоценный, тонкий напиток. Весело смотрят горы, и вся природа насыщена радостью жизни. У дворца губернатора — огромная толпа персов, спокойная, сдержанно молчаливая, а соседние крыши усеяны любопытными. На площади небольшой конный отряд. Три сотни кубанских казаков должны сейчас выступить в поход. Напряженное ожидание. Ждут командира корпуса. Казаки отдохнули от трудного пути, привели себя и лошадей в порядок, почистились, и теперь в строю смотрят молодежато на странные дома, хитрую мозаику ворот губернаторского сада и чужие незнакомые лица. Казаки — в темно-серых черкесках и больших бурых папахах, а за спинами яркими красными пятнами висят кубанские башлыки. Лошади стоят смирно. Лица у казаков серьезные. Они ждут командира корпуса и всем интересно послушать, что он скажет.

Может быть скажет, что ждет их в ближайшем будущем...

Генерал Баратов верхом, на огромном гнедом коне в сопровождении шести или семи верховых из штаба, медленно под'ехал к казакам, поздоровался с сотнями, а затем обратился к ним с речью. Говорил он громко, и его молодежавый чистый голос было слышно во всех концах площади. Сотни замерли, ничего непонимающая толпа персов почтительно молчала, а гнедой генерала непрерывно поводил ушами. Баратов говорил о былой славе дедов и отцов кубанского войска, о лихих недавних делах казаков в Турции, о новом фронте, созданном нашими врагами — персидском и о той славе, которая ждет прибывших в Персию на новых полях сражений.

— Казаки, задача ваша трудна тем, что, прежде чем пустить в ход оружие и дать волю воинской доблести вашей, вы должны убедиться, точно ли враг перед вами. Помните, что с Персией мы не воюем, мы воюем с жандармами, желающими вовлечь Персию в войну с нами. Но старания подкупленных немцами золотом жандармов — напрасны, и Персия с нами не воюет. Мирным жителям не причиняйте обид. Помните завет Суворова:

— Мирного жителя не обижай, он нас поит, кормит и дает приют.

— Русские левинные мирные люди и союзники англичане, прогнанные с насиженных мест, ждут от вас защиты, а Россия ждет вашего нового подвига, — кончил генерал.

Ура кричали все и русские и персы. Генерал в белой папахе, повидимому, понравился. Когда он смеялся, то его белые зубы также сверкали на солнце, как и у персов. Первая сотня пошла с трубачами — за ней потянулись другие и было радостно смотреть на этот ровный шаг, на яркие башлыки, на веселую толпу персов, окружившую колымом группу всадников генерала Баратова. Веселые звуки казачьего марша слабели и толпа расходилась...

На пути между Казвином и Хамаданом находится Султан-Булахский перевал. По имеющимся сведениям германо-турки сосредоточили здесь большие силы, — до десяти тысяч человек, и заняли сильно укрепленную позицию, чтобы дать русским решительный отпор. По сведениям, полученным от персов, германо-турки решили разом покончить с русскими, поэтому и накопили в одном месте в горах такое большое войско. Они хотели разгромить Русскую Армию. Заманить ее подальше в глубь Персии, в горы, на непроходимые дороги, в ущелья, неизвестные русским, и там уничтожить. В крайнем случае заставить бежать остатки этих сил в Анзели и Россию. Разведка говорила, что все горы Султан-Булаха усеяны турками и пушками, что враг имеется не только на шоссе, но и на грунтовых, близких к шоссе, дорогах. Что в германо-турецкой армии имеются отряды персидской жандармерии и разных племен.

Восточная фантазия не знает пределов и персидские слухи всегда значительно преувеличены, но сведения о значительных отрядах жандармерии и приставших к ним племен кочевников были безусловно достоверны. Позже узнали, что в штаб группы войск неприятеля, сосредоточенной у Султан-Булаха, о нас передавались такие же преувеличенные сведения. Персы докладывали:

— Русских высадилось свыше ста тысяч человек.

Нас было в это время в двадцать раз меньше. Оказывается — количество наших войск росло и увеличивалось прямо пропорционально расстоянию. В Казвине нас считали в пятьдесят, в Хамадане в сто тысяч.

Конный отряд полковника Фисенко разбился на три небольшие группы и действовал в этой операции тремя колоннами: средней, — она же и главная — под командой самого Фисенко, по шоссе, и двумя обходными колоннами с обоих флангов. Колоннами командовали казаки: полковник Яковлев и войсковой старшина Лещенко. Движение этих отрядов было осторожным, быстрым и точным. Врага приказано было взять в кольцо с трех сторон. Дороги были неизвестны и почти непроходимы: скорее это были не дороги, а вьючные тропы в диких и скалистых горах. Иногда такая тропа вдруг обрывалась и приходилось много времени тратить на поиски новой. Иногда густая чаща леса, вывороченные с корнями деревья, столетние пни, горные потоки и водонады затрудняли движение казаков. Небольшие кубанские лошадки были неутомимы. Спокойно поднимались на скалы, спускались в пропасти и переплывали стремительные и холодные потоки.



Первая стычка наших и неприятельских войск произошла двадцать пятого ноября у с. Аве, на сто шестой версте от Казвина, у шоссе. Полковнику Фисенко донесли, что у Аве стоит значительный отряд жандармов и моджегедов. Были приняты меры предосторожности и наши стали выжидать. Жандармы начали стрелять первыми, сначала одиночными выстрелами, а потом чаще и чаще. Затрещал пулемет. Как ураган налетели казаки Фисенко на врагов и моментально их смяли. Завязался бой по всей линии, так как казаки Яковлева и Лещенко также вошли в соприкосновение с противником, и в два дня, двадцать пятого и двадцать шестого ноября, участь грозного Султан-Булахского перевала и укрепленных на нем позиций была решена.

Бой шел на протяжении нескольких верст, участками. В этой операции, как выяснилось позже, против нас принимало участие более пятисот конных и пеших жандармов с артиллерией и 1200 всадников кочевников. Сопротивление было решительное. Но план окружения был хитро задуман, в точности и быстро выполнен, а удар конного отряда был так стремителен, что неприятель понес значительные потери и бежал за перевал к Хамадану.

От Султан-Булахского перевала до Хамадана верст сто пути. Нужно пересечь по диаметру большое плато, и сколько возможно отряд Фисенко преследовал неприятеля, но жандармы и „добровольцы“ разбежались в разные стороны и умчались на своих великолепных арабо-персидских конях.

До боев двадцать пятого и двадцать шестого ноября наши проделали быстрым маршем утомительный поход от Казвина через горы, а враги спокойно сидели в горах. Их кони были свежее. Дальнейшее сопротивление жандармы оказали отряду Фисенко недалеко от Хамадана, но и здесь лихим ударом казаков, неприятель был сбит и отряд победоносно вошел в древнюю столицу Персии. В Хамадане войска немного отдохнули и продолжали наступление. Значительные бои имели место у Кянгавера на Бидессурском перевале на половине пути между Хамаданом и Керманшахом — отряд подполковника барона Медем и у Керманшаха — Конный отряд генерала Исарлова. У Сахне и Биссутуна жандармы тоже продолжали сопротивляться.

* * *

Так проходили дни ноября и декабря вплоть до самого Рождества. Лили уже непрерывные дожди, дороги обратились в непролазное болото и стало холодно, особенно по почам. Рассеянные отряды германо-турецких наемников быстро приводили себя в порядок и всячески препятствовали нашему движению к Керманшаху. Без боя они не сдавали ни одного села по шоссе. А у Керманшаха — уже в феврале — собравшись в большую ударную группу, оказали очень упорное сопротивление. Наши действовали решительно и быстро. Приказы генерала Баратова исполнялись без промедления. Отдельные отряды совершали пятидесятиверстные переходы, при перегруппировках, дабы обеспечить успех кампании начального периода персидского похода.

В феврале мы уже прочно стояли в Керманшахе, за семьсот верст от Энзели на главной операционной линии.

В это же самое время, на Кумском направлении, Конный отряд полковника Колесникова нанес ряд последовательных и сильных поражений германо-туркам у Лалекена, Саве, Кума и Исфагани, а Конный отряд полковника Стопчанского, действовавший на третьем операционном направлении, разогнал и разбил довольно многочисленные скопища неприятеля у Султан Абада и Буруджира. Войска регулярной турецкой армии во всех этих разнообразных местах нового для русских театра военных действий были немногочисленны. Это были искусственные и чисто случайные соединения, которых объединяло только купившее их золото. Отряды состояли из персидской жандармерии, австрийских военно-пленных, воинственных бахтиаров, луров, курдов, шахсеванов, просто разбойников с большой дороги и любителей грабежа, войны и приключений. Такие отряды достигали иногда нескольких тысяч человек; их объединяло во время операции общее командование, но самые воины, недисциплинированные и дравшиеся по вольному пайму за деньги, — иногда весьма небольшие, т. е. главный куш оставался всегда в кармане вождя, — не проявляли ни храбрости, ни стойкости. Всадники туземцы слушали только своего вождя, а вождь этот, всегда вперед получивший деньги, все же жизнь свою и своих

воином ценил дорожку золота. Если во время начавшегося боя, вождь видел, что положение непрочно, он дрался только для вида, и при первой возможности туземная конница уходила полным ходом в горы.

— Ищи ее!

Здесь всякий воин кавалерист. В военных операциях туземцев, отряды — конные.

— Что бы здесь делала пехота!

Здесь ведь нет железных дорог и удобных путей сообщения, а расстояния огромные. Часто жизнь или смерть зависит от быстроты ног коня и каждый настоящий воин стремится иметь хорошего скакуна, чего бы это не стоило. Да, и нужно признать, кони здесь замечательные. Похожи на нахматных коньков. Благородные, беспокойные. Шея дугой... Хвост немного приподнят, пушистый и длинный, почти до земли. Конь под всадником не стоит спокойно; он гарцует, а когда гарцует, эффектно выбрасывает ноги. Для европейского глаза они совсем непривычны.

Они из легенды и сказки; они как будто сняты с картинки и их пустили скакать по горам и долам на потеху и забаву воинственного человека в диковинной земле. А скачут они воистину прекрасно!

* * *

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

У Фермана-Фермы был сын, Сардарь Ляшгяр. Русско-английская дипломатия давно добивалась назначения Хамаданским Губернатором своего сторонника и когда Ферман-Ферма вошел в кабинет министром внутренних дел, то Сардарь Ляшгяр получил место губернатора. Шведский майор Демаре, прибыв с отрядом жандармов в Хамадан, был недоволен этим назначением. Губернатор ему мешал. Демаре арестовал Сардаря Ляшгяра, а в Тегеран послал телеграмму с ультимативным требованием уволить министра Фермана-Ферму. Министр уволен не был, но наглость состоящего на службе министерства внутренних дел офицера поразила многих. Демаре сам назначил губернатора, по своему выбору. При содействии нового администратора происходила обработка общественного мнения, агитация против русских и англичан, устройство укреплений вокруг города.

Бой у Аве и на Султан-Булахском перевале, закончившийся разгромом жандармов и моджегедов, вызвал в Хамадане панику. Остатки разбитых отрядов своим видом, а еще больше рассказами о больших силах и злодействах русских, взбудоражили город. Началось бегство. Первыми стали уходить войска гарнизона. Около шести тысяч жандармов, всадников и добровольцев германотурецкой службы молниеносно оставили город. Демаре, нагрузив караван вьючных животных оружием и деньгами, двинулся на юг. Казна его пополнилась. В Хамадане было отделение английского „имперского банка Персии“. Демаре захватил все деньги банка с собой, около 60.000 туманов серебром, а в качестве заложника увел с собой и Сардаря Ляшгяра...

Еще накануне, Демаре уверял германского консула в непобедимости своих войск. Консул верил. Да и как не верить, когда тысячи всадников вооружены до зубов и снабжены пулеметами и артиллерией!

— От Аве до Хамадана больше ста верст... Да Аве за перевалом. Далеко еще...

— У Аве дрогнули жандармы?!

Нустяки... Это парочко русских заманивают в горы...

Консул обедал, когда в передней услышал шум. От Демаре приближали сказать, что русские под Хамаданом и надо бежать.

Обед остался на столе, а серпировка попала в число трофеев отряда полковника Фисенко.

Консул был возмущен.

— А сопотниление?

— Да уже все уходит, господин консул. Скорее, скорее...

Демаре посылал проклятия по адресу Паиба-Гуссейна и Заффара Нозама.

— Разбойники, кричал он — сколько они денег взяли! Да ведь русские еще в трех переходах отсюда, а они уже удрали... Ну погоните же!

Город был занят без выстрела.

За несколько дней до разгрома на Султан-Булахе, среди жителей Хамадана собирались подписи. За войну против русских и англичан. Агенты германо-турок, как будто почтенные граждане города, ходили по магазинам на базаре, по домам видных кушцов и предлагали расписаться. Мились, жались и подписывали. Губернатор подписался, такой-то тоже и такой. Было неловко, боялись, а все же подписывали. Говорили, что пошлют телеграмму в Тегеран с требованием, чтобы объявили войну.

Когда русские подходили к Хамадану, началось бегство из города.

Демаре не хотел брать с собою беженцев.

— Куда вы? Мы — воевать, а вы только мешать будете!

Да и как бежать? Семья, дела на ходу, имущество... Ехать? Куда? Да и собраться времени нет! А что будет дальше?

Подписавшиеся решили положиться на милость победителей. Пошли на телеграф. Просили уничтожить их подписи под телеграммой.

— Да как же я уничтожу, говорил начальник конторы. — телеграмма то ведь послана!

Губернатор тоже мог уехать с Демаре, но не уехал. Вызвал к себе переводчика и стал сочинять телеграмму Баратову, с просьбой о прощении. Телеграмму послал, а сам скрылся до поры до времени.

* * *

На Востоке люди очень доверчивы и охотно верят тем, кто умеет говорить настойчиво и убедительно. И в Персии верили силе и могуществу Германии и Турции, которые обещали ей свою помощь и говорили о разгроме России. Но на Востоке умеют считаться и с фактами. Падение Хамадана показало, что не все справедливо в словах германо-турок. Престижу германо-турецкого могущества был нанесен жестокий удар, но ни немцы, ни турки не пали духом. Сильные отряды их повели в свою очередь наступление по дороге между Хамаданом и Тегераном, пытались отрезать Хамадан от столицы. Силы противника настолько превосходили русский отряд, что сначала мы только оборонялись. Отбив удар, русские войска не дали времени германо-туркам собраться с новыми силами и возобновить наступление. Русский отряд стремительным и неожиданным нападением разбил германо-турецкие части и подошел к Куму. Взять Кум, это значило нанести поражение врагу в самое сердце. Ведь Кум был центром всего движения и главным штабом военных действий против России. С этим городом связалось представление о силе и организованности германо-турок. Как и под Хамаданом, однако, русским войскам

здесь не было оказано никакого сопротивления. Казаки были еще далеко от города, как через южные Кумские ворота трусливо бежали и временное правительство, и деятели „Национального Комитета защиты Ислама“, и шведские руководители, и германо-турецкие вдохновители персидского движения.

Кум был пуст от пришлого элемента. Нашему отряду Баратов приказал соблюдать осторожность при занятии священного города, чтобы не оскорблять религиозных чувств мусульман. Начальник отряда в город сразу с казаками не вошел. Вызвал к себе губернатора и заявил, что город займет, но просил отвести для войск помещения. Губернатор, по соглашению с духовенством, указал соответственные кварталы и здания, которые и были заняты казаками.

Занятие Кума имело огромное значение не столько с точки зрения стратегической, как с политической. После Хамадана, это был второй удар и более сильный. Отряды жандармов и всадников были разбиты и отброшены вглубь страны. Руководители движения „священной войны“, были оторваны от своей временной столицы, от своих войск и от центров активных действий. Приходилось думать уже не о продолжении войны, а о собственном спасении и при бегстве выбирать лишь надежную дорогу.

Баратов осматривал войска кумского района. Награждал казаков крестами, говорил речи, осматривал госпитали. Поехал в Кум. Еще при въезде в город его остановила депутация от горожан и духовенства. Седой, как лунь, мулла сказал:

— Мы говорим то, что думаем. Раньше мы боялись русских войск, мы боялись за наши святыни, жизнь и имущество. Но мы напрасно беспокоились. Русские уважают нашу веру и права. Мы горячо благодарим Вас и Ваши войска за гуманное отношение к мирным жителям и за внимание, проявленное к кумским святыням и обычаям страны.

* * *

Первые известия об успешных боях русских войск на Султан-Булахском перевале были получены в Тегеране двадцать пятого ноября, в день исторического заседания кабинета министров. Последующие известия, в особенности взятие Хамадана, произвели в столице большое смятение. Еще двадцать пятого ноября Мустафиоль-Мамалека посетила депутация от тегеранского купечества и потребовала от него объявления войны России и Англии. Падение Хамадана произвело переворот в умах. Купечество выбрало новую депутацию к шаху и уполномочило ее просить повелителя Ирана соблюдать в отношении воюющих держав полный нейтралитет. Уполномоченные заявили шаху, что народ не хочет войны с кем бы то ни было. Переговоры с Россией и Англией о заключения союза также должны быть прерваны, ибо никто в Персии не желает войны с единоверной Турцией. Шах обещал.

Мустафиоль-Мамалека был потрясен. Он ошибся только в одном дне. Он поторопился. Карьера его испорчена. Он заявил, что уходит в отставку и подождет лишь некоторого успокоения внутреннего положения Персии. Декларация открывала карты. О переговорах с Россией и Англией уже не может быть и речи. Но надо действовать...

В турецком посольстве и австро-венгерской миссии обнаружилась полная растерянность. Отданы распоряжения об отъезде и упаковке вещей для дальнего путешествия.

— В Исфгань? Тревожные слухи: говорят дорога занята русскими. Хамаданская дорога тоже перерезана. Нуверен занят.

— В Керманшах?...

Однако не все еще потеряно. Тегеран переполнен жандармскими частями, отрядами воинственных всадников, преданных Германии и Турции. Жандармы в казармах Юсеф-Абада, Баге-Ша и Гассан-Абада ждут только приказа о выступлении... Нет, действительно не все еще потеряно! Если Тегеран восстанет, события могут еще повернуться. Нужно только выиграть время. Ведь турки могут от Багдада через Германию начать наступление по Тегеранской дороге! Важно чтобы Тегеран держался...

Так думал Мустафиз-Мамалек, принц Рейс, Эдваль и многие другие поджигатели пожара на Востоке.

* * *

В воскресенье шестого декабря разведка отряда полковника Колесникова сообщила, что у селения Саве накаплиются вооруженные всадники. Поймали языка. Пленный утверждал, что отряд небольшой, подчиняется Амир-Хешмату, но что ими командует не сам вождь, а один из его помощников. Саве находится примерно на полпути между Тегераном и Кумом в 75 верстах к северо-западу от Кума. В понедельник части отряда Колесникова подтянулись к Саве и стремительной атакой смяли неприятеля. Всадники состояли из добровольцев, набранных агентами принца Рейса, в количестве шестисот. В это время другие отряды Амир-Хешмата сосредотачивались у Тегерана, верстах в сорока между Рубад-Керимом и Кереджем. По известиям у русских сведениям, отряды намеревались вступить в Тегеран. Русские войска ехали Амир-Хешмата с двух сторон. Казаки Колесникова, только что действовавшие у Саве, форсированным маршем направились к Рубад-Кериму с юга, а с севера из Унги-Имама выступил другой свежий отряд. Десятого разразилась бой. Германо-турецкий наемный отряд состоял из полтора тысяч человек: восьмисот добровольцев под командой самого Амир-Хешмата и семисот жандармов, руководимых инведами. Казаки обстреливали неприятельские позиции артиллерийским огнем из горных орудий, а потом бросились в атаку. Среди всадников туземной кавалерии произошла паника и они бросились врассыльную по направлению к горам. На поле сражения остались человек тридцать убитых, сто восемнадцать раненых и около семидесяти пленных.

Тегеран пережил тревожные часы. Заседания кабинета министров шли непрерывно. Пальба орудий с поля сражения доносилась до города. Тегеран метался. Браги и друзья с одинаковым трепетом ждали исхода боя. По городу ползли невероятные слухи. Через многочисленные ворота Тегерана, в разных направлениях уходили жители, уезжали экипажи, тинулись груженные караваны вьючных животных. Бежали наугадные мирные граждане, чтобы спрятаться на несколько ближайших дней в окрестных деревнях, поместьях, у знакомых или родных. Боялись восстания в городе, переворота, резни. А основания были.

Если бы седьмого декабря казаки у Саве не разбили добровольцев, то в Тегеране разразилась бы грозные события. Германо-турками и их друзьями был разработан следующий план. Часть добровольцев должна была привлечь на себя русских в окрестностях Саве, а остальные в это время с Амир-Хешматом во главе, предполагали войти в Тегеран. В городе к добровольцам должны были присоединиться жандармы, во главе с Эдвалем, и бахтиары. В результате образовались бы значительные силы, которые смогли бы обезоружить персидских казаков, напасть на здания миссий держав согласия и совершить государственный переворот. Шаха предполагали заставить остаться в Тегеране и фактом своего присутствия одобрить весь план. Если русские будут наступать на Тегеран, и

городу будет угрожать опасность, выехать во главе с шахом и правительством на юго-запад. Этот план объяснил все. И первое возбуждение, царившее в городе последние дни. И слухи об отъезде шаха, правительства и турецко-немецких агентов, и поспешные приготовления Эдвала и его жандармов к отъезду. Амир-Хешмат колебался. Его отряд у Саве был разбит. Казаки могут подойти к Тегерану. Входить ему в город или нет?

— Как в городе? Как построение? — спрашивал по телефону Амир-Хешмат вождей бахтиаров.

— Мы вас ждем, отвечали ему.

Но Амир-Хешмат не решился. Его поджидала судьба у Рубад-Керима.

На валу, окружающем Тегеран, правительство расставило вооруженных полицейских, приказав им отразить добровольцев, если они сделают попытку войти в столицу. Напрасно! Судьба Тегерана и этого правительства решилась у Рубад-Керима. Впрочем она решилась еще накануне, у Кума. Известие о падении Кума произвело впечатление бомбы, брошенной в пороховой склад.

— Бежать. Но куда? Кажется все дороги перерезаны!...

Германо-турки, шведы во главе с Эдвалем и жандармы покинули город. Захватили арсенал, взрывчатые вещества и бросились в горы. Следом за ними по горным дорогам и только им одним ведомым горным тропинкам, рассеялись шайки бахтиаров, сарбазов и всадников. На улицах Тегерана, вместо мундиров и кэпи австрийцев, вместо курток цвета хаки моджегодов принца Рейса, появились русские военные мундиры и фуражки, казачья черкески и послышалась русская речь...

* * *

Кабинет Мустафиоль-Мамалека пал. У власти стал престарелый принц Ферман-Ферма. В Тегеран навещаются русские гости — начальники отрядов, должностные лица. Через город, в южном направлении на Кум, Кашан и Исфагань бегут форды, грохочут грузовики... Население подавлено мощностью русского вооружения и успехами побед нашей армии.

* * *

Персидская экспедиция генерала Баратова обязана своими успехами прежде всего той скрытностью, с которой войска успели сосредоточиться в Казвине, а затем быстроте и энергии натиска, похожими на туркестанские походы Черняева и Скобелева. Баратов знал восток и понимал, что лучший способ борьбы с плохо дисциплинированными скопищами неприятеля заключается в непрерывном преследовании однажды поставленной задачи. Задача была — разгромить еще незаключенную организацию и концентрацию сил противника. На востоке волевой элемент в психике развит слабо, а потому ряд коротких и сильных ударов по врагам, расстроив их ряды, должен был парализовать энергию к объединению многочисленных вождей воиствующих племен. Баратов рассчитал правильно. Но разгромив главные силы германо-турок у Хамадана, Тегерана и Кума, он не остановился. Операции развивались на всех трех главных направлениях. Заняв за Хамаданом Ассад-Абадский перевал, русские войска открыли себе путь в долину верхних притоков реки Каруна и перешагнули через горные хребты, отделяющие внутреннюю Персию от бассейна Персидского залива. С занятием Кума в нашу власть перешла почти вся плодородная

долина Карачая, по которой протекает кратчайший путь из Тегерана в Багдад. Северная дорога из Исфагана в Багдад также была перерезана, поэтому германо-турецкие руководители в Персии были отрезаны от своей Месопотамской базы.

* * *

В горных ущельях и лесах Гиляна, в глубоком тылу русских войск стали проявлять активность отряды Кучик-хана и Хассан-хана. Они нападали на обозы, транспорты, мелкие отряды русских и мешали правильной коммуникации фронта с тылом. В конце декабря Баратов приказал покончить с воинственными вождями племени джелегидцев. С запада на Ренг была двинута одна колонна казаков, а с юга к северо-востоку, в леса — другая. В этом походе принимало участие несколько сот казаков; на их долю выпали большие невзгоды. По заваленным снегом тропам, по обледенелым скалам, в непроходимых дебрях лесных гор, скудно питаясь, они в течение двух недель дрались с превосходившими во много раз их силами. Проваливались в снег лошади, падали казаки, отмораживали руки и ноги, и шли вперед и согревались только в бою. Кучик-хан был постигнут, окружен и разбит. Ему удалось с небольшим отрядом спастись: победители захватили пленных, сотни канулей и ручных гранат...

* * *

Отряды курдов турецкого Курдистана еще только поджидали нас, но уже несли германо-турецкую службу. Из Сенне, горными тропами, они перевозили из Турции в Персию оружие, несли службу связи — передавали важные известия, инструкции.

Чтобы прервать сообщения наших противников с западной турецкой границей, по распоряжению Баратова из Зейджана в Сенне был послан отряд персидских казаков во главе с эсаулом Мамоновым. Этот отряд образцово нес свою службу, несмотря на недостаток в теплой одежде и обуви. Это один из редких случаев, когда персидские казаки под властью хорошего начальника оправдали произведенные русским правительством на них затраты.

* * *

Бегавшие из Тегерана, Кума и Хамадана организаторы персидского движения не прекратили своей работы. Наступление колонны русских войск на Кум было столь неожиданно, что победителям удалось захватить все военные припасы германо-турок и кумского комитета. В предположении, что русские войска при наступлении минуют Исфагань, немцы решили возобновить заготовку военных припасов в этом городе. Был организован патронный завод, работающий непрерывно днем и ночью под непосредственным наблюдением германского поверенного в делах Карднера. Энергичный дипломат оставался в Исфагани до конца, то есть до самого наступления русских войск.

* * *

Видессурекский перевал брали под Новый год.

Кяпгавер заняли без боя. К западу от города находился укрепленный перевал — основной опорный пункт германо-турок по дороге нашего движения к Месопотамии.

тамин. Здесь, в первый раз с начала операций, русским пришлось иметь дело с большими турецкими силами, занимавшими укрепленные позиции в горах и располагавшими значительной артиллерией. Занятие Вадесурского перевала должно было открыть дорогу русским войскам в Керманиш. Подготовка к операции заняла около месяца. Исправляли дороги на Ассад-Абадском перевале, подвозили оружие и продовольствие в Хамадан, а главное, перед решительным наступлением на Керманиш, Баратов стремился обеспечить левый фланг, ввиду ожидавшихся выступлений германо-турок со стороны Исфагана. Успешные бои у Буруджира, закончившиеся разгромом враждебных племен и занятием Кашана — по дороге на Исфагань, решили эту задачу. Основательная подготовка Кянгаверского боя дала блестящие результаты. Турецкие войска были атакованы с фронта и флангов одновременно. Бой был жестокий и закончился полной нашей победой. Неприятель бросил четыре орудия, пулеметы и весь лагерь с богатой военной добычей. Конница генерала Исарлова преследовала противника, а затем последовательно после серьезных боев нами были заняты Сахне, Биссутун и наконец Керманиш. Русские ворвались в Керманиш на плечах отступающих германо-турецких войск, после сильного боя.

Укреплениями у Керманиша руководил военный германский агент генерального штаба, генерал граф Каниц, бывший душой всей сложной германо-турецкой затеи в Персии. После падения Хамадана, Кума и Тегерана в Керманише пробрались беглецы из этих мест — немцы, турки, шведы, отряды жандармов и непримиримые политические деятели-персы. Здесь же были организованы значительные курдские отряды и собрано много германо-турецкого военного имущества. Естественно, в течение января тысяча девятьсот шестнадцатого года Керманиш был главным центром германо-турок в начавшейся войне. С падением Керманиша они лишились главной базы на персидской территории. Поражение немецко-турецких войск под Керманишом и занятие города русскими должно было произвести большое впечатление на тех персов и курдов, которые еще верили в силы „защитника и покровителя Ислама“. Моральное значение этих событий должно было отозваться на англо-мессопотамском и на Кавказско-турецком фронтах. Со взятием Керманиша, русские войска были у ворот Месопотамии.

* * *

Граф Каниц переживал трагедию.

Молодой, энергичный и блестящий, он увлекался своими проектами зажечь пожар в Персии и принца Рейса и самого Фон-дер-Гольц-пашу. Он яркими красками рисовал перспективы создания огромной персидской армии из добровольцев, зажигал энергией и верой в успех начатого дела своих сотрудников и не жалел средств на организацию. Главнокомандующий турецкими армиями на Кавказском и Месопотамском фронтах, которого уже называли командующим и несуществующими армиями Персии и Афганистана — придавал работе Каница большое значение. Гольц-паша приезжал через Багдад в Керманиш, чтобы ознакомиться с новым фронтом. Он был недоволен.

— Денег истрачено много, а результаты ничтожны.

— Огромная территория занята русскими, а успехов вооруженной борьбы не видно.

Приезд Главнокомандующего совпал с неудачами у Кума и Тегерана. Каниц показывал высокому гостю укрепления у Керманиша и Кянгавера, но и это не было одобрено. Укрепления, по мнению генерала, были слабы, а войска ненадежны. Гольц-Паша уехал, а Каниц в Керманише поставил на карту свою жизнь. Карта была бита и в день падения Керманиша граф Каниц застрелился....

В течение указанных двух с половиной месяцев операции наши были блестящи. Гений победы русской армии прибыл сюда вместе с нею. Из нескольких десятков стычек, битв и сложных операций не было ни одной неудачной для нас. Сражения происходили на всех трех операционных направлениях: Казвин-Хамадан-Германшах, Казвин-Саве-Кум-Нефаган, Казвин-Султан-Абад-Буруджир. Эти операционные линии охватили громадный район — центр жизни всей страны. На этом пространстве были сосредоточены мозг, душа и все нервы государственного организма. Общественное мнение было заранее настроено против русских, а потому в первый период военных действий мы были окружены тайными врагами и недоброжелателями. Эти враждебно настроенные, иногда очень влиятельные люди, из местных властей и населения, со злорадством следили за высадкой русских войск в Иран; они пытались пугать нас преувеличенными сведениями о силах персиян, были при армии вражеской разведкой и распространили о поведении русских войск разные небылицы. Были и такие, которые искренне думали, что персидский поход — авантюра, обреченная на неудачу; они знали, что войск мало, а условия войны в Персии крайне тяжелые. Поэтому впечатление о русских победах было очень сильным. Вся Персия пришла в изумление. Мы сразу приобрели много друзей, а враждебные голоса замолкли. Результаты этих побед были очень значительны. Не только район бывшей „сферы влияния“ был очищен от германо-турецких войск, но русские заняли значительно большее пространство — шириной восемьсот верст по фронту и столько же верст в глубину, т. е. сделались полновластными хозяевами на территории во много раз превышавшей районы, прилегающие к России. Уже через два месяца после высадки мы держали в своих руках все рычаги для дальнейших успешных военных и административных действий. Политику отныне мог указывать лишь командир корпуса. Ключ от нее находился в руках генерала Баратова. Тегеран теперь должен был соблюдать нейтралитет и помогать нам в снабжении армии и поддержке лояльности среди населения и враждебных племен. Впрочем эти племена и их вожди переменяли свою тактику активной вражды или выжидания и стали усиленно искать русской дружбы и покровительства. Они всецело стремились проявлять признаки своего расположения, а некоторые приняли меры к заключению с русскими союза, чтобы воевать против германо-турок. Одни вожди приехали сами на поклон к генералу Баратову; другие по восточному обычаю привезли подарки; третьи просто предложили себя и свои отряды в распоряжение штаба корпуса. Такой результат наших успехов был крайне важен, т. к. по местным географическим и бытовым условиям враждебные отряды в дальнейшем могли бы стеснить наши операции, главным образом в отношении добывания фуража и продовольствия.

Конному корпусу нужно было много припасов, и хотя за них войска немедленно рассчитывались персидским серебром, продукты не всегда можно было приобрести. Сторонники германо-турок при приближении русских войск прятали зерно, зарывая его в землю. Иногда войска производили обыски и спрятанный корм находили в погребах или потайных закромах. Приказами командира корпуса под страхом военно-полевого суда войскам было вменено в обязанность воздерживаться от всяких насилий и принудительных действий по отношению к мирному населению. Отобрание имущества и реквизиции воспрещались, и строго наказывались. Эти приказы имели большое значение. Лояльное поведение войск быстро сказалось. Безразличие и враждебность со стороны населения исчезли. Мы стали замечать радушие и предупредительность. „Кардам“ т. е. брат — слово, которое чаще всего можно было слышать при обращении персов к казакам и солдатам.

Велика была радость и ликование русских и английских колоний в разных городах, а в особенности беженцев, собравшихся в Казвине. Опять открылись банки, управления дороги, учреждения и торговые конторы. Изгнанные из мест жители вернулись на свои места. На консульских домах России и ее союзников опять были подняты флаги. Войскам устраивали овации, а Баратова осыпали цветами.

Упоенный победами и успехом, он писал в приказе по войскам:

— Мирная жизнь персидского населения, нарушенная боевыми действиями, вошла в свою колею... Великодержавное имя России и нашей союзницы Англии были силой нашего оружия и успехов снова восстановлены и подняты на подобающую высоту. Движение же наших войск до Керманшаха с выдвиганием передовых отрядов до самого Керенда, не могло не отозваться благоприятным образом на положении дел у наших союзников под Кут-Эль-Амаром.

* * *

Ликвидация немецко-турецкой авантюры в Персии близилась к концу. Прекратилась агитация в народе, которую вело духовенство; прекратилась пропаганда священной войны, пропаганда против русских и англичан; прекратилась мобилизация кочевников, восхищение немцами и германофильство. Наступило отрезвление и остатки немецко-турецких наемников бежали по дороге Каср-и-Ширин и Багдад. Уже над Исфагань, а после него Незд, Керман и Шираз выражают свою покорность, уверяют в благожелательности нового правительство и просят прислать губернаторов „для восстановления порядка и спасения их от тирании тех, кто перешел на сторону немцев“. Даже восставшие против русских жандармы просят пощады. Шираз — цитадель немецких интриг, обратился к изгнанному губернатору с просьбой возвратиться к месту службы и послал навстречу ему почетный эскорт-охрану жандармов и всадников. Немцы не ожидали столь печальных для себя дней. Их авантюра в Персии закончилась кровавой трагедией для них самих. Провокаторские приемы поняты персами и прежние друзья стали врагами. В Ширазе уже идут стычки между персами, „восставшими“ было против англичан и русских, и немецкими агентами. В Кермане на улицах — кровавые столкновения между бахтиярами и австрийскими солдатами.

Немцы — Васмус, Цейгмайер, Кардорф, Шуман и другие бегут в Мессопотамию через дебри Поштекуха, единственный оставшийся для них неотрезанным путь.

Надежды организаторов священной войны на восстания в Афганистане и Индши рухнули.

* * *

В сочельник пятнадцатого года Тегеран посетили русские гости — генерал Баратов и офицеры штаба. Пребывание именитых гостей в Тегеране было непрерывным праздником и для приезжих и для всей русской колонии.

Баратов делал визиты...

Англо-русский кабинет Фермана-Фермы иллюминировал город, устраивал парады и банкеты. Послы союзных держав кормили обедами, говорили речи, посылали телеграммы... Персидская казачья бригада блистала смотрами, гимнастическими упражнениями и джигитовкой. Шах был милостив и доволен. Кажется, кончилиась распри! Нет больше двусмысленной игры. Можно отдохнуть и повеселиться. В торжественных аудиенциях, обставленных с восточной пышностью, при большом стечении двора и нотаблей, шах благодарил Баратова за образцовое поведение

русских войск и за их дружелюбное отношение к населению. В знак особого благоволения к гостю, шах пожаловал ему высшую награду — „темсаль“ т. е. свой портрет, усыпанный бриллиантами, для пошения на шею...

Забавляли молодого повелителя Ирана.

Казачий конвой Баратова состоит из лучших танцоров и певцов кавказской армии. В Фарар-Абаде, в залах охотничьего замка, в присутствии двора и многочисленных гостей, плясали казаки лихую лезгинку и пели свои буйные песни...

В залах дворца Сагаба Ихтиари, русский бал в пользу больных и раненых. Здесь избранное общество столицы. Русско-французская речь. Персидские костюмы. Бюски, цветы из лучших оранжерей, ковры и миллионы огней. Горят иконки, светильники, лампы, хрустальные люстры... В просторных залах дворца не жарко... Европейские дамы блещут туалетами. Аромат французских духов смешался с тонким запахом розового масла и благовонных мазей... Гремит оркестр...

— Гимн, гимн, персидский, русский, английский, французский!...

Победители веселятся. Тегеран спокойно встречает новый европейский год...

* * *

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕНЕРАЛ БАРАТОВ

Когда я пришел к нему в первый раз, он наговорил кучу приятных вещей. Обворожил. Он сидел за письменным столом и говорил, что в корпусе недостаток врачей и сестер милосердия; нет медикаментов и мало санитарных перевозочных средств. Он был в черной черкеске с блестящими генеральскими серебряными погонами, коротко остриженный. Глаза его узкие, карие, живые — как будто смеялись. Прямой кавказский чуть-чуть хищный нос. А когда улыбался, были видны ослепительно белые здоровые зубы. Говорил он немного в нос, но это была скорее манера или привычка. Лицо широкое, красное и весь он дышал здоровьем и энергией. Ему было лет пятьдесят. Когда я вошел, он встал. Было видно, что он небольшого роста. Он был легкий, подвижной, а когда разговаривал, машинально крутил ус и поглаживал небольшую с проседью бородку.

Еще в Москве, помню, телеграммы с Кавказского фронта часто сообщали, что отряд генерала Б. лихим и стремительным ударом смял, разбил противника: вышел ему в тыл, окружил или преследует. Это было в тысяча девятьсот пятнадцатом году в Турции. Мы в Москве не знали, что это генерал Баратов, но я хорошо запомнил генерала Б.

* * *

Два брата, грузинских князя, поссорились между собою во время пирушки и в запальчивости один пнул другого книжалом. Пришлось бежать. Через горы грузин попал на Терек к казакам. Здесь не спрашивали, кто он и зачем пришел. Записался в казаки, женился и зажил новой жизнью. Воевал, был офицером и совсем okazaчился. Сын его жил там же, тоже воевал и за боевые отличия заслужил звания урядника и вахмистра и чины хорунжого и сотника. Женился на осетинке и умер в должности командира сотни и начальника своей станицы — Галашевской. Сопник Баратов умер, а вдова повезла его тело для похорон в Моздок. Очень мучилась в пути, ибо носила младенца. У гроба мужа в станице Магомет-Юртовской лежала роженица, а рядом маленький Николай Николаевич...

Позже, когда я уже был хорошо знаком с ним, я как-то сказал:

— Из кавказских народностей, вы осетины...

— Позвольте. — перебил меня П. П., — я казак.

Любил свою мать П. П. нежно и глубоко и не расставался с ней до самой ее смерти. Он родился в бедности и годы детства провел в родной станице, Сунженской.

На смотрах и парадах генерал любил обходить ряды и беседовать с солдатами и в особенности с казаками.

— Ты какой станицы?

— Такой-то.

— А ты?

— Сунженской.

— Постой, как же твоя фамилия?

— Такая-то.

— Ах, так ты значит, сын такого-то?

— Так точно.

— Ну вот, как хорошо, ведь мы с твоим отцом товарищи, мальчишками росли, вместе по станице без штанов бегали...

Казаки смеются. Любят, когда генерал шутит, но знают, что это правда и приятна им эта шутка-правда, и гордятся они своим генералом. В станице бегал босиком, и — помню — говорит, что — одна подтяжка у меня через плечо устроена, мать смастерила.

Мать работала, не покладая рук, хлопотала за сироту и добилась войсковой стипендии. Так начал учиться и сразу же обнаружил большие дарования будущий первый офицер генерального штаба в Терском Казачьем Войске.

* * *

В японскую войну командовал родным Сунженско-Владикавказским полком, а Великая Война застала его во главе I-ой Кавказской Казачьей дивизии, славные полки которой вошли в состав Персидского Экспедиционного корпуса.

Одинаково ровный, любезный и ласковый со всеми: с генералами, офицерами, солдатами и казаками, генерал очень популярен. Но одной любезности мало. Солдаты и казаки не будут любить за одну любезность и справедливость. Их вождем должен быть храбр. Он не может не быть храбрым — их командир.

На Ассад-Абадских высотах кипел бой. Баратов, в белой панахе, на своем гнесте, с группой офицеров, на пригорке. Картина боя как на ладони. Пули изредка долетают и сюда. Широко взмахнув, как птица крылом, рукавом черкески, подскочил хорушкий Гацунаев к Баратову и говорит „величайшую дерзость“:

— Ваше Превосходительство! Солдаты и казаки из щелей не могут драться, все оглядываются на Вас... Они говорят:

— Кому здесь место, а кому и не место.

Гацунаев был ординарцем и влюблен в своего командира корнуса. Весь дрожал при мысли, что шальная пуля может причинить несчастье. Казаки очень любили Баратова. Называли его „наш“. Слагали песни и рассказывали анекдоты:

„Дело было под Кернидом,
Дело славное, друзья,
Халил-бей с Исхан-пашею
Не давали нам житья.

* * *

Наш Баратов бодр и весел,
Всех к победе он ведет.
Чтож казак ты нос повесил?
Веселей гляди вперед!"

Им было дорого в праздник видеть его в церкви, всегда впереди; он выставлял всю службу. Казаки знали, что он религиозен и любили молиться с ним. Они чувствовали искренность его веры и с уважением говорили об этом между собой. Очень занятой, Баратов не пропускал церковных служб и в религии, в общении с Богом разрешал свои сомнения и черпал новые силы. Он выходил из храма просветленный и был еще ласковее и доступнее, чем прежде.

Он прекрасно говорит. Четко, громко, округленными фразами. Немного длинно, но образно и интересно. В армии любили его слушать. Особенно казаки. Он всегда находил и интересную тему и меткое слово. Слушали внимательно и неделями потом обсуждали тему и перефразировали слова своего командира корпуса.

* * *

Это было еще до персидского фронта в Турции. Великий Князь Николай Николаевич получил назначение Главнокомандующим Кавказского фронта и, приехав на Кавказ, объезжал некоторые части фронта и позиции. Должен был посетить и „Баратовскую“ дивизию. По кавказскому обычаю в штабе на скорую руку был приготовлен стол-дастархан*). Великий князь должен был принять приглашение. На Кавказе, где любят и умеют пить, ни один банкет, ни одна пирушка в любой среде, — в особенности в военной, не обходится без председателя пира. Тулумбаш или Тамада должен быть обязательно. Это вовсе не должен быть старший. Выбирают того, кто умеет быть веселым, руководить и поддерживать веселье. Тулумбаш — застольный диктатор. Он должен уметь говорить сам, заставить слушать тосты, во время бросить шутку, затянуть песню, и держать в руках свободную, разгоряченную вином компанию. Идеальный тулумбаш не заметен, но это самый интересный и активный участник пирушки. Он должен уметь пить, т. е. со всеми и в меру. Он должен следить, как пьют другие, уметь создавать обстановку, чтобы все шло в меру. Его кавказский застольный девиз выявлен в песне:

— Пей, но ума не пропивай.

Баратов первый тулумбаш на Кавказе. Он любит веселье. Не пьет; только делает вид, что пьет. Он очень находчив, остроумен, и вокруг него за столом подлинное веселье.

Великий Князь, как известно, был очень строг. Приехал хотя и опальным, но странным дядей Государя. Это был тысяча девятьсот пятнадцатый год. На дастархане тулумбашем был Баратов. Великий Князь не знал, повидимому, Кавказских обычаев, а может быть и знал, да не хотел считаться с ними. Без разрешения тулумбаша никто не может обратиться к присутствующим с тостом. Великий Князь встал и начал говорить.

— Извините, Ваше Высочество, перебил его генерал Баратов. — Вы оштрафованы.

*) Походное угощение.

В глазах у Великого Князя появились огоньки, а кругом все смолкло.

— Как оштрафован? Кем и за что? — спросил Великий Князь.

Баратов ответил:

— По кавказскому обычаю *никто* не может говорить без разрешения тамады. Нарушивший закон подвергается штрафу. Не угодно ли будет Вашему Высочеству осушить этот штрафной бокал?

Сосуд был изрядный и Великому Князю пришлось выпить его до дна. Баратов предоставил Высокому Гостю слово, а потом затянул кавказскую застольную:

„Нам каждый гость дается Богом,
Какой бы ни был он среды,
Хотя бы в рубище убогом
Алла-Верды, Алла-Верды“...*)

Великий князь был очень доволен таким оборотом дела, а на фронте и в Тифлисе одобрили поступок Баратова, отстаившего кавказскую традицию.

Позже, когда было решено послать в Персию войска, Великий Князь остановил свой выбор на Баратове, зная, что это не только храбрый генерал, но и дипломат. Успехи русских войск в Персии, спокойствие тыла, безопасность движения небольших отрядов, транспортов и отдельных лиц — результат не только нашей силы, но в значительной мере — дипломатического искусства Баратова. Он действовал не только угрозами и угрозами; он умело использовал свойства вождей воинственных племен. Иногда он мирил закоренелых врагов, создавал у них общий интерес или, наоборот, — соседи или друзья должны были поссориться. Администраторы на местах, из персидских чиновников, получали русские ордена и с гордостью носили ленты Станислава. Зато войска наши у такого администратора имели хлеб, мясо и фураж.

Персы любили Баратова. В городах за ним бежала толпа, а при объездах необъятного фронта, в деревнях, на дорогах, прохожие снимали шапки, кланялись и приветливо улыбались. Это — за мудрость мирной политики. Когда стало известно о революции в России, и в Персии появились думские деньги — „керенки“ с изображением Таврического Дворца — здания Государственной Думы, персы неохотно принимали при расчетах эти деньги.

— Караван-Сарай, нехорошо, не нужно, — говорили они, — давай портрет Баратова.

И они выразительно показывали место на кредитке, где должен быть портрет генерала. Им казалось:

— Здание мертво, революция — беспорядок.

В их представлении Баратов был реальным воплощением мощи и кредитоспособности Русского Государства.

Русский, безгранично любящий Родину, выросший за пределами Терека, Баратов принадлежит уже не Терскому Войску, а всей России. Умный, патриот, он всегда был прогрессивным, а когда разразилась революция и прошла по фронту, он понял смысл событий и не вел борьбы ни тайной, ни явной против забившей ключом политической жизни в армии. Чтобы удержать войска на фронте, нужно было сотрудничать с Комитетами и Комиссарами и Баратов это осуществлял искренне мастерски и с огромной пользой для Родины. Когда Баратов входил в заседание армейского комитета, уже после октябрьской революции, — в знак уважения к вождю армии, все члены комитета вставали и бесшумно садились на свои места.

*) „Господь с тобой“. Слово не переводимое. Вообще означает приветствие.

* * *

Позже мне приходилось наблюдать популярность Баратова и за пределами Персии, на пространстве всего многоплеменного Кавказа. Как казак Терского Войска, он пользуется большим уважением на северном Кавказе и после смерти Караулова, атаманский жезл предназначался Баратову. В Тифлисе — грузины, в горах разноплеменные горцы, одинаково считают его своим. В Азербейджане у мусульман и армян, — извечно кровных врагов, Баратов пользуется одинаково большим уважением и известностью. Ведь в состав Персидского Корпуса, кроме казаков, входили солдаты всех племен Кавказа. Они разнесли славу о нем по всем станицам Кубани и Терека, аулам и саклям Дагестана, Азербейджана и Грузии.

У Баратова доброе сердце; он никогда не отказывает просителю и любит слушать советы. Но только слушать. Его интересует мнение, часто по очень серьезному вопросу, его адъютанта, штабных офицеров, казаков и солдат. Он выслушивает их всех, но всегда поступает по своему. Думают, что Баратов по мягкости поддается влиянию других. Это неверно. Говоря с другими, советуясь, он только контролирует себя и пытается шире осветить вопрос. Но поступает всегда по своему. Он прожил очень интересно, да и сейчас живет также. Он из тех счастливых, про которых еще при жизни и сказки рассказывают и песни поют.

* * *

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЛЕТУЧКА

Земский „форд“ бесшумно скатился с перевала и мчался по ровной дороге. Нас двое. Оба помощники уполномоченного Всероссийского Земского Союза. Я недавно переменял адвокатский фрак на френч и сейчас смотрел на все с большим интересом. Михаил Григорьевич Запорожец, приехавший на пару месяцев раньше, уже год пробывал на другом фронте и держал себя как старший. У него охотничье ружье центрального боя и фотографический аппарат через плечо. Иногда автомобиль останавливался и Запорожец безрезультатно стрелял по горным курочкам или щелкал аппаратом. Было очень жарко. На шоссе серая известковая пыль. Движение воздуха ощущалось только во время езды. Опять допнула шина.

— При такой жаре и сам лопнешь, ворчал шоффер.

Он возился с колесом, а мы беспомощно стояли на самом солнцепеке на дороге, пересекавшей огромное плато. Далеко на горизонте полукругом шла горная цепь, а на десятки верст кругом, голое пространство без всякой растительности. Может быть где-нибудь и была зелень, но ее не было видно. Все было выжжено. Высоко над головой кружили какие-то большие птицы, повидимому, горные орлы. Мы их уже раз видели у Сираба. Тогда их сгинули шумом машины. Они лениво поднимались и уходили от автомобиля в направлении гор, тяжело раскачивая огромными крыльями, чтобы подняться на нужную высоту. Их много у Сираба. Они неподвижны и издали похожи на желто-серые камни или глыбы, пятнами застывшие у самой дороги. Это кондоры; у них белая голова и голая шея. Кроме нас троих у машины и орлов, кругом нет ничего живого. Дышать трудно, а в автомобиль забраться нельзя, так как заднее колесо на домкрате. Шоффер возится как-то особенно долго на этот раз, хочется пить, а фляги уже пусты. Невыносимо жарко в толстом суконном френче. Солнливое состояние.

Наконец автомобиль тронулся, стало веселее. Проехали через какую-то деревушку. Желто-серые глинобитные стены без окон, плоские голые и куполообразные крыши и только в стороне от деревни один дом лучше других, повидимому, принадлежащий хану-помещику. Несколько полуголых ребят выбежали на шум автомобиля, да в одном месте таинственно куда-то за угол ныгнула женская фигура,

застигнутая внезапно на улице. Потом опять серая дорога, солнце и однообразный ландшафт. Впереди на дороге крестьянин. Он гонит небольшой караван, с десятков ослов, обремененных ношей — большими связками саману *). Усталые животные еле перебирают ногами; кажется непостижимым, как такие маленькие животные могут нести на себе этот громадный груз.

Автомобиль напугал погонщика. Гудок ревет, а ослы безучастны. Они сбились в кучу и стоят неподвижно. Шоффер сердится, гудок хрипит. Перс кричит и, толкая ослов в зад, по одному стаскивает их в придорожный ров. Он уступает дорогу. Потом час он будет возиться, приводить в порядок расстроенный караван.

Автомобиль мчится опять по серой и знойной дороге.

* * *

У самого Кянгавера за садами показалась группа всадников, человек пятнадцать. Впереди, на раскрашенной серой лошади, сидел высокий худой перс с палкой в левой руке; на палке белый сокол. В группе было несколько всадников. Кони гарцуют, вычурно выбрасывая в сторону стройные ноги. Шеи их как будто нарочно изогнуты вниз; все они на мундштуках, а хвосты и гривы у некоторых окрашены в оранжевый или голубой цвет. Центральной фигурой был хан, ехавший со своими гостями и челядью на соколиную охоту. Небольшой, толстый, с большими черными глазами, в белом чесучовом сюртуке, хан сидел на чистокровном арабе и неумело подпрыгивал в английском седле. Все, кроме хана и еще двоих, были в черных наглухо застегивающихся сюртуках и, повидимому, были слуги. Группа была очень эффектна и напоминала наши соколиные охоты прежних времен. Да, Персия живет еще в эпоху натурального хозяйства, со своим укладом, полукрепостным правом, помещиками и соколиными охотами!

— А вот и Кянгавер! — сказал Михаил Григорьевич.

Кянгавер показался справа на бугре. Ряды плоских крыш, очень скученно гнездившихся одна к другой. Много двухэтажных домов и потому входные двери и окна вторых этажей видны. Слева густой сад, а справа несколько круглых старинных полуразвалившихся башен.

— Кянгавер — долина смерти, — продолжал Запорожец. — Вы видите — городок-то на горке, а внизу все сплошь болото. Здесь мириады мошкиры, комаров и ужасная малярия! Говорят, здесь девяносто процентов смертности. Вон на тех горах, — он показал рукой на восток, — живут курды, но живут только теперь, летом, когда жарко и малярия. Зимой они живут в долине, а на лето, все племя — с женами, детьми, скотом, скарбом и палатками снимаются и оседает в горах. Чем живут? — Войпой, разбоем, разводят скот.

— Много ли их? Гм, трудно ответить. Я думаю никто не знает. Курдов в Персии тысяч пятьсот, шестьсот, а луров, говорят, больше миллиона. Вообще кочевников — миллиона три-четыре наберется. Кочевников здесь называют „пятами“, т. е. племенами, в отличие от оседлого населения...

— Ну нет, по всей Персии они все же не кочуют. Да им и неинтересно. Они имеют право кочевать без стеснения в пределах своих территорий... Ну, не знаю, в привычных местах, что-ли! Летние становища или кочевки называются ййлаки, а зимние в долинах — кышлаки. Они пользуются полной автономией. Натуральных повинностей не несут... Как называется это племя, около Кянгавера, — не знаю. Масса племен...

*) Мелко нарезанная солома.

— Вы спрашиваете, — налоги? Да как же с них получить? Нет, не платят. Может быть где-нибудь и платят?! Во всяком случае крайне редко.

— А что же они мусульмане?

— Курды?

— Нет, вообще — кочевники.

— Формально конечно, они в большинстве — процентов восемьдесят — шииты, но среди них масса сектантов. Есть такая секта: Ахл-и-Хакк или секта „людей истинных“. Они веруют в периодическое воплощение Божества. Персы-шииты называют их „Али-илахи“, т. е. обоготворители Али, зятя Магомета.

— Откуда вы это все знаете, Михаил Григорьевич! — спросил я.

— Откуда?

Он посмотрел на меня.

— Человек один есть в Тегеране. Русский. Вот поживете и Вы с ним познакомьтесь. Любопытный тип. В Персии живет двадцать лет. Много чудес рассказывает. Ну так вот... на чем я остановился. Да, о кочевниках. Кочевому образу жизни благоприятствует масса факторов. Во первых, общий упадок персидской экономической культуры. Пригодные для обработки земли заброшены. Арыки, керизы, засорены. Леса истреблены. Кем? Временем, войнами, историей. Конечно и специфические климатические условия Персии имеют значение. Средняя высота нагорий Иранского плоскогорья — тысячи четыре футов над уровнем моря. Но здесь масса нагорий — плато в восьми, девять тысяч футов. Они высоки, для земледелия не годны. А летом эти нагорья покрыты травой — великолепные пастбища. То же нужно сказать и о более низких равнинах. Летом они выжжены солнцем, как это плато. Видите, что кругом, а зимой здесь трава! Для скота хорошо. Кочевники и занимаются скотоводством. Прimitивным, конечно. Овцы, козы, молоко, шерсть. Об улучшении пород они и не думают. Понятия не имеют. Тоже и о способах стрижки шерсти. Никаких забот. Шерсть продают. Торгуют. Ну как торгуют? Грубая шерсть идет на бичевки, палатки, шатры, а из нежной делают войлоки, ткани. Не они, конечно, работают, а в городах, персы ремесленники... Между прочим. Верблюжью шерсть в большом количестве вывозят из Персии в Европу. Вот я вспомнил о верблюдах! Мы их с Вами уже видели. Здесь масса караванов, в особенности верблюжьих. Персы любят верблюдов. Лошадь здесь на втором месте. На первом выючное животное — мул, катер, осел, верблюд. Лошадь менее вынослива, да и кормить ее дорого. Осел и верблюд едят всякую дрянь — сухую траву, колючки, мох. О них мало заботы, а выносливость!.. Куда же лошади! Верблюды здесь в большом почете. Все делают. Даже почту возят. На востоке Персии — большие пустыни. Так через эти пустыни — дромадеры служат почтовыми курьерами. Выносливые бестии!

Запорожец умолк. Мы уже ехали по кривым ухабыстым переулкам города.

— Видите, как я вас просвещаю, сказал Запорожец и выскочил из автомобиля около двухэтажного невзрачного дома.

* * *

Мы должны были осмотреть Кянгавер и выяснить возможность открытия здесь первого земского лазарета. Городок небольшой на подпути между Хамаданом и Керманишахом. Назревала крупная операция — на Багдад, а войска на этом участке от Хамадана до Керманишаха протяжением больше двухсот верст не имели ни одного лазарета, ни одного питательного пункта, ни бани... Ничего кроме этапных пунктов. В Кянгавере стоял сводный эскадрон первой кавказской

кавалерийской дивизии и этапная рота. Ханский тенистый сад всегда был наполнен солдатами, идущими на Керманшах и обратно, измученными дорогой и жарким солнцем. Кянгавер был естественной станцией двухсот-верстного пути; здесь нужно было открыть госпиталь, питательный пункт и баню. Так и было сделано. Командир корпуса настаивал на этом и мне пришлось учиться на живом деле. Я никогда не видел питательного пункта и не знал как вкапывается котел и как выглядит кипятивник. Сотрудники мои, два врача и девять сестер милосердия, были люди хорошие и некоторые из них имели опыт. Дело закипело. Через две недели в ханском доме и в двух палатках в саду разместились небольшой госпиталь на 100 кроватей. На питательном пункте весело дымили котлы, вмазанные у садовой стены, и стояли четыре новеньких жестяных кипятивника. Человек сто в день получали обед и чай. В саду у северной стены поставили навес и до сотни проходящих мимо усталых солдат могли одновременно в нем разместиться на отдых.

* * *

В узкой длинной комнате с маленьким окном у самого потолка, после обеда сидел человек шесть земцев. В комнате, приспособленной под столовую из какого-то чулана, было прохладно и не хотелось уходить. Вбежал солдат и, запыхавшись, сообщил, что из Керманшаха по телефону уполномоченного просят Командир Корпуса. Оказалось, что звонил корпусный врач по приказанию Командира Корпуса, требовавшего безотлагательно послать санитарный отряд вперед в Керинд, за 200 сличком верст отсюда, и там развернуть лазарет. Это было очень трудно сделать, так как во всем был недостаток, а главное не было денег и перевозочных средств.

Корпусный врач кричал в телефон:

— Так вы отказываетесь? Отказываетесь? Так и доложить Командиру Корпуса?

— Мы не отказываемся, но я только указываю вам на затруднения, в каких мы находимся. Разрешите подумать и дать вам ответ через полчаса.

Когда персонал узнал о содержании разговора, в столовой поднялся шум. Сестра, графиня Б., девушка лет двадцати, категорически заявила:

— Мы не поедем.

Старшая сестра милосердия, светлейшая княжна Л., тоже сказала, что ехать нельзя, т. к. „тетя Миеси“ запретила куда-нибудь двигаться без разрешения. Так звали свою тетку, Уполномоченную В. З. С. в Персии, графиню С. А. Бобринскую, ее племянницы, сестры милосердия Б. и Л.

С докторами было еще хуже. По их словам выходило: медикаментов мало, персоналу тоже. Если разбить все пополам и отправить в Керинд, то не выйдет ни то, ни се. Доктор Д. умирался:

— Я не выеду из Кянгавера, пока старшая сестра не извинится за вчерашнее оскорбление.

Вчерашнее оскорбление заключалось в следующем: в Персии после жаркого дня, вечером, обитатели города располагаются на крышах. Крыши плоские и в каждом доме есть специальная винтообразная лестница, с глиняными ступеньками из внутренних покоев на такую крышу. По вечерам, персонал лазарета обычно проводил короткое время на плоской крыше ханского дома, любясь золотым закатом и синевой гор, жадно глотая прохладный воздух, после трудового знойного дня. Старшая сестра признала недопустимым с точки зрения морали правое такое сидение в поздний час одной из своих подчиненных на крыше и тут же при док-

торе отчитала сестру, приказав ей удалиться. Сестра в слезы. Еще утром я пытался всех помирить. Неудачно. Обиженная сестра к обеду не вышла, а доктор и Л. сидели с надутыми лицами.

После разговора с корнусяным врачом я слушал горячие споры, отказы, а потом заявил решительно:

— Господа, вы поедете во главе с доктором Д.: зауряд врач Бетюцкая и сестры: Вобрицкая, Михеева и Мальцева. Я поеду с вами тоже.

— Я не поеду, решительно заявил Д., — я уезжаю в Россию завтра-же.

— В таком случае вы будете арестованы. Завтра мы выступаем, в 6 часов утра. Господа, готовьтесь.

Я пошел к телефону и соединился со штабом. Повозки и лошадей дали драгуны, денег тоже. Старый, седой северец, полковник Д., хоть и сожалел, что мы уезжаем — он уже влюблен в девятнадцатилетнюю М., — но сказал, что мы делаем отлично, что едем, и что Бог нам поможет. Толстый с красным лицом и огромными седыми бакенбардами, он сердито вращал серыми глазами и хрипло кричал на вестовых:

— Условноочному приготовьте рыжую кобылу со звездой, а сестрам поширнее. Да седла осмотрите! Линейку вам дам на всякий случай. Да илюньте, все будет в порядке! Поидемте водку пить.

* * *

Выехали в седьмом часу утра. Частью верхом, частью на линейке. В дороге обогнали два фургона, отпавленные в Керинд еще накануне вечером с медикаментами, бельем и посудой. Обгоняли караваны вьючных верблюдов, ослов, катеров с товарами. Караваны разные, — очень большие, до тысячи животных, и маленькие, не более десятка. Большие ходили по ночам. Днем очень жарко. На дороге ночью движение было сильнее, чем днем. Уже издали слышался мерный, однообразный звук сотен колокольчиков идущего каравана. Огромный, грязно-желтый верблюд, вожак, разукрашенный цветными тряпочками, важно, почти торжественно выступая впереди каравана, несет на шее большой колокол; он мерно раскачивается и в такт шагу верблюда позванивает тихо и низко. Верблюды идут один за другим; они связаны и у всех на шее колокольчики разных размеров и тона. Безконечной кажется эта цепь огромных неуклюжих животных, несущих в пустыне неизвестно откуда и куда большие тюки. Ночь очень темная и прохладная. Луны нет и нуть освещают только большие рогатые звезды. Небо черное, а звезды особенные — большие и блестящие. В тишине ночи звон одномерный и печальный, на тысячи ладов рассказывает какую-то восточную сказку. Стало грустно. Те же звуки уже волнуют и хочется, чтобы перестали звонить колокольчики и исчезли проклятые горбатые верблюды.

— Должно быть кто-нибудь из штаба.

Сзади показался автомобиль и два его огромных блестящих глаза осветили дорогу и нас и караван верблюдов, сбившихся перед автомобилем в кучу. Автомобиль ждать некогда, он должен обогнать караван, а резкие свистки машины только еще больше пугают животных. Они уже бегут бестолковой толпой, безобразно теряясь, давя друг друга, теряя тюки по дороге. Автомобиль пытается их обогнать, но по обоим сторонам шоссе — канавы, и автомобиль ускоряет ход, только ускоряет бег глухих животных. Ни один не догадается свернуть с дороги, и кажется странным, почти фантастическим, этот бесцельный бег огромных обезумевших животных, подгоняемых вперед бледно-желтым светом машины.

От Кянгавера шли почти без остановки и когда добрались до Биссутуна, то так измучились, что никто не в состоянии был идти смотреть достопримечательности, об осмотре которых уже мечтали давно. Переход был сделан изрядный, в семьдесят верст. С непривычки сильно болели ноги, ныла спина и все тело было разбито. Подходили к Биссутуну бесконечно долго; все казалось, что до скалы рукой подать, но проходили часы, а она казалась все такой же недосягаемой, далекой и страшной. Пошел дождь и последний час шли под дождем. Но вот и Биссутун. Расположились бивуаком, слева за дорогой, там где группа деревьев. Решили провести здесь остаток дня и ночь. Какие здесь красивые горы! Справа у самой дороги грандиозная отвесная скала — Бегистан. Высоты — сажень триста, четыреста. Когда стоишь внизу — немного страшно. Кажешься таким маленьким и ненужным и хочется убежать подальше. Бегистан — жилище богов. По мифологии греков, эта скала была посвящена Зевсу, а обольстительная Семирамида насаждала здесь висячие сады. На каменных террасах, постепенно уменьшавшихся кверху, насыпалась земля. Каменные колонны поддерживали террасы. Сооружение имело вид громадной ступеньчатой пирамиды. На насыпанном грунте были посажены разнообразные растения, привезенные со всех концов древнего мира. Растения орошали водой, которую подавали на верхние террасы гигантскими насосами. Прошли тысячи лет. Семирамида — легенда. Была ли такая царица? Не знаем. Висячие сады остались. Они не совсем такие, как древние, но они есть до сих пор в Персии. Я видел подобие этих садов у Сингистанского хана под Хамаданом...

Через долину амфитеатром тянутся цепи гор: синих, черных, розовых и белых. Небо — синее, как бирюза.

Скоро наступила ночь. Хотелось спать, но нельзя было найти сухого места. Сестрам устроили нечто вроде маленькой палатки и они ползком разместились рядом. Доктор предпочел провести ночь скрючившись на линейке, а я с вестовым расположился на земле. Седло под голову, завернувшись в бурку, спалось отлично; ночью накрывал дождь и стало холодно. Однако усталость была так велика, что несмотря на дождь продолжали спать. Отряд хотя и торопился в Кермашах, но все-таки решено было наскоро осмотреть достопримечательности Биссутуна.

* * *

Дорога, по которой мы шли на Кермид, являлась военным путем еще в глубокой древности. Это исторический путь царей Мидии, Ассирии, Персии, Александра Македонского, Валериана Надир-Шаха, всех вторжений арабов, монголов, татар, османлисов. Это — путь мусульманских пилигримов к святым местам и исторический путь проникновения персидской цивилизации в Месопотамию, и цивилизаций — вавилонской, ассирийской, греческой и арабской в Персию. Это здесь, у Биссутуна, находится барельеф персидского царя Дария Гистаспа. Со стороны шоссе, над головой, на высоте десятка сажень, на этой огромной скале высечен барельеф, на котором отчетливо сохранились человеческие фигуры. Царь Дарий сидит в кресле. Перед ним девять пленников — еврей, мидяне, вавилоняне с преклоненными головами, со связанными на спине руками. Высокие прямолинейные фигуры с клинообразными бородами, они в полтора, два раза больше натуральной величины человека. Они замечательно сохранились и тайна этого заключается в искусстве древних архитекторов. Они поставили барельеф в скале в наклонном положении, под таким углом, что капли дождя с верхней горизонтальной рамы не могут упасть на самые фигуры, и дождь был не стекать, а канать мимо них. Барельеф не подвергся в веках действию разрушения воды. Он стоит двадцать пять веков, но он

такой же, как-будто сделан вчера. Огромное пространство в несколько сажень, по сторонам барельефа, нещадно клинообразными надписями. Персидский завоеватель написал на трех языках — персидском, эламском и вавилонском — о своих победах, о своих военных действиях против восставших царей Мидии, Вавилона, Армении и других правителей Малой Азии.

В начале царствования Дария I в могучей персидской монархии начались смуты. Подвластные персам цари Сузианы, Вавилона, Армении, Мидии и других стран восстали против династии Аххеменидов. Восстания были подавлены с исключительной жестокостью. Дарий казнил бунтовщиков, а на страх врагам и в наказание потомству приказал увековечить свои деяния.

Здесь приведен также длинный список народов, подвластных царю царей.

Барельеф и надписи находятся по той стороне скалы, которая обращена к Керманшаху. Скульптору было бы удобнее работать на другой стороне — обращенной к Хамадану. Но праг, вторгавшийся в эти владения, должен был видеть, читать и понять какой печальный конец ждет каждого смертного, осмелившегося пройти в Персию против воли властителя мира.

Археологи давно знали о Вегистане. Но прочесть написанного не могли. Тайна клинообразных надписей была неизвестна. Только в середине девятнадцатого века смелый и энергичный английский исследователь проник в Курдистан и с опасностью для жизни, разобрал содержание написанного. Работал он несколько лет. Результаты его работы дали ключ к чтению клинописи.

* * *

У самой скалы, внизу у дороги, источник ключевой воды. Загадочная фигура персиянки склонилась к воде и черпает ее длинным, с узким горлышком, желтым кувшином. В трех шагах от нее старик перс в лохмотьях моет ноги. Он сидит неподвижно на камне, опустив ноги в ключевую воду и смотрит не то на скалу, не то еще куда-то поверх ее. Солдат пришел напиться и набрать воды в флягу. Прогнал старика.

— Что-ж ты с... с.. воду мутить?!

Ушла и женщина, и у воды опять никого, опять тишина и торжественность.

* * *

От барельефа нужно пройти минут пять по дороге вперед. Отсюда отвесная стена скалы представляется гладкой, как-будто отполированной, темно-красного цвета. Это гранит. Чтобы попасть на площадку у стены, нужно подняться с шоссе ближе к горе. Площадка большая и ровная. Сажень пятьдесят. Если смотреть вверх на красную гранитную скалу, то на высоте десятка сажень можно видеть высеченную в камне галерею. В эту галерею когда-то вели ступеньки, но теперь их нет и изобраться наверх крайне трудно. В некоторых местах галереи остались колонны. Они естественные гранитные части скалы, вырастающие сверху и врастающие внизу в каменистую массу гранита. Галерея очень широка: по ней могла бы проехать тройка. Еще выше потолка галереи, справа, огромная голова сфинкса Железная, рыхлая, с неясными чертами. Она как-будто смеется и презрительно смотрит на нас. На площадке груды огромных красных и белых камней. Многие из них кубической формы, причем размер стенки — сажень и более. Такой камень должен весить тысячи пудов. Попадаются камни гигантских размеров. У них глад-

кие стенки и некоторые из них когда-то были соединены с другими камнями. Вот огромный куб; он врос в землю одним ребром; на его стенке глубокая прямоугольная дыра, а рядом совсем близко стоит другой, такой же большой камень, с большим каменным зубом против того места, где эта дыра. Повидимому, некогда такие камни были соединены с другими и образовывали или колонну, или балюстраду... Тысячи кампей, расбросанные теперь на этом месте в беспорядке, много веков тому назад составляли единое целое, огромное белое здание — храм.

Эти развалины известны под названием Тахт-и-Шири. Постройку гигантского сооружения история приписывает персидскому царю Хозрою Великому, жившему в VII веке по Р. Х. Этот памятник, в архитектурном отношении свидетельствует о влиянии византийского стиля на сассанидское*) зодчество. В особенности интересны капители огромных колон. Сассаниды стремились возродить забытое персидское архитектурное искусство, но влияние Византии в скульптуре было уже настолько сильно, что индивидуальность стиля не достигалась. Самобытная чистота древности была утрачена навсегда. Получилось что-то среднее между древней скульптурой и новой, — персидской эпохи перед вторжением арабов. Недалеко от Керманшаха, верстах в десяти, сохранился интересный скульптурный памятник. Он называется Так-и-бостан. Развалины дворца и барельеф на скале. Фигуры всадника, лошади, его окружающих — гигантских размеров. Этот памятник той-же эпохи, созданный тоже при царе Хозрое III. Здесь тот-же, архитектурно-декоративный, невыдержанный византийский стиль. Идея рельефа, обычная для эпохи сассанидов — величие царей, их подвиги, символы их деяний...

Но вернемся к развалинам Тахт-и-Ширина.

* * *

Среди груды кампей растет не то куст, не то дерево; на нем почти нет зелени, но зато на его ветвях тысячи мелких ленточек, трипочек и лоскутков, разных цветов, крепко накрепко привязанных. Тоскующие по любви, безответно-влюбленные девушки и женщины, верят, что дерево может помочь исполниться задуманному ими сокровенному желанию. Только ему открывают они свои тайные мысли и привлекают его своим соучастником. Они символически прикрепляют лоскутки к священному дереву, и крадутся, чтобы не увидел нескромный глаз их, уходят.

Место для храма было выбрано замечательно удачно. Куда ни кинуть взор — горные цепи, уходящие вдаль рядами амфитеатров. Скульптурные группы их и невообразимое разнообразие красок! Как должно быть уместен был этот белый, огромный, с прямыми колоннами храм, с его жрецами, в белых одеждах, и жертвенниками на открытом воздухе? Какое величие природы и гармония с ней человеческого творчества!

Внизу, у скалы через дорогу, теперь расположена персидская деревушка в несколько десятков одноэтажных домов грязно-желтого цвета. Караван-сарай, а около него, с выпяченными от худобы ребрами и облезлой шерстью, катера и ослы. В грязных лохмотьях ходят обитатели деревни, а на кучах навоза лежат голодные, паршивые, деревенские собаки.

Что было и что осталось? Обломки былого, даже мертвые камни больше говорят о красоте, чем то, что живет здесь сейчас.

Какое величие прошлого и жалкая нищета настоящего!

* * *

*) Сассаниды — персидская династия с III века по Р. Х.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НА БАГДАД

Их было не больше одной дивизии. Это были хорошо солдаты, хорошо вооруженные, бодрые духом, во главе с храбрым командиром.

— Но как жарко здесь в Мессопотамии и как далеко от милой и дорогой Англии!

Сначала все казалось интересным. Были военные успехи, радио радовало ими лондонцев. Кроме обычного молока, варенья и табаку, на фронт стали присылать подарки. С наступлением ранней весны солнце некло невыносимо; весна принесла с собой болезни, — малярию, тиф.

Турецкая армия престарелого Гольц-Паши в Мессопотамии состояла по крайней мере из шести дивизий. Англичане допустили большую ошибку. Против этих войск сначала были двинуты очень слабые силы. Только одна дивизия с несколькими вспомогательными отрядами под общей командой генерала Таунсенда. Еще в декабре пятнадцатого года отряд Таунсенда потерпел под Багдадом крупную неудачу. Он отступал. На правом берегу Тигра, против Кут-Эль-Амара, турки вновь атаковали англичан в укрепленном лагере, но с большими потерями для обеих сторон, атака была отбита. Отряд был в кольце, отрезан от тыла и базы. Хладнокровно решили ждать, что будет. Англичане умеют ждать. Играли в футбол, чистили лошадей, бесконечно курили трубки. Говорить стали еще меньше. Радио становилось все беспокойнее и в ставке английских войск обдумывали, как помочь зарвавшемуся вперед генералу Таунсенду. Печать забила тревогу, и, с тревожным вниманием, смотря на карту фронта, взор англичанина, француза и русского невольно от родных границ переходил к красной ленте на карте у границ союзников, и далее уже скользил по ней, вдруг останавливается в Азии, перечитывая непривычные названия перед точкой Кут-Эль-Амара.

— Вот уже месяцы, как о них бьют тревогу. Ну, что ж! Ну, окружены! Да ведь на германском фронте миллионы стоят друг против друга.

Я помню такие разговоры в Москве в конце пятнадцатого года. Кут-Эль-Амар знали во всем мире. Нужно было послать помощь. Но новые силы англичан дойти во время не могли, а ближайшие на фронте союзники находились в Персии. Это были русские.

Летом пятнадцатого года наступление англо-индийских войск под командой генерала Никсона к Багдаду сыграло большую роль в пехоте широко задуманных операций турецкой армии Халил-бея на Ефрате и в вавском горном районе. Против этой группы турок был один враг — Русская кавказская армия. Теперь их стало два. Очугившись между двух огней, турки вынуждены были направить несколько дивизий, шедших из Моссула на север, обратно к Багдаду. Поэтому русским войскам удалось нанести основательное поражение Халил-бею и отбросить его войска к Мушу и Битлису. Теперь русским войскам в Персии, в свою очередь, приходилось отвлекать на себя турецкие силы, чтобы облегчить положение отряда генерала Таунсенда, вынужденного отступить перед подавляющими силами турок к Кут-Эль-Амару.

* * *

Великий князь Николай Николаевич приказал Баратову приступить к новой стратегической операции — наступлению по Багдадскому направлению. Было приказано занять Ханекен и отвлечь на себя возможно больше турецких сил от Кут-Эль-Амара. В это время наши войска занимали Керманшахский район. До Ханекена было без малого триста пятьдесят верст. Таунсенд мог надеяться и героически выжидать. Под Ханекеном мы могли встретить крупные силы, а потому генерал Баратов стремился принять меры, обеспечивающие возможность успешности похода. В городах от Энзели до Керманшаха были небольшие гарнизоны, по дороге редкая этапная линия, но тыла в полном смысле этого слова не было. База была в Энзели за семьсот верст от фронта, а тылом было Каспийское море. Ведь отряд Баратова при самом вступлении в Персию не был достаточно подготовлен к серьезным операциям. Войск до трагичности мало. Горсть. В артиллерии, снарядах и патронах — недостаток. Госпиталей, медицинского персонала и лекарств — ничтожное количество. Запасы продуктов питания — консервы, сахар — незначительны. Расходы огромные — денег мало. А главное, не было перевозочных средств. Все можно было бы постепенно подвести из тыла, но нужны были деньги и транспорт. До Ханекена от Энзели окою тысячи верст. Шоссе обрывается на полдороге и на все это огромное пространство, включая и фланги, с шириною фронта в шестьсот верст, пять-шесть десятков автомобилей и ни одного аэроплана.

Баратов быстро разработал широкий план обеспечения войск и послал в Тифлис. В требованиях было все. Он просил пополнений, денег, транспорта. Ему не дали ничего. Подготовка к операциям требовала и времени, так как продовольствие и фураж надо было вести к фронту за сотни верст — гужем или на вьючных животных. Нужно было время, чтобы собрать запасы фуража и продовольствия, наполнить ими магазины Керманшаха и Керида, а на участке Керид-Ханекен построить новые. Штаб ответил, что никаких новых сил и средств он дать не может, так как их нет в распоряжении Главнокомандующего Кавказским фронтом, а время не терпит, так как положение союзников под Кутом становится критическим. Генералу Баратову предлагалось исполнить задачу силами и средствами, уже бывшими в Персии в его распоряжении. Экспедиционный корпус переименовали в I-ый Кавказский Кавалерийский — должно быть, чтобы придать больше веса войне. Баратову это было малым утешением.

Выхода не было. Нужно было идти.

Баратов ответил: раз речь идет о вырубке союзников из критического положения во что бы то ни стало, то он идет, заранее примирившись с неизбежными трудностями и лишениями для войск. Форсированным маршем в середине апреля шестнадцатого года, Керманшахский отряд во главе с князем Белосельским-Белозерским выступил из Керманшаха. В состав отряда входили: 1-ая Кавказская Кавалерийская Дивизия в составе трех драгунских полков — Нижегородского, Северского, Тверского и 1-го Казачьего Хоперского полка, Конно горный артиллерийский дивизион; четыре батальона пограничной бригады и два полка 1-ой Кавказской Казачьей дивизии — 1-ый Уманский и Запорожский. Всего около семи тысяч человек. В командование этой группой войск должен был вступить старший генерал отряда, а старшим оказался генерал-лейтенант кн. Белосельский-Белозерский, Петербургский свитский генерал, человек не глупый, приятный в обществе, но мало известный своими качествами, как генерал. Он был душою общества на пирушках, прекрасно рассказывал анекдоты и... только. Баратову хотелось назначить другого, но обойти Белосельского было нельзя.

* * *

Грунтовая дорога начинается за Хамаданом. С ноября по май частые дожди, а потому дорога местами превращается в сплошное непролазное болото. Дороги Персии! Горные перевалы, холодной весной — разливы рек в ущельях и долинах, непролазная грязь. Ухабы, глубокие ямы, арыки между Хамаданом и Кермандом... Летом — невыносимая жара, отсутствие здоровой воды, песок на перевальных путях, густые клубы пыли. Мирняды комаров, москитов и мошек днем и миллионы паразитов ночью, в персидских помещениях, где приходится останавливаться русским войскам. Эти помещения в большинстве случаев караван-сарай, — конюшни с навозом, грязью и вонью. Ведь даже и в мирное время путешественник по Персии должен был вести с собою походную кровать. Нужно было специально чинить дороги и строить новые. Время было тяжелое — весна. Операции за Керманшахом начали развиваться полным ходом и с доставкой фуража и продовольствия тронились. Баратов начал постройку дороги шоссейного типа в самом важном месте за Хамаданом, на перевале. На снежные высоты Ассад-Абада из прилегающих к дороге деревень и из самого Хамадана на работы подрядились тысячи персов, которых разбили на рабочие отряды. Под руководством Корпусного Инженера, его офицеров и десятников, закинула работа, и скоро огромной черной змеей через снежную пелену гор вынолзла новая дорога и, медленно, но уверенно, вырастая с каждым днем, стала спускаться вниз в зеленую долину Кянгавара.

Верхом и ехал в Хамадан. Нужно было взять перевал. Решил ехать по новой дороге. Она еще не закончена, но говорят, ехать можно. На перевале рады поглядеть на проезжего. Десятник кричит:

— Кардаш, кардаш, работай лодырь...

Здоровается со мной и, как бы извиняясь, говорят:

— Ну и народ же — ляд, так и поровит ничего не работать, а краны любит!

Раздался шум мотора и из-за поворота показался большой серый автомобиль. Кто-то из штаба пробовал дорогу. Машина медленно и неуверенно ползла вперед. Рабочие отскакивали в сторону; некоторые скатились с дороги на овраг, а другие прилажись к горе справа от дороги. После поворота начинался спуск и было видно, как сотни людей, прекратив работу, смотрели на диковинную самоходную машину. Некоторые в застывших позах, с лопатами и кирками в руках, — с изумлением, другие с явным страхом, озирались по сторонам и на соседей,

третьи — и таких большинство — радостно улыбаясь. Как сейчас помню юношу лет семнадцати! Он окаменел в изумлении, но все лицо его светилось, смеялось, а в глазах был беспрдельный восторг.

Но вернемся к отряду. Уже за Керманшахом начались стычки до самого Керида. Между Керманшахом и Керидом сто три версты грунтовой дороги. Местность эту персы считают опасной, разбойной. Крупные части, конечно, спокойно шли до Керида, но мелкие отряды и транспорты, часто подвергались нападению со стороны германо-турок и их временных друзей, воинственных курдов. На этом участке заготовлены были траншеи, вырытые персидскими жандармами под руководством немецких офицеров не без применения техники военного искусства. После перестрелки, траншеи покидались, и неприятель рассеивался в горах. Войска наши не преследовали его, так как нужно было идти вперед. Перестрелками из окопов и заграждениями нас пытались задержать, а нападениями на транспорты расстроить снабжение. Но набег курдов предпринимался наугад. Ни туркам, ни курдам не доставало стройной организации и вскоре, как только наши войска подошли к Кериду, после незначительного боя, они очистили и Керид.

* * *

От Керида начинается спуск с Иранского плоскогорья к знойным равнинам Тигра. В этом направлении до Каср-и-Ширин местность понижается с 5.200 футов до 1.700 футов над уровнем моря, т. е. на 3.500 футов или по 30 футов на одну версту. За Каср-и-Ширин уже начинается необозримая мессопотамская равнина с ее полутропической флорой и палящим зноем... В четырнадцати верстах от Керида находится Сармил. Небольшая курдская деревня расположена на холме, между двумя высокими скалистыми горами. Она заграждает путь в Каср-и-Ширин и турки, укрепив деревню, засели в скалах, приготовившись к большому бою. Здесь была собрана крупная группа турецких войск. Здесь уже не было ни жандармов, ни курдов, ни добровольцев, ни наемников. Они разбежались еще после разгрома под Керманшахом, а их вождь Низам-Салтане укрылся в Багдаде.

Бой начался на рассвете и продолжался непрерывно шестнадцать часов. Турки отчаянно защищались. Наша пехота с песнями ходила в атаку, а драгуны вертящимся смерчем сметали все на своем пути. Бой решила наша артиллерия. Пристрелялась так, что на участке боя горело все, что поддавалось огню. Взлетел на воздух склад военных припасов. Палила. Турки бежали. Сармил пал. После Сармила последовательно были заняты Мвантаг, Таки-Гирей и Сернуб. Верстах в шестнадцати за Сармилем находится Каср-и-Ширин. Это последний персидский город на Багдадской дороге. Одна из важнейших промежуточных баз, оборудованных германо-турками на вновь образованном фронте. Сопротивление, оказанное турками у Каср-и-Ширин, стоило им больших потерь. После боя склады были брошены, а на полях сражений русские захватили четыре орудия, много зарядных ящиков, патронов и караваны вьючных животных, груженых продовольствием.

* * *

С севера и юга Персия ската морями. Дуют морские ветры и несут влагу на землю. Близость Аравийской пустыни на юге и влажный морской воздух делает знойным. Здесь свободно растет финиковая пальма. Другое дело на севере. У берегов — климат влажный. Оттого Гилян и Мазандаран в лесах. Здесь флора

умеренного пояса. По мере движения от моря над плоскогорьем Ирана, воздух, преодолевая высокие нагорья, охлаждается. Освобождается от морских паров — виде осадков, дождя, снега и града. Спускаясь в котловины внутренней Персии, воздух согревается и его влажность еще уменьшается. Территория внутренней Персии — впадина. В долинах ее, вода рек и озер испаряется быстро — образуются солончаки. Самая глубокая впадина Персии на востоке — пустыня Дешт-и Кевир. Летом в Персии дождей не бывает. Кроме северных склонов Эльбруса и прибрежной полосы Каспия. Средняя температура во внутренней Персии в феврале 25° Цельсия, в июле 50°. Температура почвы 70°. В течение суток — резкие колебания — ранним утром 10°, а днем свыше сорока.

* * *

Двадцать пятого апреля отряд князя Белосельского подошел к Ханкену, турецкому городу, уже по ту сторону персидско-турецкой границы. В пяти переходах отсюда находится Багдад.

За Кериндом войска проходили места, где Реомюр в тени показывал шестьдесят пять градусов и термометры лопались от жары. Воды было мало, а если и была, то часто горько-соленая. При такой жаре и движении развивалась жажда, а пить было нечего. После высокого Кериндекого района, когда спустились к Каери-и-Ширину, солнце стало жечь немилосердно; войска шли под раскаленным солнцем и долгими часами пути не видели ни одного тенистого места. Жажда становилась мучительной. В поисках воды приходилось отходить от дороги на десятки верст. Если находили болотистое место, то радости не было пределов. Прижав к влажной земле губами, воду сосали вместе с грязью и тифой. Иногда солдат нитался выдавить воду из топки земли тяжелым каблуком санюга. Не всегда удавалось. Шли вперед. Через час опять мучила жажда. Доведенные до пределов терпения солдаты пили мочу. Ели мало, не особенно хотелось, да и нечего было. По почам дожимали насекомых. Вши, блохи, клопы и тараканы шли с армией. Тараканы были завезены из России и уживались только у русских.

* * *

В раскаленной духоте Серпуля, недалеко от глинобитных построек, расположился эскадрон Северских драгун. Уже днем дальше идти невозможно. Жара предельная. Командир эскадрона решает идти ночью. Прохладнее. Но бояться откладывать, так как приказано спешить вперед. Драгуны ищут тени у заборов, под лошадьми, в караван-сараях. Полковник прилег в каком-то сарае у проезжей дороги и проснулся со странным криком. Ужалил черный скорпион. За шею. Лекарств никаких. Кто-то сказал:

— Дайте настойки, на скорпионе-же.

Но, конечно, настойки не было. Чем то мазали и перевязывали. Укус — две маленькие дугообразные ранки, от клешней скорпиона. Сестра всех успокаивала:

— Ничего, ничего, распухнет немного, это не смертельный укус. Это у нас бывает. Вот фаланг у нас много! Фаланги хуже кусают.

Фаланга — огромный паук, очень быстро двигается и живет в потолках персидских построек. Потолки ведь из нескольких бревен и тысяч прутьев и веток с засохшими листьями. В таком потолке много всякой нечисти. И скорпионы, и фаланги и змеи. Персы их не боятся, а змей называют домашними, ядовитыми не считают и говорят, что живут они к „благополучию“.

Уже после ликвидации персидского фронта, я жил лето восемнадцатого года под Тегераном на даче. Рядом с комнатой была глиняная терраса-площадка. Внутри площадки жили большие серые змеи. Там было гнездо. Ночью они выползали на террасу и собирали под столом крошки хлеба. Впрочем, я иногда видел их днем. С нами в комнате жили собаки. Они вели со змеями войну. Собаки залезали на дачу, а иногда ночью в испуге врываются в комнату и вскакивали на кровать. Они боялись змей. Я хотел забить дыры камнями или убить змей, но узнав о моем намерении, слуга наш, Шабан, отговорил меня.

— Арбаб, змея пусть живет... Тебе хорошо будет. Она — домашняя. Не хорошо змею убивать.

Я послушался совета перса.

— А что, сестрица, долго после этого скорпиона полковник болеть будет? — спрашивал сестру милосердия молодой драгун, вестовой полковника, рыбой парень с голубыми глазами. Полковник уже не мог повернуть шеи. Он ворчал:

— Коньяку бы сейчас, все бы прошло.

Но коньяку не было. Сестра ничего не ответила вестовому и пошла хлопотать. Их было только две сестры милосердия, да человек пять санитаров. Они прибыли на одном фургоне из Кермиды. Им было велено открыть питательный пункт. На фургоне была провизия, посуда, немного дров. Уже было несколько человек больных. Из эскадрона. Отеталых. Дрова сожгли в первые два дня. На третий — неожиданно из под Ханекема прибыли раненные — около ста пятидесяти человек, да больных набралось уже около ста. Надо варить пищу, кипятить. Посылали санитаров везде, а дров достать не могли. Ведь в Серпуле нет зелени, нет деревьев, почти нет строений. Старшая из двух, двадцати-двадцати летняя графиня Бобринская, не растерялась:

— Сжечь фургон, приказала она санитарам.

— Сестрица, а как же назад поедете? — спросил кто-то, но ответа не получил.

Весело горело сухое дерево, слышен был запах горелой краски, а дым из-под костров на камнях, перемешиваясь с приятными запахами варившейся баранины, ел глаза, раздражал обоняние...

Раненные и больные повеселели. Борщ был на славу, а чай в прикуску пили без конца. Дрова сэкономили, ибо на другой день пришлось еще около двухсот больных и раненных. Затем каждый день прибывало по столько-же.

Две девушки — Бобринская и Михеева, проявили героическую энергию и самоотверженность. Они накладывали сотни перевязок. Накормили тысячу больных. Облегчали страдания, как могли. Еще прислали два фургона дров из Кермиды. Под жарким солнцем кипела работа, а солдаты благодарили Бога и благословляли двух русских женщин.

*
*
*

Под Ханекемом операции сразу-же приняли серьезный характер. Поражало огромное количество турок. Бои были жестокие и наши потери были значительны. Выбывали из строя главным образом, „вследствие всевозможных болезней, вследствие невероятно тяжелых и совершенно непривычных для русского солдата и казака условий, — страшной жары с солнечными и тепловыми ударами, малярийными и холероподобными заболеваниями. В батальонах пограничников, выступивших в Кермиде в составе тысячи штыков, к этому времени число штыков уменьшилось до пяти-шести в каждом. Очень таяли также и ряды нашей конницы, как в Кавалерийской Дивизии, так и в подкреплявших ее двух полках I-ой Кавказ-

ской Казачьей Дивизии**). Выбывающие из строя раненные и больные эвакуировались в Каер-и-Ширин, Серпуль и Керинд. В середине мая знойная желтая джуга дороги от Ханкеена до Керинда была усеяна фурами, переполненными ранеными и больными, а также солдатами и казаками, уныло бредущими пешком назад к Керинду, к отдыху или просто в тень.

* * *

В Мессопотамии турки сосредоточили против англичан огромные силы и военная обстановка для них была крайне неблагоприятна. Английские войска испытывали те же страдания, что и русские — от жары, жажды, малярии и насекомых.

Наше снабжение было из рук воп плохо. Войска оторвались от тыла. Коммуникационная линия не была постоянной и непрерывной: английские войска, несмотря на бездорожье, имели тыл и базу; они получали довольствие до молока и шоколада включительно.

Еще в декабре, на выручку отряда генерала Таунсенда, англичане послали значительные свежие силы под командой генерала Эльмера, занимавшего до этого времени пост генерал-адъютанта индийской армии. Турки, оставив перед Кут-эль-Амаром одну дивизию, в составе трех дивизий двинулись в обход с целью отрезать английский авангард от его базы. Двадцать пятого декабря Эльмер имел с этими силами успешный для англичан бой. Девятого января враги опять встретились и под Кут-эль-Амаром произошло ожесточенное сражение, сопровождавшееся тяжкими потерями с обеих сторон. Генерал Таунсенд во главе своего, охваченного кольцом неприятеля, отряда, должен был произвести вылазку и ударить в тыл туркам, атакованным войсками Эльмера. Этому плану помешали силы природы. Сражение было прервано на другой день подъемом воды в Тигре на целую сажень. Огромное пространство долины, орошаемой Тигром, было залито разливом реки и многие участки поля сражения оказались под водой. Турки прекрасно знали местные условия и приняли меры, англичане же были застигнуты врасплох.

Но главным врагом английских войск в Мессопотамии были не климатические условия, не стихии природы, не зной и болезни, а численное превосходство врага.

Турки били англичан. К середине февраля, генерал Эльмер был окружен на Тигре и попал в такое же положение, как и Таунсенд. Для освобождения отряда Эльмера, английское командование послало новые силы...

Несмотря на исключительное мужество и выносливость английских солдат и индусов, в конце апреля шестнадцатого года Таунсенд с отрядом сдался в плен. Положение английской армии в Мессопотамии становилось трагическим. Наступление русских войск с северо-востока создавало флангу и тылу турок значительную угрозу. Вместо решительного наступления на усталые и почти разбитые силы англичан, турки должны были отбиваться от русских. Керманшахский отряд спас положение английской армии. В лучшем случае англичане были бы опрокинуты на базу — в Багдад, а может быть, и совсем были бы изгнаны из Мессопотамии. — Кто знает?

С ранней весной наступила жара.

В операциях в Мессопотамии должно было наступить затишье. Тропический зной парализовал энергию, активность, движение. Англичане бездействовали. Турки, видя, что англичане не проявляют инициативы, а мы в то же время подошли к Ханкеену и неминуемо угрожаем самому Багдаду, быстро перебросили крупные силы к Ханкеену, противопоставив их нашему Керманшахскому отряду. Против

*) Слова в кавычках из приказа по корпусу от 24 марта 1917 г. № 34.

англичан был оставлен лишь незначительный заслон — все равно они были обречены на бездействие. Против нас же был брошен целый корпус. Войска были отличные — турки вообще прекрасные солдаты — части на подбор, а командовал турецкими силами храбрый Халил-Паша. Обстановка складывалась неблагоприятно. Баратов был впереди. Он видел лишения войск и знал силы врага. Таусенд сдался. Теперь приходилось думать уже не об англичанах и Багдаде, а только о сохранении жизней солдат и казаков. Нужно было быстро с малыми потерями отойти назад. Кериндский район возвышенный — лежит на горах, а потому и жара здесь меньше и климат более здоровый и к Керманшаху ближе т. е. к базам и тылу.

* * *

Баратов решил отходить, но при сложившихся условиях отход был сложной стратегической задачей. Просто приказать войскам: „отступить“ было невозможно, т. к. свежая и многочисленная турецкая конница, знавшая все дороги и тропинки, могла бы уничтожить все наши небольшие силы. С другой стороны, отступление наше могло произвести самое неблагоприятное впечатление на персов. Политическая сторона вопроса имела большое значение. Отход был бы истолкован как страх перед неприятелем, и кровью завоеванная дружба многочисленных персидских племен рухнула бы. Этапная линия по главному операционному направлению Энзели-Ханекен, а равно и небольшие отряды на флангах, были расположены среди воинственных племен, вооруженных и дерзких, уважавших нас только за силу, а втайне мечтавших перебить всех русских и воспользоваться нашим военным имуществом. Особенная опасность угрожала этапам, где гарнизоны всегда состояли из нескольких десятков солдат. Перед отступлением Баратов решил произвести у турок замешательство, дезорганизовать их силы и, хотя бы временно, парализовать их активность. Двадцать первого мая по приказу Баратова был произведен решительный и короткий удар по группе турецких войск, сосредоточенных у Ханекена.

Русский отряд был разделен на три колонны. Средняя во главе с полковником Юденичем, состоявшая почти исключительно из пехоты, подкрепленная конногорной артиллерией должна была привлечь на себя внимание и силы турок с фронта. Правой колонне под командой полковника Амашукели было поручено оттянуть на себя силы левого фланга турок.левой же колонне под командой генерала Исарлова было приказано, секретно, глубоким обходом обойти турок с правого их фланга, забраться как можно глубже, и отрезать всю Ханекенскую группу турецких войск от тыла и ударить в спину.

* * *

Вперед полка шел небольшой отряд, человек восемь. Место было совсем незнакомое и турки могли показаться каждую минуту. Несмотря на ответственную задачу и на опасность положения, командовавший отрядом корнет был так утомлен, что дремал в седле. Солнце жгло спину, мучила жажда, тело было совершенно разбито, и хотелось одного: лечь в тень и спать. Рубашка прилипла к телу, а ноги в стремях казались из свинца. Корнет исполнял задание в точности, но делал все по совету вахмистра. Он был неопытен; недавно прибыл в полк, прямо на фронт, очень старался и, не боясь уронить своего авторитета, часто советовался со старым вахмистром; но он устал за месяц похода; в особенности за этот быстрый двухдневный марш. Вахмистр отлично знал, что северцы и хонерцы составляют

левую колонну в важной и сложной операции, что командует ими всеми генерал Непарлов и что ухо надо держать востро в разведке, т. к. на корнета положиться нельзя. — „молод, да к тому же клюет носом“.

Шли по открытому месту, но никого и ничего не видели. Как будто в пустыне. Давно уже ничего не доносили в полк, да, кажется, и связь потеряли. Шли ведь без дороги. Уже часов шесть, как сильно забрала вираво: за два дня сделали большую дугу, а дороги не было. Вахмистр думал:

— Если дорога откроется, то это будет очень хорошо, т. к. на дороге всегда что-нибудь есть.

Вахмистр размышлял о новом командире полка:

— Как будто „серьезный“. Глаза строгие. „Наскрозь“ прокалывают, но уж очень барекский вид... и тон... до его приезда командовал наш полковник... попроще будет...

Мысли были прерваны. Вдруг ясно увидел в шагах двадцати сбоку серую прямую полосу.

— Дорога. . . Ваше благородие, дорога!

Сонли с коней. Присели. Покурить бы! Да нечего. Стали ждать. Ни вперед по дороге, ни назад никакого жилья не было. Дорога была мертва. Корнет забрался в канаву и заснул; казалось, что там меньше солнца. Прилегли и драгуны, одни на животах, головою к земле, другие старались положить голову в тень — под лошадь. Вахмистр с двумя драгунами поскакал искать полк, чтобы сообщить о выходе на дорогу. Они шли рысью, минут двадцать, примерно по той же кривой, что привела к дороге. Справа увидели пыль столбом. Переменили направление, стали приближаться. Это были казаки хоперцы. Досада была страшная. Не хотелось говорить казакам об удачной разведке. Подскакал к толстому полковнику с шинкой на лице. Пришлось доложить.

— Ну спасибо, сказал в раздумьи полковник — с Богом.

Поскакали обратно и, еще не доезжая дороги, заметили далеко, далеко на ней серое длинное пятно. Там где было пятно, дороги не было видно, но пятно походило на дорожную пыль.

— Значит там дорога —, думал вахмистр. Один из драгун разведки тоже заметил пыль и об этом разговаривали вполголоса . . . Корнет проснулся. Вахмистр сказал, что о дороге доложено командиру хоперцев, что наннй длее и что на дороге пыль — должно быть, караван . . .

Было часа четыре. Вахмистр разыскал свой полк очень скоро. Они были уже на дороге, несколько ниже к Ханекену и как раз резали телеграфные провода линии Ханекен-Багдад. Хоперцы в это время тоже вышли на дорогу. Разведчики донесли, что движется огромный верблюжий караван. Транспорт шел из Багдада, груженный тюками товаров и в нем было не менее трехсот верблюдов. Охрана была ничтожная. Туркам и в голову не могло прийти, что мы заберемся так глубоко к ним в тыл. Транспорт был захвачен без выстрела. Пришли к земле, положив лошадей у дороги, в канавах. Когда транспорт поровнялся с линией засады, ничего не стоило его взять. Вооруженная охрана не сопротивлялась; только погонщики в ужасе поднимали руки и что-то кричали; верблюды, испуганные их криками и видом массы лошадей и людей, сблизь в кучу и бессмысленно топтались на месте.

Левая колонна шла, как мы видели, не общей массой двух полков, а сотнями и эскадронами на довольно значительном расстоянии друг от друга.

С фронта Юденич во главе пограничников подошел к турецким позициям и бросился в атаку на турецкие окопы.

— Пограничники за мной, — кричал он сухим громким голосом и сотни солдат устремились за ним, видя, что он ни разу не наклонился под свистящими пулями.

— Должно быть заговор от пуль знает, — говорили солдаты и бежали за высокой фигурой своего командира, жестокого человека, но бесстрашного воина. Юденич был солдат, но за храбрость они прощали ему все. Кругом падали раненные, их места заступали другие. В бою на стоны раненных не обращали внимания. Уже дрались в рукопашную, а Юденич все стоял, распоряжался и . . . ни разу не нагнулся. Пули шли мимо него.

В другом месте северцы и хонерцы ураганом влетели в окопы и изрубили целый батальон. Командиры полков: Северского — Гревс и Хонерского — Успенский — впоследствии в тысяча девятьсот девятнадцатом году на Кубани бывший войсковым выборным атаманом — были впереди своих частей, руководя атакой. Подполковники — северянец Дзевульский и кубанец Крамаренко конкурировали в доблести друг с другом и с командирами полков. Драгуны и казаки дрались, как львы, и турки уже начали отход от Ханекена через Диалу. Силы турок во много раз были больше наших и этот успех был достигнут исключительно благодаря хитро-составленному плану и отчаянному напору казаков и драгун. В этот момент по переправе должна была открыть огонь конно-горная батарея. Артиллерия должна была окончательно решить участь почти выигранного боя.

— Почему же она не стреляет, хриплым голосом в волнении спрашивал Командир Корпуса. — Пусть стреляет, — кричал он, — еще полчаса и турки будут разгромлены...

Но батарея молчала. Командир батареи сходил с ума. Он приказывал стрелять, но пушки безрезультатно возлились у орудий. Орудия не давали огня. Иванова бросало в пот; он бледный выслушивал повторно присланное приказание Командира Корпуса и был бессилен его выполнить. От долгого ли пути по ужасным дорогам, от жары ли, или еще от чегонибудь, но орудия испортились. Пограничники, казаки и драгуны выдыхались, а к туркам стали прибывать свежие подкрепления. Первый страх неожиданности прошел. Отказ батареи от действия нарушил весь задуманный план и счастливая для турок случайность спасла их от окончательного разгрома. Но все же операция удалась. Турецкие силы были расстроены, они понесли значительные потери, людские и имущественные. Чтобы перейти в наступление, они должны были привести себя в порядок. Для этого нужно было много времени. Мы выиграли две с половиной недели — срок достаточный для спокойного отхода наших войск. Они устали и нуждались в отдыхе. Им приказано было отойти на горное плато Кернида. У Ханекена оставлена была небольшая часть конницы для поддержания соприкосновения с турками. Баратов в это время поджидал пополнений. Он понимал, что турки не оставят его в покое и начнется преследование. А может быть, мечтал о реванше. С начала операций в Персии прошло около полугода, но из России ни одного человека для пополнения боевых рядов корпуса не прибыло. Ждали. Их ждали с надеждой и нетерпением за тысячу верст от русской границы.

* * *

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

РЕЙД ГАМАЛИЯ

Скучно в Майдеште. Дождь лил как из ведра. Уже апрель, а дожди все идут. С желто-грязных холмов змеинными ручьями стекала желтая вода, образовывала во впадинах лужи, озера, с шумом прыгала по каменистым уступам и походила на водопад. Через несколько дней здесь будет ослепительно ярко от солнца, знойно, а сейчас вот кругом столько воды и все небо в косматых, куда-то сменяющих черных тучах. Дни проходили однообразно. Сотнику Гамалию казалось, что зима и весна не кончатся никогда, что дожди залили уже всю землю, его сотню и и его самого, и что Персия и война — действительность, а прошлое — сон. Сон и родная Кубань и Россия... все что было до Персии. До Керманшаха было всего три с половиной фарсаха*), а ехать туда нельзя. Недавно был. Запасы консервов и вина истощились, а в этой проклятой деревушке не было даже аракх**). Скучно. Гамалий — высокий, статный, в темной черкеске, стоял под навесом сарая и смотрел, как казаки чистили лошадей. Лошади стояли под навесом, защищенные от дождя, но все же толстый слой трав и веток, изображавший крышу, пропускал дождь и целые струи холодной воды падали на спины лошадей, на лохматые шанки уманцев. Конечно было не до чистки. Да кони и так были чисты, но во-первых, час был как раз этот, а во-вторых, людей надо было занять...

* * *

Командир Корпуса прибыл в Майдешт внезапно; без всякого предупреждения. Говорили, что он — в Керманшахе, а точно где, никто не знал. Телефонист говорил казакам, что он подслушал чьи-то разговоры по телефону, и что генерал Баратов к вечеру будет в Майдеште... Стало сразу интересно и весело. Из Керманшаха, штаба и тыла куча новостей. Вероятно будет ужин с Командиром Корпуса...

*) Немного более русской мили.

**) Водка.

После приезда генерала Баратова прошло не более двух часов, а у Гамалия все перевернулось вверх дном. Когда командир корпуса сказал, что Гамалий с сотней должен выступить вперед, на соединение с английскими войсками, сотник не моргнув глазом, по слеза в бок что-то екнуло и он почувствовал, как все его тело ожило, как он наполнился радостью. Отчеканивал:

— Слушаю, Ваше Превосходительство. Так точно, Ваше Превосходительство. Утром двадцать шестого принесли и бумагу:

— № 515 Командиру I-ой сотни I-го Уманского полка Сотнику Гамалию.

— Из Майденита от командира корпуса. Послано 1916 года 26 апреля 8 час. 40 мин., карта 20 верст в дюйме.

— Приказываю вам с сотней, с получением сего, выступить на Зейлап, Каркой, Корозан и далее на Зорбатню с задачей войти в связь с британской армией, действующей в Месопотамии. Мною предложено командующему этой армией генералу Лекку к 3-4 мая выслать и от себя раз'езд в Зорбатню для встречи с вами. С ним вам надлежит выяснит подробно состав, расположение и текущие задачи англичан, а также состав и расположение турок, действующих против них. Вам придется двигаться по Поштекуху, вали *) которого заявил себя сторонником Англии и нашим. Но несмотря на последнее, вам надлежит двигаться весьма осторожно и с большой осмотрительностью. Правее вас, на Мендели будет двигаться другой наш отряд. По установлении связи и выяснении обстановки у англичан, возвращайтесь обратно в Керманшах. Если удастся дойти до Зорбатни, то подробное донесение пришлите через английские искровые станции. Генерал Лейтенант Баратов.

Генерального штаба капитан Каргаретелли.

На словах командир корпуса передал дополнительно:

— Если в Зорбатни не будет английского раз'езда, то, разведав Зорбатню, идти по своему усмотрению, — судя по обстановке — вернуться в Керманшах или Керинд, или же, буде возможно, пойти и соединиться с англичанами...

Гамалий был рад. Он был смел, осторожен и умен. Молодому казаку улыбалась судьба. Она давала ему возможность вытащить счастливый жребий, но здесь же угрожала и страшила смертью. Но Гамалий был рад. Он понимал, что может погибнуть и сам и все казаки с ним, но чувствовал, что выиграет тяжелую игру. Он очень верил в свои силы и любил жизнь...

* * *

Выступили на рассвете двадцать седьмого.

Офицеров было пять, казаков сто семь, а лошадей сто двадцать пять. Казаки не знали куда идут и только в пути, через два часа, Гамалий рассказал, что за задачу поручил им генерал Баратов. Народ был молодой, любители приключений. Выслушали с интересом и весь день шутили и мечтали — как будут угощать англичане и как потом будут рассказывать своим. Понимали, что трудов и опасностей много. Но считали это неизбежным на войне. Привыкли. Ночевали в Таладеште, бивуаком. Далеко на горизонте широкими пятнами вспыхивали зарницы, а по черному, жуткому небу изломанными быстрыми движениями ползли огромные огненные змеи. В небе была беспрерывная пальба. Гроза обрушилась на деревушку с яростью, и раскаты грома сливались в одном трескучем непрерывном гаме...

*) Владетельный хан, губернатор.

При вспыхивах молний обнажались горы, холодные, безлесные, невиданные, страшные. Гигантским фейерверком вдруг освещались угрюмые, причудливой формы скалы, или вдруг на мгновение закигались бивуак и тогда были видны мокрые полотнища низеньких палаток, похурые фигуры мокрых коней и согнутые свлзуты в бурках бодрствующего караула. И когда освещался бивуак, вдруг к грохоту сил небесных и беспрерывной пальбе примешивались резкие бессмысленные звуки выстрелов с гор, выстрелов безвредных, но досадных. Разбойничье племя засело в горах и безнаказанно развлекалось...

Утром заболело два казака. Впереди были дуры. Племя воинственное, вооруженное и жестокое. Рамалний выстроил сотню и объявил:

— Болеть нельзя, кто слаб телом или духом — свободен. Может уходить обратно в полк.

Три казака пожелали возвратиться и были отправлены в полк. Далее дорога лежала на Чехардоля, через Налангерт, Беник и Мешенай. Дуры были за перевалом. Когда прошли Налангерт, наткнулись на кочевников — племя Хана Сам-Сама. До Чехардоля шли с проводниками. Заблудиться в горах при двенадцативеретной карте очень легко, а тут встретили целую семью дуров. Они и указывали дорогу, тем более, что сами отиравались в Чехардоля. Дуры не обнаружали никакого страха: муж улыбался, показывая свои крепкие зубы; он потеплее прикрыл какими-то тринками едуцию на осле с закрытым лицом жену свою. Двое ребятишек сидели на другом осле, а сам хозяин шел пешком, подгоняя палкой медленно идущих в гору ослов. Когда ослы останавливались, он колотил их палкой, а когда и удары не действовали, вытаскивал из-за широкого пояса — шарфа шило, и колот им несчастное тело животных. Острая боль заставляла ослов делать еще несколько шагов вперед.

В Чехардоля прибыли вечером, часов в семь; во время ночного бивуака у одного из караулов произошла перестрелка с дурами. Чехардоляский перевал очень крутой. Он спускается к турецкой границе еле проходными тропами так, что коней, по одному, один за другим, пришлось вести на поводу, причем, как до Чехардоля и Дебалы так и после, несколько раз пришлось брать крутые под'емы и спускаться ущельями, мало проходными дебрями. Срывались в пропасти кони, падали от солнечных ударов, томилась жаждой, но надежда достичь намеченной цели поддерживала силы. Иногда с гор с грохотом сыпались камни. То вдогонку проходившим дуры посылали подарки. Очень долго не было воды. Люди страдали, кони изнемогали. Проводник дур из Чехардоля все уверял, что вода скоро будет, но воды не было и это стало казаться подозрительным. Дур сделал попытку удрать, но был пойман и, только веледствие угрозы быть повешенным, указал воду невдалеке от дороги. Под угрозой он стал и более откровенным. Признался, что имел приказ завести русских в такие дебри, где нет воды и откуда без проводника выбраться трудно.

* * *

Было второе мая. По карте выходило, что направление верное, скоро Амр-Абад и Зорбатая, а там должны быть англичане; а если их там нет, то придется идти на восток, в Амле, место кочевки вали Ноштекуха, место страшное, ибо там были тысячи вооруженных всадников. Преодолеть территорию воинственных дуров это значило бы выолнить задачу. Ясно было, что силой здесь ничего нельзя сделать; разведка показала, что владетельный вождь дуров имеет при своей особе не менее двух с половиной тысяч вооруженных всадников. Нужна была ловкость, находчивость, хитрость.

Гамалий, бронзовый от загара, с потрескавшимися губами, весь в пыли, задумчиво ехал впереди отряда. Как быть? Что делать, если дуры не пропустят к англичанам? Симптомы были скверные. В Луристане к отряду относились явно враждебно. Чем ближе к Амир-Абаду, тем хуже. На почевках с казаков брали непомерные деньги, за все, даже за воду. Дуры держались вызывающе и явно провоцировали казаков. Гамалий приказал быть сугубо осторожными и, — Боже упаси, не стрелять! К физическим мучениям присоединились горькие думы... Мысли Гамалия были прерваны возгласом казака вестового.

— Смотрите, Ваше Благодородие, что это в „стену“?

— Саранча, сказал кто-то.

Поле на протяжении шести-восьми верст было покрыто саранчей. Она шла огромными толстыми движущимися зыбким пластом и уничтожала все. Впереди, насколько мог хватить глаз, зеленела трава, были какие то деревья, зелень. Позади огромное желто-бурое пространство голой земли. Впереди была жизнь, позади мертвая земля, по которой проползало огромное ненасытное чудовище...

Так и вышло. Англичан в Зорбатини не оказалось. Там были турки. Еще при спуске к Амир-Абаду ясно видели вооруженных всадников, спешно уходящих в горы. Их было человек полтора-два. Оказалось, что это были немецкие наемники из дуров, удравшие при приближении русских. Крошечный отряд был со всех сторон окружен врагами. Турки, наемники и „благожелательные“ нам дуры, ждавшие только разрешения властей или случая напасть на горсть казаков, чтобы ценой смерти их овладеть конями и походным имуществом отряда.

Самое главное турки. Нужно уходить и единственная дорога вперед — на Амле через Поштекух. Крутой поворот на восток, и глухой ночью третьего мая Гамалий со своим отрядом достиг места стоянки — кочевой столицы — владетельного вождя Поштекуха. Версты за две до места кочевки, казаки спешившись и на всякий случай заняли позицию. Гамалий с сотником Ахмет-Ханом пошли в ставку. Она находилась в центре вооруженного лагеря. Много палаток, вооруженные люди, женщины и дети, лошади, домашний скот... Все произошло в движении. Вооруженные дуры, — одни с любопытством, другие с недоброжелательством смотрели на двух смельчаков. Дуры были вооружены английскими винтовками и разукрашены патронташами, ремнями с массой патронов. Офицеров встретил секретарь вали — Азра. Его присутствие, повидимому, легализовало положение гостей в этом своеобразном лагере. Азра заявил, что вали спит и принять иностранцев не может. Скоро от вали будет проводник, который укажет место для ночлега отряда. Появился всадник и указал бивак у реки. Горная речка протекала в трещине горы, в ущелье, а спуститься к ней можно было только ведя коней в поводу. Казаки переглянулись. Место было указано скверное. В случае обстрела выбраться из этой трещины было невозможно. Это была ловушка. Почевать Гамалий приказал казакам там, где остановились, т. е. версты за две до кочевки. От любезного приглашения пришлось отказаться... На другой день Гамалий с Ахмет-Ханом были приняты вали в специально разбитой для приема гостей палатке. Гамалий приветствовал вали от имени генерала Баратова и передал ему письмо. Вали благодарил в очень пышных выражениях, расспрашивал, где находятся русские и как наши военные успехи...

— Русские считают Вас своим другом, и готовы Вам всегда помочь, — сказал Гамалий. — О нашем отношении к Вам знает и персидское правительство и русское.

Вали бесстрастно читал письмо. Аккуратно сложил, положил бумагу в конверт и сказал, что по содержанию письма он подумает и позже, через своего секретаря, передаст ответ на все вопросы, затронутые в письме.

Он продолжал беседу не дольше, чем это нужно по этикету такому высокому вождю и уже через полчаса Гамалий с Ахмет-Ханом, распростившись в пыльных

выражениях, откладывались. Прошло около часу. Гамалий волновался. Волновались и казаки. Ответ принес тот-же любезный и предупредительный Азра. — Со вздохами, длинными вступлениями, кучей комплиментов по адресу русской армии и ее представителя в Поинтеркухе Азра сообщил, что вали должен соблюдать нейтралитет, как по отношению к туркам, так и русским с англичанами.

— Он не может, к глубочайшему сожалению, пропустить русских войска через свою территорию на соединение с англичанами. Он к сожалению не может также оказать русским никакого в этом деле содействия. Если же русские, предположим, решивши бы поступить вопреки желанию вождя дуров, то опять таки, к большому своему огорчению, а вместе с тем и к огорчению нашему вообще, сами русские поставят себя в такие условия, что... их коим нечего будет есть.

Это означало — приказ не давать фуража. Гамалий — решительный и находчивый ответил:

— Передайте вали, что я должен выполнить приказ начальника, поставившего меня — соединиться с англичанами, и если вали прикажет своим людям не продаваться мне фуража, то я оставляю лошадей ему, а с казаками пойду пешком на соединение с англичанами.

Азра ушел и долго не возвращался. Азра имел, — говорили, влияние на своего патрона и, повидному, хотел, чтобы казаки мирно прошли вперед. Азра возвратился весьма довольный и торжественно объявил, что вали согласился пропустить русских через свои владения. У повелителя дуров был большой сын. Единственный. Вали держал при нем английского врача. Гамалий решил поблагодарить хозяина, доставив удовольствие ему и сыну. Сотня устроила джигитовку. При огромном скоплении дуров в присутствии вождя племени, большого его сына и потаблей, казаки джигитовали. Джигитовала вся сотня и взорам кочевников, воинственным всадникам дебрей Ирана, показана была безудержная удаля вольной Кубани и бурного Терека...

* * *

В лагере кочевников знали, где стоят англичане. Ближайшим местом, где находился лагерь, было Али-Гарби. За пятьдесят верст от Амле начинался уже Турция и дорога на Али-Гарби на протяжении тридцати, тридцати пяти верст лежит через ущелье, которое тянется вдоль турецко-персидской границы. За ущельем простирается мертвая пустыня, без дорог, и кратчайший путь до английского лагеря в Али-Гарби — через пустыню — верст шестьдесят.

Азра предупреждал:

— В ущелье надо быть особенно осторожными, т. к. в нем вьются турки и арабы. В пустыню же нужно взять побольше воды и не заблудиться.

Повидному, предстояло больше ста верст тяжелого пути. Было пятое мая. Гамалий решил выступить внезапно, скрывая час выступления. Проводников дал все тот же Азра. Коня, передохнув в кочевке, шло весело, а потому ущелье миновали быстро, без приключений. Торопились пройти его ночью; шли не менее семи верст в час. Уже к пяти часам утра отряд вышел из ущелья и, передохнув, направился через пустыню.

Горячее дыхание ее почувствовали сразу. Появилась вдруг жажда и уже через пару часов воды ни у кого не было... Солнце зажглось внезапно, откуда-то снизу, и сразу же стало очень жарко. Пустыня... Сначала бурая, неровная земля, небольшие холмы, каменная почва, небольшие камни...

Растительности никакой. После ущелья, как отрезала. Кругом мертво. Насколько может хватить глаз, золотисто-серая песчаная пелена. Уже слепит глаза и больно

смотреть. Впереди пески... Понуро смотрят кони, еле передвигают ногами, а зыбкая почва, горячий песок и воздух обжигают и копыта, и ноги лошадей, и лица всадников. Пески заволокли все... Позади скрылись и горы, и бурая земля и камни... Осталась только пустыня, знойная пустыня с своим страшным гостем — полуденным солнцем. Пустыня и солнце — одно. Не оторвать их друг от друга. Они спаяны страшной силой и не знаешь откуда зной, — сверху ли от застывшего безцветного диска или снизу от раскаленных песков...

Вероятно здесь бывают метели, бураны пустыни... Вот как намело, — выступы, сугробы песочные, плоскости наклонные. И бури бывают, как на море. А песчинки, как вода, образуют рябь... Да так и застыла песочная зыбь. Огромными дугами. Оголевшими ребрами исполинского чудища — трупа, выширают песочные дуги. Необозрима пустыня... Золото, кругом рассыпано золото, и блестит, и слепит глаза, и все оно расплавлено, и горячо идти и горячо смотреть на него... Я тоже налит золотом, горячим, жидким... я чувствую, что больше не могу и куда-то падаю...

Казак очнулся от сильной боли в ноге. Боль была, должно быть, острее жары и обморока. Конь упал, околел сразу. Казака подняли с трудом. Посадили на другого коня. А боль в ноге все острее. Только ушиб или сломал? Ах как хочется пить!

— Командир говорит, что проводники говорят...

— Что говорят?

— Да, что скоро вода будет, а ее нет! Как чудно, что ее нет...

— Что? Что ты говоришь? Сбились с дороги? Да ведь дороги никакой и нет, а так идем, по пустыне.

— Постой, говорит другой. — Дороги нет потому, что сбились.

— Что ты брешь, что ты людей пугаешь, ей Богу...

— Ей, ей правду говорю. Разве не видишь, что проводники блуждают... Да ты спроси Евтуха Даниловича, он ближе к командиру... Может знает...

Бравый вахмистр, конечно, в курсе дела.

— Сбились, сукины сыны, коротко говорит он.

Нарочно или нет? Гамалий тоже волиовался и стал кричать на проводников. Ясное дело, что их надо повесить. Правда повесить не на чем, ну, пулю в лоб! Однако, торопиться не надо, нужно только следить за ними, чтобы не удрали. Внутренний голос говорил, что это — несчастие. Просто — малоопытные проводники заблудились. Они труслили и метались в разные стороны, стремясь найти „дорогу“ и воду...

Безнадежно. Уже три часа дня. Шли около десяти часов по раскаленной пустыне без воды, без дорог. Проводники или заблудились, или водят с злым умыслом...

— Бачь, хлопцы, ей Богу деревня!

— Ура! Должно быть деревня или ханская усадьба!

— Ходу, хлопцы, ходу!

Больно ударяют тяжелыми горячими сапогами по ребрам измученных коней, пошукуют их... Куда?

Узкой полоской в мигающем воздухе, как через сеточку на горизонте, чуть-чуть поднявшись над землею, длинной полосой тянутся деревья, сады, целый лес, а рядом с ним огромное блюдо стальной застывшей воды... Или деревья прямо на воде?! Уже пора ей быть, этой воде и деревьям, но ничего нет...

Мираж появился слева, справа... Опять обманул казаков. Что же это? Понять, что такое мираж, они не могли. Они стали думать, что Бог испытывает их, а дьявол издевается...

Валились люди, падали лошади, а воды все не было.

Гамалий насчитал, что уже заболело от солнечных ударов двенадцать казаков и пять лошадей пало...

Люди были без сознания... Их взяли через седла товарищи и везли, а они бодались, как манекены, перекинутые через шею коней. Лошади шли еще хуже. Ведь они везли двойную тяжесть. Все таки шли вперед. Уже нельзя было определить, увеличивается ли жара или спадает. Казалось, это был предел. Заболело еще четверо. Шли, а воды все не было...

Хоружий Переконий уверил, что видит справа что-то необычайное... Его разубеждали: опять мираж...

Действительно справа от отряда в полумерцании, если можно в пустыне определить на глаз расстояние, что-то белело. Много белых пятен. Миражи рассеялись... Это было что-то реальное, но что? Пытался прищипить коней. Безрезультатно. Конь выбился из сил и идти рысью не мог. Белые пятна в пустыне — были палатки небольшого стана арабов. Пить, скорее пить...

С изумлением смотрели арабы на черескни и лохматые инанки казаков, а казаки радовались, кричали, смеялись, плакали, восторгались и благодарили Бога. Кто, как мог, выражал свою радость спасению, казалось, от неминуемой непонятной гибели — в пустыне. Вода была горько-соленая и в небольшом количестве, но вода эта оказалась совершенным счастьем. Потерявших сознание казаков было шестнадцать. Их положили в тень, в палатки арабов и обливали водой; смачивали головы, приводили в чувство. Медленно они приходили в себя и через три часа все уже в состоянии были сесть на коней. Им тоже дали немного воды. Бедные кони, они не могли утолить своей жажды! Воды было мало. Арабы были одеты в широкие белые одежды, разговаривали мало и, новидимому, сами собирались куда-то уходить с места кочевки. Они были настроены очень мирно. Правда, их было немного. В отряде были переводчики, знающие несколько персидских паречий и на ломанном фарсййском языке арабы рассказали, что англичане близко, в Али-Гарби и что от места стоянки до них не более трех часов.

* * *

Опять пустыня... Каким чуждым и жалким кажется небольшой казачий отряд посреди торжественной печали пустыни! Черная лента пришельцев ползет все вперед и вперед.

Ночь. Жара спала. Часов одиннадцать. Идти светло. Луна с кривым лицом, в полуборота смотрит на непрощенных гостей пустыни, а огромные звезды — круглые, рогатые, остроконечные, усеяли весь необъятный свод бархатного неба. Мессопотамии... Эти звезды горят и живут. Властят ровным холодным светом и переливчатым — серебряным, зеленым, красноватым. Мигают звезды, вспыхивают и гаснут, а из одного конца небосвода в другой перелетают исполинские дугообразные падающие звезды. Как молния во время грозы, прямой стрелой бесшумно падает красная звезда, оставляя за собой кровавый медленно тающий след. Южный Крест горит переливами своих бриллиантов, и казак, подняв голову к небу, долго смотрел на него с застывшим лицом, потом торопливо несколько раз перекрестился... Луна серебрит песок, как снег. Рыбь пустыни при свете луны отливает и кажется, что это вода и что слышен плеск волн... А лошади отбрасывают тени, ночные тени... Они очень четки. Фигура всадника на копе кажется отточенной. На песке виден казак — и он курносый. Курносый на не ке!.. Тени как искусственно вырезанные из черной бумаги фигурки.

— Подтянись! — скомандовал Гамалий.

При лунном свете впереди увидели какую-то темную массу. Пустыня кончалась. Начиналась жизнь, — дома, деревья, тень и вода.

* * *

Али-Гарби.

К лагерю подошли незамеченными. Остановились. Была половина двенадцатого. Вышел английский офицер и, когда выяснилось, что из Перси, из русской армии прибыли казаки, весь лагерь англичан пришел в движение. Кричали:

— Гип, гип, ура!

Казакам пожимали руки, обнимали, качали и повели угощать. Гамалий с офицерами был приглашен к ужину, а казаки получили в изобилии мясо, хлеб, молоко, табак, виски и шоколад... Напоили и накормили лошадей. Поили осторожно, но трудно было оторвать поилы от животных. Кормили великолепным ячменем. Лошади от радости ржали, а люди смеялись, веселились и пили.

Пир и веселье продолжалось до четырех часов утра. Говорили тосты: за русскую армию и Россию; десятки раз, громко кричали гип, гип, ура!.. На долю Гамалия выпало много искреннего внимания и восхищения. Казаки рассказывали англичанам в палатках про свои похождения на чистейшем русском языке, а те слушали серьезно и внимательно и обе стороны находили естественным продолжать эту непонятную беседу. Казак рассказывал про дуров, жажду, солнце и пустыню, и английский солдат и индус отлично понимали, что именно жажда в пустыне и солнце и есть самые главные вещи, о которых только можно и говорить. Оба собеседника пережили в походах бессмысленной войны и солнце и жажду в пустыне.

* * *

Гамалий с казаками пробыл в пути десять дней. Они пробивались через дебри Поштекуха и пустыни Мессопотамии к англичанам кратчайшей дорогой. Сами англичане до сих пор считали связь через Поштекух с ними невозможной. Понятен потому интерес, с которым отнеслось английское командование к русскому отряду. Рано утром, седьмого мая, Гамалий с двумя офицерами перевезли на лодке на другую сторону Тигра в офицерское собрание и подробно расспрашивали про дорогу, чем питались в пути, про русскую армию в Перси, место ее расположения и т. д.

Расспросы вел главным образом офицер-разведчик лейтенант Фаг. Гамалий не остался в долгу. Он в свою очередь старался выполнить возможно срочно и полно поручения генерала Баратова и получить ответы на вопросы, указанные в приказе командира корпуса. Гамалий составил телеграмму генералу Баратову и частично ее зашифровал. Обещали срочно отправить, но через два дня Гамалий обнаружил, что англичане хитрят. Телеграмму не отправляют под разными предлогами. То потому что она зашифрована не вся, то потому, что штаб не знает ее содержания, а потому не может пропустить, то предлагали ее написать французскими буквами по русски, обещая, что зашифруют своим ключом... Ясно, что англичане не хотели давать нам о себе сведений. Союзники скрывали от нас их и хитрили. Гамалий спокойно сзывал:

— А каким ключом шифрует английский военный представитель при штабе генерала Баратова, — английским или русским?

Фаг обещал телеграмму отправить немедленно, как и всякие другие, которые Гамалий напишет.

Уже в Басре, в ставке английской мессопотамской армии Гамалий узнал, что большинство из его телеграмм совсем не отправили. Восьмого мая из штаба

английской армии, от генерала Лека была получена телеграмма, приглашавшая Гамалия приехать в ставку.

От Али-Гарби до Басры по Тигру пароходом двое суток езды. Гамалий с удовольствием поехал. Взял с собой Перекония и Ахмет-Хана. Сопровождал русских офицеров английский капитан Вагетав. После мучительного путешествия через горы и знойную пустыню приятно было ехать на первом классе парохода и любоваться видами мощной реки с причудливыми берегами, пальмовыми рощами и арабскими поселениями.

Две библейских реки — Тигр и Евфрат сливаются у Басры, образуя огромный резервуар прозрачной спокойной воды. Здесь путешественники увидели целый флот. Они насчитали в момент их прибытия семь крупных военных судов — броненосцев и крейсеров; двадцать два океанских торговых судна и много мелких...

Встреча наших офицеров англичанами в Басре соответствовала тому подвигу, который они совершили. На пристани их встретил помощник начальника штаба армии, генерал Оффшор; он же лично указал им помещение и представил генералу Леку. По приказанию командующего армией, Гамалию были даны все интересующие его сведения. Четырнадцатого мая, в присутствии генерала Лека, офицеров и английской пехоты, состоялось торжественное награждение Гамалия и его спутников английскими железными крестами, от имени Короля Англии. Пять железных крестов, по приказу Короля, было передано Гамалию для наиболее достойных казаков его сотни. Генерал Лек произнес речь о доблести русской армии, об отваге русских гостей и о значении живой связи, установленной смельчаками между двумя союзными армиями. Эту связь, как известно, считали невозможной, несмотря на обилие аэропланов в Месопотамской Английской Армии. Гамалий насчитал их только в Басре десять, а всех видел около двадцати. Он протопушно спросил:

— Почему же вы к нам не прилетели? Вот у вас масса аэропланов! Если бы у нас был хоть один, мы бы давно вас навестили.

— Как, во всей русской армии в Персии нет ни одного аэроплана?

Англичане отказывались этому верить.

Они объяснили Гамалию, что лететь падо бы было к русским войскам через Поштекух, а это невозможно, т. к. там большие перевалы и воздушные ямы.

Казаки были наблюдательны. Им бросился в глаза контраст в обслуживании армии — нашей и английской. Солдаты — в большинстве индусы — были великолепно обставлены. Чистая одежда и обувь, здоровая, разнообразная пища. Предметы роскоши — варенье и шоколад; все это было обычным и необходимым для солдата великобританской армии. Их удивило отношение англичан к населению. Оно было жестокое. Офицеры били мирных жителей, если они не вставали при их появлении.

Высокая культура англичан, сказавшаяся в образцовой организации армии и ее тыла, в совершенном снабжении войск ammunition и продовольствием, с одной стороны, а с другой, — варварство по отношению к мирным людям — глубоко поразили наших казаков.

Из Басры в Али-Гарби нужно было ехать пароходом против течения, а потому ехали долго — около пяти дней. В Али-Гарби приехали девятнадцатого мая, и на другой день, по просьбе сопровождавшего Гамалия генерала Оффшора, казаки в присутствии всего гарнизона устроили джигитовку.

Англичане приняли в восторг. Крики ура, гин-гин, аплодисменты, непрерывное щелканье фотографических аппаратов, овации — были заслуженной благодарностью нашим героям.

* * *

Гамалий решил, что надо идти обратно, к своим. Задача была выполнена; пора и домой. Генерал Офишор заявил Гамалию, что пошлет с ним до Зорбатии три эскадрона кавалерии и батальон пехоты. В это время получены были известия, что русская армия на Месопотамском пути после победоносного наступления на Ханекеи отступает. И генерал ни одного английского солдата с казаками не послал.

Англичане уговаривали русских погостить подольше. Гамалий торопился обратно. Генерал Баратов по телеграфу задал ему новую задачу: первое — разведать окрестности Зорбатии в направлении на Керманшах; второе — если по дороге на Керманшах будут двигаться турки, задерживать их, и третье — связаться с нашим разъездом, который будет выслан на Керозан.

Гамалий понимал, что береженого Бог бережет. Ведь предстояло опять пересечь страшную пустыню и опасное ущелье. Сто верст пути. Но пустыне решил идти ночью, а в ущелье совсем не заходить, обогнув его восточнее. Разведка англичан сообщала, что когда казаки от Амле шли на Али-Гарби, через ущелье, то за ними гнался отряд в составе эскадрона турок и четырехсот арабов и что теперь арабы в ущелье поджидают русских. Это Гамалию подтвердил и лично генерал Офишор. Надо было хитрить.

* * *

Опять пустыня. Ночь, темно. Пески не успели остыть и горячим приветным поцелуем пустыня обожгла гостей своих. Звезды, на небе много звезд; и они ярче чем прежде, ибо им не мешает светить и резвиться луна. У звезд своя дорога. У звезд свои пути. Млечный путь царственно раскинулся от края до края, через всю огромную чашу небосвода. На небе своя дорога. В пустыне нет ее. Можно идти по звездам, и араб, проводник, вел отряд по звездам. На белом коне, весь в белом, казалось, он плыл впереди отряда.

— Какой он чужой, как призрак — думал Гамалий.

Вытягивая прямо вперед правую руку, проводник показывал на северную полярную звезду и что-то отрывисто говорил. Черной лентой за белым вождем растянулся казачий отряд. Молчала пустыня, молчали казаки и только глухой топот копыт лошадей нарушал застывшую тишину...

Гамалий начал уже беспокоиться. Пора бы пустыне уж кончиться. Но вот нескон уже меньше, земля стала черней и казаки увидели сухую траву, неровную почву и впереди темные силуэты гор.

Светало. Казаки отдыхали. Предстояло войти в горы. Гамалий запретил курить и разрешил только с рассветом. Лежа — не показывая огня. Было опасно. Предательские огоньки напрокс могли выдать врагам присутствие отряда.

Всю ночь дул горячий ветер. От брошенной спички или искры загорелась степь. Огонь вспыхнул сразу и пламя распространилось с невероятной быстротой... Казаки в суматохе бросились тушить огонь, выливая на горящую землю остатки воды. Пожар разгорелся и зловещий огонь уже осветил и перепуганных казаков, и коней и лежащие неподалеку горы. Копя храпели, люди кричали, дым слез глаза, а голодное пламя с треском глотало высушенную горячим солнцем траву. Шашками казаки рыли канаву, чтобы прекратить распространение огня, и выливали из фляг и походных боченцов запасы воды. Покрывали горящую землю драгоценными бурками и попонами и топтали траву сапогами... Пожар потушили. Нужно было торопиться...

Несколько часов спусти в горах нашли воду; передохнули после дневного перехода и поздно вечером пришли в Амле.

Гамалий боялся предательского нападения турок и арабов, а потому тщательно скрывал от всех, даже от казаков — чтоб не проболтался, — час выступления из Амле. На рассвете, двадцать четвертого мая, Гамалий с сотней выступил в направлении на Зорбатню. Он был немало удивлен, когда час спустя увидел двух всадников бошено мчавшихся на измыленных арабских конях от Амле вдогонку за казачьим отрядом. Это были секретарь вали Ноштекуха — Азра и помощник начальника всадников Дуристана. Они говорили:

— Мы не знали, когда ты уходишь с своими казаками из Амле. Ты не хотел нам этого сказать, а мы ведь друзья твои. Не ходи на Зорбатню — там турки. Их много в ущелье между Зорбатней и Эмир-Абадом. Видишь, как мы гнали лошадей своих, чтобы успеть предупредить тебя. Наше желание помочь русским также сильно, как и дружба наша.

Они указывали тропу на Эмир-Абад. Гамалий упорствовал. Он не считал возможным нарушить приказ генерала Баратова. Из разговоров с Азрой выяснилось, что после продвижения русских казаков через Ноштекух, турки потребовали от вояды дуров, чтобы их отряды вали также пропускал через свои владения и нужных для них направлений. Вали наотрез отказался пропускать всякие войска — и русские, и английские и турецкие. Повидимому, потому Азра и настаивал, чтобы Гамалий не ходил на Зорбатню, т. к. если бы там оказались турки и увидели бы наших, то вали явно скомпрометировал бы себя в глазах турок окончательно.

Дур совершенно развязал свой язык. Золото Гамалия подействовало. Азра и его спутник согласились проводить казаков в пределах владений вали Ноштекуха. Гамалий все-таки сделал по своему. Отряд пошел на Зорбатню. Ночью видели много костров. Азра объяснял, что это всадники, но приказу вали сторожат дороги. Будут препятствовать чужеземным войскам пройти через нейтральную территорию.

* * *

В Зорбатни турок не оказалось: они были в Бадре. Иногда лишь в Зорбатню попадали случайные турецкие разъезды. В ущелье Эмир-Абада сотня была обстреляна с гор, несмотря на присутствие Азры и другого всадника. Гамалий возмущался. Ведь это было племя, подчиненное вали Ноштекуха! Доброжелательные проводники сначала знаками указывали воинственному племени в горах, чтобы они прекратили стрельбу, а потом поспешно пошли в горы, уговаривать стрелков спуститься вниз, — к кибиткам. Гамалий на всякий случай спешив казаков и занял оборонительную позицию. С гор перестали стрелять.

В эти дни Гамалий установил, что турок в районе Зорбатни нет, и что наступление их на Керманшах по диким горным тропам Эмир-Абада и Зорбатни мало вероятно. Скорее невозможно...

Ему оставалось выполнить последнюю задачу — соединиться с своими, т. е. выйти на большую грунтовую дорогу между Кериндом и Керманшахом.

Гамалий пошел на Дебалу. Хотя здешний владетельный хан также подчинился вали, однако он встретил отряд крайне недружелюбно. Повидимому, на то были у него причины. Во первых, в Дебале упорно говорили, что русские стремительно отступают от Ханекена, что уже Керинд пал и что русские отступили до самого Керманшаха.

Гамалий забеспокоился.

Затем открыто говорилось, что у Чахардоля дурами была уничтожена сотня русских казаков, стремившихся пройти по той-же дороге, где раньше прошел уже один казачий отряд.

Гамалий насторожился.

Но беда никогда не приходит одна. Удалось точно узнать, что вали Поштекуха уже отдал приказ своим племенам делать с казаками, что угодно. Если после нападения на русский отряд вали будет запрошен Персидским правительством, то он просто ответит:

— Племена меня не слушают.

Гамалий стал волноваться.

В течение полутора часов у казаков пало семь лошадей.

— Не отравлены ли?

Вскрыли двух. Казак — ветеринарный фельдшер констатировал, что лошади ели отравленный ячмень.

Гамалий решил немедленно уходить.

Позже удалось перехватить письмо, адресованное старшиной Осман-Абада к Баба-хану, подтверждавшее все вышеупомянутые неприятности. В письме этом давались также и инструкции, где и кому напасть на казачий отряд.

Дорога на Керозан, где Гамалий, согласно приказу Командира Корпуса, рассчитывал встретить наш разезд, проходила по ущелью, пересекавшему узкой змееобразной пзмиллиной высокою горную цепь. Дебала лежит у подножия горного хребта и подьем от нея до хребта чрезвычайно труден.

Не говоря никому о времени выступления, Гамалий решился на отчаянный шаг, идти не по ущелью, а по хребту. Без проводников. Сначала он приказал выступить из Дебалы одному взводу и запясть перевал; через полчаса выступил второй взвод, а затем и вторая полусотня. Путь по хребту, иногда по тропе, иногда без всякой тропы был мучителен, но интересен. Виды с хребта поражали мощностью перспективы, красками и световыми эффектами.

В Керозан прибыли поздно вечером, и сразу же выяснили, что никаких русских разездов здесь нет. Наоборот, жители подтверждали, что русские отступают к Керманшаху. От Керозана нужно было идти на Осман-Абад. В этой богатой долине — последний участок до дороги Кернид-Керманшах — могли быть осложнения. В перехваченном перед самым выступлением из Керозана письме — Осман-Абад был указан, как место, где:

— Никто из казаков не пройдет.

Гамалий решил принять меры предосторожности. Предстояло пройти по району Поштекуха еще несколько кочевков. При содействии Азры, Гамалий вызвал четырех ханов, через владения которых лежали дороги и предложил им провести отряд мимо кочевков. Хань подчинились вали Поштекуха. Хань обещали проводить казаков до перевала Каладжун, но заявили, что должны возвратиться в Осман-Абад засветло, — рисковать идти ночью не хотели; кроме того, за перевалом их помощь не нужна, да и кочевки дальше чужие. Хань не советовали отряду ночевать за перевалом — не безопасно. Ночью Гамалий выслал двенадцать пеших казаков занять перевал, а сам с сотней свернул в сторону, где и расположился на ночлег. Хань хотели немедленно идти дальше — проводить отряд до перевала. Гамалий категорически отказался; заявил, что дальше не пойдет, ночевать будет в выбранном им самом месте, выступит утром и отпустит ханов после того, как весь отряд спустится с перевала. К ханам был приставлен караул, чтобы не удрали и ни с кем не сносились. Тридцать первого мая Гамалий послал в Хорум-Абад, — наш ближайший этап на линии Керманшах-Кернид, донесение генералу Баратову с просьбой дать ему дальнейшие инструкции. Несколько казаков оставалось на перевале в

качестве наблюдателей, а Гамалий с отрядом, спустившись с перевала, спокойно прошел долину Клагур, проход Тенги-Джеамурок, и первого июня вечером благополучно прибыл в Хорум-Абад. В ответ на свое донесение получил приказ от Командира Корпуса идти в Керманишах, куда и прибыл через Майдешт третьего июня.

* * *

Гамалий блестяще выполнил возложенное на него поручение. За весь поход он не потерял ни одного казака. Потери отряда — 19 лошадей. Он привез в русский штаб много ценных сведений о дорогах, о настроенных горных племенах, об отношении их к нам, о расположении туренских войск, указав на места, откуда они могут обходными движениями угрожать русской армии. Он сообщил штабу ценные сведения о составе и организации союзной английской армии, о местах нахождения ее войск, о взаимоотношениях между англичанами, воинственными племенами и населением. Конечно, часть этих сведений могла бы при правильной постановке дела быть полученной штабом корпуса из Тифлиса, но, к сожалению, сведения оттуда поступали крайне скудно. Возможно, что в Тифлисе их совсем не было.

Главное значение рейда Гамалия не в разведке. Весна шестнадцатого года была тяжелым временем для русской армии. За полтора года войны армия устала, а тыл находился в состоянии депрессии. Весть об успешном рейде Гамалия — о соединении передового отряда нашей армии в Персии с союзной английской армией в Месопотамии облетела в несколько дней весь мир. Обе армии — русская и английская, как и обе нации, в то время спаянные общими интересами, в маленьком военном эпизоде ярко почувствовали и осознали взаимную связь и единство общесоюзного против германо-турок фронта. Радовались наши войска в Персии, а английские в Месопотамии, что недалеко от них есть друзья, которые борются за общее дело. Радовались в Тифлисе и гордились, что этот подвиг дружеского рукопожатия через горы и дебри Лурестана совершен казаками кавказской армии. Радовались по всей России, что в конце двух лет войны еще не иссякла доблесть русского воина и что он продолжает творить чудеса. Радовались и в Петербурге, так как успешный рейд Гамалия давал возможность напомнить англичанам, что общность союзных интересов заставляет их быть более внимательными к нуждам России в войне.

Гамалий и все казаки были награждены георгиевскими крестами. Первую сотню Уманского полка прозвали Георгиевской сотней.

* * *

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НАЗАД ОТ ХАНЕКЕНА

Уже в начале июня, как говорит официальный документ,*) — Турки, оправившись от нашего удара под Ханекеном, с превосходными во много крат силами в своей пехоте и артиллерии над малочисленным нашим отрядом, перешли в энергичное наступление. Отход нашей горсти кавказских войск при таком превосходстве противника в силах, в гористой местности, столь благоприятной для обходов, которыми турки стремились все время окружать нас, или, по крайней мере, отрезать от Керманишах-Хамаданской дороги — пути нашего отхода, в особенно знойные июнь и июль месяцы, являлся делом чрезвычайно трудным. Для характеристики тех неизмеримо тяжелых условий боевой обстановки, в которой приходилось действовать при этом отходе частям нашего корпуса, достаточно привести пример боев 26-28-го июля, которые пришлось вести кавалерийскому корпусу на небывалом фронте, около двух сот верст протяжением, в чрезвычайно гористой и пересеченной местности. Этот пример небывалый в военной истории... Упорно обороняясь, шаг за шагом, наносили противнику своим ружейным, пулеметным, а в особенности артиллерийским огнем наших доблестных батарей громадные потери на протяжении от Ханекена до Хамадана, и заставили противника пройти этот путь в течение почти двух месяцев.

— Этот поход по Багдадскому направлению до Ханекена, а в особенности героический отход, при вышеуказанных тяжелых условиях, составляют несомненный подвиг. Все величие этого подвига, этих трудов и лишений наших русских солдат и казаков вообще, а кавказских в частности, совершенных не только в интересах нашего Кавказского фронта, но и во имя взаимной поддержки и выручки наших союзников, — английских войск Месопотамской армии, особенно стало мне ясно теперь — когда при возвращении из Багдада, пришлось увидеть, в каких удобных условиях производятся в английской армии походные движения войсковыми частями и снабжение их всем необходимым на походе и в бою — жизненными и боевыми припасами. У наших союзников, прекрасно в техническом смысле оборудованных, и пехота

*) Заключительный приказ О. К. К. К.

движется, и все везется на автомобилях, а у нас все походные движения и нехоте совершались древним способом, т. е. „на своих двоих“, а снабжение на всех видах ветхозаветных перевозочных средств — на верблюдах, катерах и осляках... Причем, одна пара саног у солдат изнашивалась до Казвина, другой пары хватало до Хамадана, а дальше до Керманшаха пужна была третья, и до Ханекеша четвертая...

Таков язык приказа по войскам. Есть, однако, неточности. Пара саног действительно изнашивалась до Казвина, но другая пара не могла „хватить до Хамадана“, так как до Керманшаха, Ханекеша, и далее, и обратно солдат и казак обходились первой и единственной парой. Настоящего снабжения не было. Этих саног не присылали из Тифлиса, а если и присылали, то такое ничтожное количество, что оно не могло удовлетворить всей нужды. Так было не только с саногами. Белье и обмундирование имелось в очень ограниченном количестве. Оно приходило из России с большим опозданием. Когда нужда миновала. Полушубки — в марте, валенки — в апреле, вместо октября, летние гимнастерки и козырьки от солнца — осенью. Экономическое истощение России и расстройство хозяйства, конечно, главная причина этих недостатков снабжения, но какое дело голодной и раздетой армии до этих глубоких причин? Войска негодовали. Негодовали и мы — представители общественных организаций. Офицеры говорили громко:

— Тифлис издевается над нами, и посылал проклятия тылу.

Солдат и казак терпели и, молча, в сердце своем накапливали злобу против тыла, генералов, виновников войны — всех вообще.

Тыл, как всегда, в этой войне забывал о фронте, а старый способ — „снабжения, отношения и телеграммы“ — не достигал цели. Баратов, еще при формировании корпуса и все время по прибытии в Персию, настойчиво заботился о широком и своевременном обеспечении войск, но... безрезультатно. На телеграммы просто не отвечали. Тифлис присылал так мало, что саног, одежды и белья едва хватало для войск на главной операционной линии: да и то не для всех. Фланги, заброшенные в горах этаны, а иногда и удаленные передовые позиции обслуживали себя сами. Это уже не по вине аппарата снабжения Корнуса. Наоборот, судьбе угодно было, чтобы в самое трудное для нас время, во главе снабжения стояли такие энергичные люди, как полковники Раздорский и Даниельсон, но их энергия легче преодолевала огромные расстояния, климат и бездорожье Персии, чем тыл и Тифлис.

Героически перенося жажду и зной, войска подходили к Кермиду и Керманшаху сильно поредевшими, так как из рядов их многие были вырваны малярией, остро-желудочными заболеваниями, солнечными ударами и тепловыми перегреваниями.



Узкой лентой по пыльной дороге, медленно в гору подымается сотня Запорожского казачьего полка. Сотня уже не сотня, а так, на половину осталась. Понуро идут кони. Из казаков редко кто сидит верхом; все больше идут пешком, тут же рядом с конями. Жалеют их больше себя. Впереди и позади на несколько верст растянулся полк, а в полку то осталось всего шанек четыреста. Кого потеряли в бою, а то все больше больные. Много отсталых. Лица у казаков темные и сухие. Час дня. Жара предельная. В теле такая усталость, что недавно еще ощущал горячие кости в себе; не мог ни идти, ни на коне сидеть, а теперь вот легко, ни ног, ничего не чувствуешь... Как ни странно, а слышится смех. Кто смеется? И что может вызвать несленный смех?

Два казака едут рядом. На скалу выползла огромная толстая ящерица. Не меньше аршина. Она медленно спускается по отвесной скале и, иногда останавливаясь, смотрит на дорогу и на необыкновенное на ней оживление.

— Грицай, смотри гадюка!

— Ух, да и проклятая-ж! Здоровая!

Казак прицелился из винтовки. Бац!.. Мимо... Другой раз... Бац!.. мимо. Третий, тоже мимо...

— Да это-ж сам сатана, тикай Грицай, — и галопом обгоняя людей и обозы на удивление всем, два кубанца скачут вперед по пыльной дороге... Потом останавливаются и смотрят друг на друга: Что это было? В серьез или шутку?

Скоро Керинд. Уже показались его сады. Чем ближе подходили к Керинду, тем чаще стали попадаться фургоны, груженные большими и ранеными, и отбившиеся от частей солдаты. Особенно много — несколько сот — солдат, одиночками и небольшими группами, расположились в садах Керинда. Они сидели, лежали, наслаждаясь тенью. Многие уже не имели возможности двигаться дальше. Из лазарета приехал фургон, подобрать наиболее слабых; он быстро заполнился сверх всякой меры. Усталые и больные торопливо взбирались на фургон, чтобы проехать три-четыре версты. Почти всех пришлось сеадить, т. к. это были не самые слабые. Слабых пришлось подбирать и на руках нести к фургону.

В Керинде не более трех тысяч жителей. Беднота. Городок прилепился у самой горы. В предместье, у большой дороги, много деревьев, несколько домов, караван-сарай... Молодые энтузиасты — земцы, пытаются разрешить задачу — принять тысячу, две, три — сколько будет больных и раненых. Сооружают лазарет. Питательный пункт уже работает: на воздухе, под деревьями. Помещений скольконибудь спосных нет. Под лазарет решили приспособить полуразрушенный кирпичный караван-сарай — постройка семнадцатого века — времен Шаха-Абасса Великого. Огромное темно-красное здание из квадратных кирпичей, в виде растянутой буквы „П“. По обоим сторонам корридоров — глубокие ниши, местами разрушенные, в особенности в углах при поворотах корридоров. Снизу из темных развалин видна сплыва паба. Вместо пола — земля. На стенах — сорная трава, даже кустарник, плесень и мох. Сыро и темно. В этом здании много летучих мышей, скорпионов, фаланг и змей. Заброшенный караван-сарай, уже десятки лет, был конюшней для вьючных животных проходящих караванов, для лошадей курдских отрядов. В годы войны его использовали жандармы, турки и персы. В нем накопилось много тысяч пудов навоза, отбросы и грязь. Очищали сарай. Под толстым слоем навоза были разлагающиеся трупы павших лошадей. Смерд невыносимый. С затратой большой энергии и трудами сотен персов рабочих, помещение было очищено, отремонтировано и выбелено в несколько дней. Оборудование для лазарета было привезено сюда из Кянгавера в небольшом количестве. Не на чем, да и нечего было везти. Койки для больных и раненых, столы, табуретки делали сами. Скупали все бревна в городе. Их не хватало. Рубили лес, пилили на доски и стругали, а из них уже делали, что нужно. Из привезенных простынь мастерили тюфяки и наволочки и набивали их саманом для матрацов и подушек. Печи для кухни строили из старого кирпича разрушающегося здания, а известь выжигали на месте. Устроили уборные и ямы для отбросов.

Внизу, у дороги, в небольшом доме глинобитнойстройки, оборудовали лазарет для раненых. В течение трех недель мая и первой половины июня, тысячи больных, раненых, слабых и усталых пользовались помощью этих учреждений.

Внизу, на питательном пункте, а наверху, перед караван-сараем, сотни солдат и казаков расположились под деревьями и у заборов. Их обходит и осматривает доктор Давыдов, Владимир Иванович. Сам еле держится на ногах. Измучен. Двад-

цать рабочих часов в день. Без перерыва. Он сортирует больных, здесь же раздает хинин, нагибаясь выслушивает. Иногда пощелкивает неизменный кодак.

На небольшой площади в повалку лежат ожидающие помощи, пиши, глотка воды. Разносит горячие щи, раздают мясо, котлеты, воду, вино. Лечить не было возможности. Ни средств, ни подходящих условий, ни времени. Армия отступала, а турки гнались по пятам. Подавалась лишь первоначальная медицинская помощь — перевязки, лекарства. Нужно было намыть, накормить и положить в тень. Питательные пункты работали беспрерывно день и ночь. Среди этой массы людей раненых было меньше всего. Малярики, больные желудком, замученные горячим солнцем и просто усталые... Большинство страдало остро-кишечными заболеваниями и общая клиническая картина у больного производила впечатление холеры. Понос, рвота, бессознательное состояние, похолодение и цианоз конечностей, судорги — различные комбинации явлений, бывших на лицо у больных. Мнения врачей разделились. Против холеры говорило то, что пересовал, ухаживающий за больными, не заражался. Впрочем, все сходилась на том, что — холера!

— *Sui generis, holera tropika, или persika.*

Около половины больных страдало тяжелой формой солнечно-теплового перегревания. Часто встречалась комбинация холеро-подобного заболевания с солнечно-тепловым перегреванием и малярией. Общее утомление, головная боль, и боль в ногах, резь в желудке, общий истощенный вид — все это было результатом тяжелых условий боевой жизни Перени. Умирало, однако, мало... В пинах караван-сарая положили тюфики и подушки; их не хватало, положили маты*). Все пиши вскоре были заполнены больными. В холерном отделении в круглом сводчатом зале пришлось класть на циновках на каменный пол... Холерных человек шестьдесят. В „бараке“ — доктор. Книгина Долгорукая. Слушает пульс, дает лекарства, направляет подушку, переворачивает больного. Все сама. Молодая, лет двенадцати пяти. Уже несколько ночей она не спит, и странным кажется бледно-зеленый цвет ее лица... От усталости. Или это такое освещение в полутемном сводчатом круглом зале старинного здания?! Она — в белом халате, со скатыми губами и карими, с лихорадочным блеском глазами. Говорили — некатальница приключений, затем и прибыла в Перению. Мать, доктор, авиатор, георгиевский кавалер трех степеней, — она уехала с нашего фронта полным кавалером. Бесстрашная в боевой обстановке, она презирала опасность и в заразном бараке. Она очень любила жизнь и была фаталисткой. На фронте она рисковала ею очень часто — жизнью молодой, интересной и материально сверх меры обеспеченной. Нет, это не только любовь к приключениям! Это уже любовь к долгу, к посту своему, к близким.

* * *

Странно было услышать в Кериде шум мотора. Автомобиль здесь был неуместен: чужд природе и обстановке. Во всяком случае нами он был забыт; да и дороги сюда для автомобиля нет... Серая запыленная машина стояла внизу, на дороге, около хирургического госпиталя... В автомобиле сидело два генерала. Незвестные. Позвали старшего из земляков. Я подошел к приземкам:

— Здравия желаю! Позвольте представиться!

— Да вы кто такой? — оборвал тот, что сидел слева. Оба генерала вышли из автомобиля. Один был маленький и толстый, а другой — высокий и худой. Разговаривать пришлось с толстым. Очевидно, он был старший. Я назвал себя.

*) Циновка, соломенная подстилка, часто употребляющаяся на востоке.

— Так Вы должны мне доложить обо всем рапортом.

Спорить было не к чему. Отрапортовал, первый раз в жизни. Раненых столько-то, больных столько-то. Рука у козырька, — все как следует, хотя сам в шлеме и без погон.

Президиум были: толстый — представитель Верховного Начальника Санитарной и Эвакуационной части, генерал Бернов, а худой — профессор медицины Ушинский. Осматривали все крайне внимательно. Очень интересовались уборными, ямами для отбросов. Разговаривали с больными, пробовали пищу.

— В чем ваша нужда?

Как на это ответить? Нужда была во всем. Так и решили: заявить о многом, а подчеркнуть нужду в хинине. Это было большое несчастье. В полках, ушедших в бой, в заведомо малярийные места, не было грамма хинина. У нас он был, но очень мало: мы ценили его дороже золота. Врачи давали хинин малярийным в каких-то особых случаях.

— Как хинина нет? — хрипел генерал. — Это безобразие, что же санитарная часть? Хинин у вас будет.

Записал в полевую книжку и стал подробно расспрашивать обо всем. В общем осмотр длился часа четыре. Гости были неутомимы. Повидному, понимали дело. Было приятно, что они, только что из России, что не забыли о нас, что из-за нас они пересекли море и проделали восемьсот верст тяжелого пути по знойной, ухабистой, трудно проезжей дороге. Были довольны осмотром. Остались почевать. К вечеру вдогонку за ними прикатила Бобринская.

— Ну как?

Я было начал рассказывать.

— Да я знаю. Уж и так вижу... сама.

— Ну, а как эта... в штанах?

Я удивленно смотрел на графиню.

— Да, доктор-то... женщина врач? Как ее?

— Шмотина? Елена Павловна?

— Да, да, кажется так. Вот, знаете, странная — женщина... в штанах. Что ж это такое? Срам.

— Графиня, да она великолепно работает. Хороший врач. А костюм, так это вероятно для верховой езды!...

— Ну уж оставьте — не унималась графиня — какая там верховая езда в Энгели. Просто взбалмошная...

Через час Бобринская помчалась обратно в Энгели.

Спустя две недели в адрес корусского врача прибыл хинин. Несколько пудов.

— Спасибо, дорогие гости. Редко кто ушел с перенского фронта здоровым. Малярия — обязательный подарок, которым одарила почти каждого из непрошенных гостей солнечная страна. Малярия злая, жестокая. Ее тысячи видов и форм. Она и в гостеприимном Энгели, и в проклятой долине смерти Кингавера и на горных высотах Керинда. Или трисет больного через точные, как самые точные часы, промежутки времени, или ходит он вялый и слабый, а приступ лихорадки выдается только бледно-зеленым цветом лица и блеком глубоко запавших глаз. В несколько недель, без лечения и ухода за больным, такая малярия изматывает совершенно, и если малярик заболевает другой серьезной болезнью, то он обречен...

Визит Бернова и Ушинского в Персно в мае шестнадцатого года спас жизнь и здоровье многих русских людей.



Если Вы хотите видеть настоящий восток, хотите воплотить мечту о восточной сказке в действительность, поезжайте в Керманишах! Кругом сияжно-синие горы. Большие скульптурные группы их тянутся на восток, цепями уходя в облака, теряясь в облаках...

— Облака тоже как горы, и все здесь сменялось и горы и облака, и все кажется чудесным и сказкой. На западе — огромные, гранитные массивы... Побежали от них синие тени, играют лучи солнца на красном граните, и горы уже стали багровыми, зловещими. Бирюзовая синьба неба темнеет и опять синие тени побежали от гор... Игра теней. Кажется, что мимо идет иная жизнь, не наша, что тени живут, что наступил их час... Реальность — только тени, ветер, облака. Они огромны. Двигутся и живут, играют и живут...

Уже темно. Небо странно своей чернотой, а звезды большие, рогатые, блестящие. Их мириады. Они играют переливами разных огней и самые большие кажутся накрашенными на черную мантию астролога...

В Керманишах суета. Русские уходят из города. Войска идут огромной массой, частью окружной дорогой, мимо, а частью через самый город.

Отходили образцово, в полном порядке, давая арьергардные бои. Эвакуация больных, раненых, имущества, корнуемых учреждений в полном ходу — на автомобилях, пикапах, мулах, бричках, верблюдах, двуколках... Эвакуация проходила спокойно. В городах боев не бывало. Баратов шадил города нейтральной страны. Он бережно относился к чужому добру и труду; также, как и к культуре и религии. Он мог еще больше задержать турок на путях нашего отступления, разрушая мосты через реки. Но он решительно запретил взрывать, хотя бы один мост. В Персии нет европейских железных мостов с сложными фермами. Здесь они простые каменные. Старинные, крепкие, на могучих быках, миллионы пудов весом, веками стоят такие мосты. Персы любят эти дугобразные массивы. Баратов знал это. Знал он также и то, что скоро ему же придется гнать турок обратно. Как на войне счастье переменчиво!

Керманишах в ночь на восемнадцатое июня шестнадцатого года являл картину, которая не может изгладиться из памяти. Войска сосредоточенно, спокойно проходили мимо мирно настроенных обывателей. Пехота, кавалерийские части, вереница обозов, фургоны с больными и ранеными, непрерывной линией оставляли город. Плоские крыши Керманишах были усеяны любознательными. Иногда зарево пожара или одиночные выстрелы нарушали зловещую тишину южной персидской ночи. В этот момент можно было познать лояльность мирного населения Персии. Политика доброжелательности принесла свои плоды. Дружелюбное отношение к населению нейтральной страны естественно породило не злобу и восстания, а сдержанность и предупредительность. Тысячи жителей, высматривавших на крыши, вели себя лояльно. Ни выкриков, ни жестов. Губернатор дал обед в честь уходивших русских войск, а потом ушел вместе с нами...

* * *

У Биссутуна, в тридцати пяти верстах от Керманишах, отступавшие войска остановились. Остановились и турки. Устали все. У гранитной и мрачной горы, недалеко от барельефа Дария Гистасна, расположился штаб отряда. И как тысячи лет тому назад, стояли здесь бивуаком воины Дария и Александра Великого, так и теперь у студеного источника отдыхают утомленные изнурительным походом, русские и турецкие войска.

Отдыхали веласть. Первые дни казалось странным, что можно не двигаться, сидеть, лежать, ходить. Не нужно избираться на измученного коня, жариться на солнце, спать в седле. Нет дорожной пыли, мучительного зноя и вечной жажды.

В маленькой палатке душно, повернуться негде, но за то тень и можно лежать. Связиных мыслей уже нет... Все куда то ушло... Передо мной огромный турок с кинжалом в руке. Тишета достать мой драгоценный маленький карабин, что стоит за походной койкой. Я люблю этот карабин и дорожу им... Хочу что-то сказать, но ничего не могу... И турок уже не турок, а перс в черной шапочке. Как он похож на подрядчика, что требовал деньги за мясо! Перс спорит с корпусным врачом и спор идет по французски. Скалозубов кричит:

— Вот посмотрите, все будем в Эизели и тонуть в Каспийском море.

Угрожающе смотрит на меня и размахивает руками. Отвешивая поклоны, перс что-то говорит, смеется и, кажется, он согласен с Скалозубовым.

— Арбаб умеет плавать? вдруг внезапно строгим голосом по русски спросил меня перс.

— А тебе какое дело — дико кричу я, и с бранью бросаюсь его душить...

— Да успокойтесь, Ваше Высочордие. Это я, я, что вы кричите?

Передо мной вестовой, смущенно смотрит и говорит:

— Тяжелый сон, должно быть, Ваше Высочордие. Вам бы в Хамадан проехать, отдохнули бы. А тут пленного офицера в штаб привели. Пошли бы посмотреть.

Мне хочется пить и почти залпом я выпиваю целую флягу воды.

— Опять без экстракта! Ведь я же говорил, чтобы в фляге всегда была вода с экстрактом или кислотою. Да сами тоже простой воды не пейте.

* * *

Турецкий пленный офицер был маленький, малярийного вида. В теплом френче, толстых суконных шароварах, он плизывал от жары. На желтом с веснушками лице сидели черные, как уголь, маленькие глаза и буравили нас. Вдруг они становились беспокойными и тоскливыми... Офицер заметно волновался. На допросе, сиеша, много говорил. Непонятную речь пересынял словами на плохом французском языке. Переводчик сказал:

— Он клянется, что не шпион и что русские всегда были великодушны. Захватил казачий разезд у самой линии сторожевого охранения, недалеко от дороги. Офицер утверждал, что он заблудился, что он близорукый...

Допрос кончился. Офицера увели. Приказали вежливо обращаться и отправили куда то в тыл.

— А то вот недавно еще случай был, — рассказывал потом штабной полковник Г. — один турецкий офицер перебежал к нам. Ужасно боялся быть убитым и раненым.

— Странно, громко проворчал другой полковник, — как это можно бояться быть одновременно убитым и раненым?!

Второй полковник просто не верил первому.

— Я сказал убитым или раненым, — поправился Г.

Все слышали, что сказал полковник.

Молчаливое смущение...

* * *

В пограничном полку в палатке трое солдат.

— Вот тебе святой крест, говорит молодой солдат и крестится мелким быстрым движением, — Николенко „надавать“, а он „стоять“. Пули так и „свистать“...

У меня винтовка в щены, а он „стоять“... Не знаю какой роты солдатик, подле очутился: только приложился к винтовке, в аккурат вот в это самое место пуля попала. Защелкал и побежал, а он стоять... — Да уж что и говорить: храбрый командир... сурьезный, перебил его старший унтер-офицер.

— Мазанов наперед говорил, что он заговор такой знает, перебил третий, бородатый солдат.

— Дурак твой Мазанов и брехун, так ему и скажи, решительно возразил унтер.

Это все про Юденича.

В полках огромная убыль. А пополнений все нет. Опять посылаются телеграммы. Без толку. В штабе уже известно, что турки подтянули свои войска; к ним подошли подкрепления. Они наладили коммуникационную линию с тылом и готовятся перейти в наступление. Наши тоже работали. Укрепляли перевал, реди оконя, ставили проволочные заграждения. Но разве можно укрепить горную цепь, растянувшуюся на сотни верст, и наставить проволочных заграждений в достаточной мере. Укрепить версту — другая будет обойдена противником.

Укрепляли придорожную равнину, на версту, подторы и обе стороны от дороги. Только жалкое впечатление производили на нас самих эти укрепления. Маленькие колья врытые в землю и жидкими рядами колючая проволока. Примитивные окопы — неглубокие ямки с ничтожным прикрытием. Впрочем, это не западный фронт! Тысячаверстные пространства. Отступай сколько хочешь!

* * *

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГРАФИНЯ БОБРИНСКАЯ

Во многих случаях у больших и интересных людей и внешность примечательная. Так и с ней. Раз говорил — нельзя забыть. Даже если не сказал ни слова, а только видел.

Огромная, толстая, женщина-гигант в сером платье сестры милосердия с красным крестом на груди. Из под белой косынки падают непокорные, седые волосы; простые, в белой оправе очки на глазах. Плотные сжатые губы, а чаще добрая улыбка, и тогда все лицо светится. Когда губы сжаты и брови хмурятся, то лицо строгое, отражает благородную мысль, а серые глаза темного печальны, ибо устали они жить. Много видели эти глаза и когда пристально смотрят, как будто читают в душе; и робость собеседника не от звания и положения графини, а от этих серых печальных глаз. Плохо было тому, кто лгал. Она слушала, а глаза становились еще печальнее.

* * *

Ей было лет шестьдесят. Я не видал никогда такой полной женщины, как графиня Бобринская. Но нет, вероятно, другой пожилой женщины, более подвижной, чем она. Я сделал на автомобиле в Персии в общей сложности за годы войны пятьдесят тысяч верст. Ручаюсь, что графиня сделала шестьдесят. Расстояние для нея не существует. Через перевалы, по ухабам, в неимоверную жару или холод, не взирая на дождь и выюгу, мчит графиня за тысячу, полторы верст. Она ездит на маленьком форде. Вдвоем рядом с ней сидеть невозможно. Тесно. Вернее не тесно, а невозможно. Нет места.

Она была в Энзели; а за восемьсот верст впереди, на фронте, шесть энтузиастов из ее сотрудников, во время багдадского похода вступили в борьбу со зноем, холерой, тифами... Борьба неравная. Не по силам. Главное, без разрешения графини! Даже скорее вопреки. Боялась, что не справится. В чистоте — не выдержит флага. Браться можно только за то, что возможно сделать! Но на войне не всегда дерутся,

когда все готово. Чаще наоборот. Так было и здесь. Графиня хлопотала в тылу, чтобы снабдить фронт медицинским снаряжением. В этот период она почти все время проводила на палубе парохода или в вагоне. Эизели — Тифлис и обратно. Она с тревогой уезжала в Эизели, что войска под Ханкею пошли, что с ними — ее сотрудники. Она велела сидеть в Кингисере и строить госпиталь на сто человек, — и то не по силам, — а они в Кериде и, говорят, лечат и кормят тысячи... Помчалась в Керид. Восемьсот верст были проделаны в двое суток, без передышки... Только в Хадамаче, на полути, она сменила машину и шофера...

В Кериде только проехала по улицам, почти не смотрела учреждений, за которые ответственна. Одним взглядом, быстрым и опытным, она оценила обстановку и знала все, как будто бы была давно здесь со всеми. Через час уехала обратно, в Эизели и Тифлис, чтобы, не теряя времени, послать сюда, к горю, которое сама увидела, лекарства, белье и много другого добра.

* * *

Бобринская не филантропка — благотворительница, каких тысячи и тысячи. Она организатор с большим размахом и горячей любовью к творимому делу. Дело не может быть без любви. Оно должно нести в себе идею. Любовь к идее согревает самое дело.

Графиня носит в себе любовь неосознанно; она не подходит к разрешению вопросов и дел рационалистически, она расточает любовь на дело и вокруг. Она источник любви к делу. Она одухотворяла все большое, разбросанное на тысячеверстном пространстве, дело милосердия. Она явила пример истинной любви к ближнему; она показала, как только одна истинная доброта имеет реальную ценность и как ее „истинность“ сильнее всего.

* * *

Она всегда делала большие дела.

Объехала фронт и поняла, что нужно армии. Из мощных складов Земского Союза Тифлиса и Москвы направила в Персию автомобили, медикаменты и бараки на миллионы рублей. Она приступила к постройкам и создала в Эизели земский городок. Ей был ясен общий план помощи этому фронту, но нужны были время и деньги. Энергией она стремилась преодолеть время и достать средства. Активная, решительная и осторожная одновременно, она не походит на тип администраторов американской складки. Это — помещица. Старая русская барыня, графиня, — богатая, добрая... У нее огромное хозяйство, много слуг. Она знает, сколько у нее крестьян. Столько-то тысяч; сколько имений — столько-то. Но она не знает хорошо своих расходов. Доходы то еще знает, а расходы нет. Она знает основные элементы ее хозяйства. Но она женщина. Ей чужда планомерность в работе, нет системы. Она не любит смет и отчетности. Она говорит:

— Работу можно вести только на доверии; чем лучше бухгалтеры и счетоводы — тем умнее, если они мошенники, они могут обмануть и Вас и дело.

У нее прекрасное здоровье; но она тоже отдала должную дань, — уплатила налог за пребывание в Персии, — заболела малярией. У нее железный организм, но малярия пыталась сломить и ее и только временами торжествовала.

— Как будто Вы, графиня, немощно нездоровы... Цвет лица у Вас изменился...

— Да, лихорадка треплет.

— Да Вы знаете, я термометр насильно заставила графиню подержать — вмешивается сестра милосердия из близких к графине, — температура сорок. Я говорю, чтобы легла, а она автомобиль заказала, в Хамадан ехать хочет.

Так и поехала графиня в Хамадан с температурой сорок, за двести слишком верст в дождливый декабрьский день. Она была очень проста и доступна. Ее любили и боялись. Боялись, потому что глубоко уважали. Все подтигивалось не только в ее присутствии, но при одном ее появлении в городе. Она страдала от жары, но никогда не жаловалась и неизменно, во всякое время, пила сырую воду.

— Побереглись бы вы, Софья Алексеевна, ведь холера началась.

— Ну, меня холера не возьмет.

Смеется.

— Да, ведь, Вам неудобно пить сырую воду, Вы должны пример всем подавать. Представитель общественности и санитарии, а сама сырую воду только и пьете. Что же с солдат тогда спрашивать!

— Да, ведь, солдата холера берет, а меня нет. А Вы им не говорите, что я сырую пью. Раз пью, значит, кипяченую.

Смеется. А смеялась она занятно. Голова откидывалась немного в сторону, лицо становилось детски веселым и светлым; слышен был только сдавленный, протяжный горловой звук.

* * *

Все у нея было необычно: доброта и фигура, энергия и рост, размах в деле и смех. Это было большим, как и все, что она делала или что имела.

В условиях персидского фронта, походная кровать — неоценимое благо. Их присылали из заготовительных складов, покупали в России. Кровать графини пришлось делать на заказ — по размерам и прочности не подходила ни одна. Она собиралась ездить верхом. Автомобиль и экипаж ведь не всюду могут проехать. Заказала особое седло, ибо обычные не были годны по размерам. Мала. От этой затеи пришлось отказаться, — взобраться на лошадь графиня безусловно не могла. Она была богата, но жила крайне скромно; ее нищу составляли овощи и фрукты, а кроме сырой воды она не пила ничего. Она не любила этикета, условностей; не любила, когда целовали руку, тянулись перед ней и называли „Ваше Сиятельство“. Все внешнее ей было чуждо. Внутренне она жила богатой жизнью. Смысл жизни она отождествляла с идеей помощи ближнему. Она мыслила и любила. Любила всех, даже сама того не зная, расточая всюду теплоту этой любви. Ее тоже любили все. Мы не знали человека, который бы дурно подумал о Бобринской.

Она особенно любила „своих“ сестер милосердия; тех, кого лично привезла из Москвы на этот „ужасный фронт“. Среди них были и родственницы графини и общинские сестры — школы Бобринской. Племянницы обожали ее. Но когда понадобилось идти на подвиг, все до единой пошли и аристократки, и крестьянки. И благородная, которую звали святой, — Александр Павловна Ливен, и высококультурная, с нежной и хрупкой душой, Габриелла Радзивилл. И Ельшанская и Михеева — незатейливые девушки, изумившие всех неутомимостью, безропотностью и благородством манеры помогать другим. Это большое искусство — уметь помогать другим. Научиться искусству такому нельзя. Оно — Божий дар, и некры его у своих воспитанниц графиня превратила в вечно зажженный светильник милосердия, искреннего и чистого, как чисты глаза этих девушек и вся их белая одежда.

* * *

Графиня Бобринская очень сдержанна. Она никогда не кричит, но говорит строго и решительно. Так заставляет ее говорить и действовать вера в дело, которым она управляет. Она убеждена всегда в правильности того, что делает. Сомнения существуют только пока она принимает решение. Но раз оно принято — довольно. Точка. Графиня права, всегда права. Она бранит на людях Тифлис и Петербург: за непорядки в снабжении армии и нас.

— Графиня, не стоит строить, не век же будем воевать, да и Комитет не утвердит этих расходов.

— Наплевать, утвердит, а не утвердит, — тоже наплевать.

Это ей принадлежит крылатое слово, громко сказанное Баратову, при отступлении от Хамадана. Баратову доносили:

— Такие-то полки, там-то, отходят так-то...

— Какие там полки. Это табор, — сказала графиня, — цыганский табор, а не войско.

Там было все расстроено и шло толпой, кучей, в беспорядке, уходя от турок, зная, болезней и жажды...

* * *

Любила графиня свое дело превыше всего. Но когда ей показалось, что во имя дела должна уйти она и передать знамя другому, она предложила это сама... С болью большой в сердце, со слезами на глазах, но отказывалась во имя долга от того, что любила...

А когда революция коснулась фронта, кому, как не ей, всеобщей любимице, демократке истинной, — ибо любили ее солдаты и казаки, — было продолжать работу.

Но образовалась большая трещина в деле, в укладе на фронте. Сама идея войны дала трещину при первых ударах грома революции. Врач уже не лечил, а уехал на какой-то съезд, а санитар в дежурный час не у постели больного, а на митинге.

Покинула графиня Бобринская фронт и с ее отъездом опустился занавес после первого, ярко сыгранного, акта переведской поэмы.

* * *

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТАБОР

Восемнадцатого июня турки остановились у Биссутона, а двадцать пятого июня опять перешли в наступление. Пять недель они были в бездействии. Отдыхали, приводили себя в порядок и подтягивали помощь из тыла. Отдохнули и наши войска. Турок было вшестеро больше нас. Баратов отдал приказ отходить. Очистили Сахне и Кингавер, а двадцать шестого июня начались бои по всему фронту — протигением в двести верст. Фронт этот начался от Керг-Абада, что против Сенне, продолжался далее на Ассад-Абадских высотах и оканчивался у Перисие, Нехавенда и Буруджира. Правым флангом, — Курдистанским отрядом — командовал генерал граф Нирод, центром — главными силами — генерал кн. Белосельский, а на левом фланге оперировали, в указанных трех районах, конные отряды генерала Радаца, полковника Стенчанского и партизаны Бичерахова.

Бои были ожесточенные и продолжительные. Особенно трудно было на флангах: из-за малочисленности конницы и бездорожья. Главный удар турки направили все-же на наши главные силы. Нехан-паша отдал приказ раздавить нас. Казалось, уничтожив центральную группу русских, с флангами будет легко справиться...

* * *

Наступил рамазан. Девятый месяц магометанского лунного года. Весь этот месяц иниты проводят в строгом посте, поэтому слово рамазан употребляется как синоним поста. С того момента, на рассвете, когда невозможно уже отличить белую нитку от черной, и до захода солнца, мусульманам воспрещено есть, пить, предаваться любви. Коран воспрещает в это время купаться, вдыхать благоуханный запах, проглатывать слюну, целовать женщину. Больной, принимающий лекарство, нарушает закон; чтобы очиститься, он должен накормить бедняка, а по выздоровлении, в посте и молитве обязан наверстать, что не исполнил согласно закону во время болезни. Во время рамазана уменьшается темп торговых сношений, а некоторые из купцов, особенно религиозные, совсем прекращают заниматься торговыми делами.

Государственная деятельность ослабевает, а самые важные дипломатические дела откладываются до следующего месяца. Религия предписывает обязательный пост и, от соблюдения его, освобождаются лишь роженницы, воины, находящиеся в походе, и путешествующие.

Знойные улицы городов Персии обычно малолюдны. Во время рамазана они пусты. В городе мертвая тишина. В крытых коридорах базаров нет обычной суеты делового дня...

После захода солнца город оживает. Он наполняется звуками, шумом, движением. На узких кривых улицах появились пешеходы, на площадях, у мечетей, толпы народа. Когда стемнеет, и на небе начинают закигаться звезды, загораются обода воздушных минаретов мечетей, переливами цветных огней таинственно светят их окна. Храмы полны. Молящиеся непрерывной волной стремятся в открытые арки мечетей. По темным, кривым переулкам города запрыгали движущиеся огни. То правоверные — с фонарями в руках. Вечерняя прохлада улиц привлекает людей. На крышах обитатели домов, семьи правоверных собираются группами подышать вечерним воздухом, полюбоваться сумеречными красками неба и гор и послушать мистический хаос звуков почти рамазана. В разных концах города бьют барабаны. Тупые удары переходят в равномерную дробь. Дробь барабанов разных тонов и темнов. Музыкальной спиралью режет вечернюю тишину мелодия флейты, свирели и грубой военной трубы. Звуки растут. Над городом грохот и шум. Заунывные голоса поющих молитвы сливаются в неумолчном нарастающем стоне с печальной мелодией стоголосой музыки, с барабанным боем. Над городом стоны, гам, какофония. К полуночи дикие вопли растут... А из наших садов на окраине, кажется, что в Хамадане большое несчастье. Горе и плач, барабаны и музыка. Глубокая ночь. Скоро рассвет. Почему же люди не спят?

* * *

В Хамадане слышно буханье орудий. Началась суматоха, которая всегда предшествует эвакуации. Еще пару месяцев назад Хамадан был глубоким тылом русской армии. Здесь расположились большие госпитали, центральные вещевые и продовольственные склады и расквартированы многочисленные корпусные учреждения. Здесь же и штаб корпус:

— Очистить Хамадан — приказал Баратов, — а чтобы выиграть время и дать возможность эвакуировать город, велел держаться на Ассад-Абадском перевале, до последней возможности.

Хамадан лежит в стороне от прямой дороги, по которой могли отступать войска. Верстах в восемнадцать. Здесь дорога образует петлю. Если сдадут перевал, отступать будут мимо города. Выиграли пространства и времени.

Мы уже начали получать сведения, что наши отходят с перевала и почувствовали себя одинокими. Никаких распоряжений. Ничего. Правда, эвакуацию мы начали еще двадцать пятого июля, по приказу Командира Корпуса. Сегодня двадцать седьмое. Транспортных средств почти нет, а больных и раненых все больше и больше. На место отравленного в тыл десятка, с позиции прибывала их сотня, а на место сотни их становилось две... Они ехали, шли, ползли. Израненные, больные, усталые.

* * *

Взял вестового и карьером помчался в Шейверин. в штаб: напрямик — через поля, канавы, арыки и бугры.

Погорелов утверждал потом: пространство в пять верст мы покрыли в четыре минуты.

Ни начальник штаба — полковник Доманевский, ни корпусной врач, ничего не знают. Связи с линией боя нет. Сидят и волнуются.

— Да поедemте в город, — сказал корпусной врач — интересно посмотреть, как „ваши“ эвакуируются.

Лошадей отпустил. Едем в штабном автомобиле... Скоро и город.

У меня заняло где-то слева в боку, когда я увидал длинный ряд фургонов, нагруженных больными и ранеными, а позади, верхами, моего помощника и ближайших сотрудников. У старшей сестры милосердия слишком подчеркнутый для такого путешествия вид. Через плечо саквояж, аппарат и еще что-то. Вероятно, бинокль или термос... Мне стало стыдно. Ведь все должны быть на своих местах, в лазарете. А они уже эвакуируются.

— Кто вам разрешил, спрашиваю.

— В госпиталь стреляют. В садах, где слабосильные команды, тоже стреляют.

Нагруженных на фургоны приказал везти дальше; отправил с ними большинство врачей и сестер, а администрацию и часть медицинского персонала оставил. Приказал им вернуться обратно, открыть перевязочный и питательный пункт и без моего приказа не уходить из города. Я очень любил моего помощника. Он был из моих немногих и близких друзей. Но мы на войне. Я сказал:

— Кто ослушается, будет пристрелен из этого самого револьвера.

Мои сотрудники были хорошими людьми и работниками. Они были штатские, недавно приехали и не знали толком, что такое дисциплина на фронте. Они забыли, что это — война. Почти все, кто был в Кериде, Серпуле и Керманшахе, свалились, заболели, уехали... Наш лучший госпиталь уже горел. Патроны, брошенные больными и ранеными, взрывались, а огромные клубы дыма и жар от горевших сухих строений не давали возможности войти в переулок, к главному входу в госпиталь. На площади, у гаража, горели выючные носилки. В разных концах города слышалась стрельба.

* * *

— Кто поджигал? Кто стрелял?

Вероятно наши же солдаты. Вопреки запрещению. Чтоб не досталось врагу. Жалко Хамадана.

Весь день тянулись из города обозы. На базаре разбили несколько лавок; в разных местах горели дома. Войска отступали прямо на Ах-Булах... Главная масса следовательно была уже позади нас. Там нужна наша помощь. Надо спешить в Ах-Булах. В Хамадане на всякий случай оставил трех энергичных сотрудников для перевозок и питания случайных, могущих забрести сюда, солдат. В два часа ночи появился Волков с выючными носилками. Спустился напрямик с гор. Волков — доброволец, студент, сибиряк. Стоит во главе транспорта выючных носилок; их всего двадцать пять. Он работает там, где могут пройти только выюки. В самых опасных местах. В линии огня. Появление Волкова — это сигнал. Значит турки за его спиной. Работа транспорта Волкова — цепь, звеньями которой были — отвага, храбрость и подвиги. Через высокие перевалы, пропасти и ущелья везли раненых и больных, уходя от турок... Перенесли голод, холод и много других испытаний... Трое носилок попало в плен; но все больные и раненые были увезены. Пленные турки офицеры говорили:

— Мы видели, как спокойно и умело увозил из боя начальник отряда раненых и больных на этих носилках.

Офицеры рассказывали: командующий турецкими силами в Персии произнес речь перед своими офицерами и в ней указал на умение русских войск отходить от превосходящих сил неприятеля, и на образцовую эвакуацию больных и раненых.

— Ни один раненый или больной не были брошены на поле сражения. Нужно учиться этому искусству у русских и брать с них пример, — говорил турецкий генерал.

* * *

Наш отряд небольшой. Вместе с краснокрестовцами, человек пятнадцать. Все верхами. Кони свежие и рвутся вперед. Но отступать нужно шагом, ибо в шаге внешняя форма спокойствия. Сдерживаем лошадей. Ночь прохладная, как и всегда в Персии. Много звезд. А млечный путь какой то особенно яркий и, как гигантское кружево, раскинулся через всю темную синеву неба.

Кроме нас никого на грунтовой дороге, ни на шоссе. Подозрительной кажется эта тишина, ибо позади брошенный город, а слева недалеко — жестокая битва. Но не слышно ни орудий, ни пулеметов, ни ружейных выстрелов. Как будто и войны нет. Должно быть, войска провали и мы последние... Зорко всматриваемся в темноту. Ничего не видно. Темь. А жизнь есть: неведомые шумы и шорохи — они кажутся нам неприятелем, скрытым тьмой ночной.

Около пяти часов утра. Мы в Ах-Булахе. Здесь соединяются две дороги — Хамаданское шоссе, по которому пришли мы, и прямая грунтовая, с перевала. Светает.

* * *

В Ах-Булахе масса людей: воинские части, больные, обозы, штаб...

Здесь и командир корнуса.

— На перевале наши еще дерутся, — говорил мне Баратов, — нарочно задерживаю бой, чтобы все могло уехать из Хамадана. А что остался еще кто-нибудь в Хамадане?

— Да нет, мы отправили последних больных еще вечером, а сами выступили ночью. Оставили на всякий случай неутомимую и бесстрашную тройку во главе с Каранетьяном — ведь вы его знаете, Ваше . . . ство. Да и Волков еще там; он пойдет, вероятно, напрямик, без дороги.

Баратов был черен от загара и боевых неприятностей. Похудел и с'ежился. Когда узнал, что все раненые и больные вывезены из госпиталей, перекрестился широким крестом и сказал:

— Ну, Слава Богу!

Повеселел.

Генерального штаба капитан Каргаретелли казался согнутым и большим. Кругом злобно шипели.

Его называли „злым гением Баратова“, виновником неудавшейся „Багдадской авантюры“. Это не верно, конечно. Каргаретелли здесь не причем. Исполнял должность начальника штаба корнуса во время наступления на Ханекен. Работал много, энергично. Не его вина, что операция не удалась. Она была продиктована из Тифлиса и причины ее неудачи — сложны.

* * *

От Ах-Булаха приказано было отступать. И когда все пришло в движение, стало видно, что на главной дороге собралось все слабое, усталое, уже неподдающееся дисциплине. Правда, здесь не было строевых частей. Они были на позициях, верстах в двадцати на главной линии и поблизости на флангах. Мы были ближайшим тылом фронта и обременены массой раненых, больных и усталых. Нас было несколько тысяч.

Это здесь Бобринская бросила свое крылатое слово „табор“. Так она называла то, что собралось на пыльной серой дороге и растянулось на несколько верст. Здесь был военный обоз с оружием и разным имуществом. Какие то верховые. Большие фургоны, загруженные больными сверх всякой меры. Люди шли пешком, ехали на автомобилях, верблюдах и ослех.

Шли небольшими отрядами и бестолковыми кучами; плелись усталые и ползли вдоль дороги, в канавах, ибо не имели уже сил идти. Однако шли. Изнуренные зноем, мучимые жаждой.

Шли не потому, что хотели, а потому, что другие шли. Двигались иногда с апатией, бессознательно. Как манекены. Людской поток, как огромный червь, полз по серой знойной дороге.

От Ах-Булаха прежде всего отправили фургоны с ранеными и больными. Конечно, фургонов не хватило. Работали автомобили, „форды“ Земского Союза.

Еще под Керманишом наловчились подбирать по дороге раненых и больных. Грузили на „форды“ и поспешно отвозили в тыл, верст за двадцать, тридцать до ближайшей заставы, а потом бежали назад за новыми.

* * *

Мы уже верстах в тридцати от Хамадана. Там турки. Мы в Курджане, в жалкой деревушке, расположенной у самой дороги. Здесь — привал.

Часов двенадцать дня. Солнце жжет, а укрыться некуда. Тени нет. Чтобы найти тень, надо идти в деревню, но не всякий может двигаться. Ушли все фургоны, двуколки, брички, верблюды, лошади, мулы и ослики. Все, что может двигаться, ушло. Но не хватило на всех больных и усталых фургонов, двуколок, верблюдов и ослов. Пять или шесть „фордов“ мечутся, как безумные, между Курджаном и Сирабом. Сираб — севернее, верст на двадцать. „Форды“ нагружают по три, четыре человека и везут их в Сираб; потом, пустые, возвращаются они опять в Курджан и так без конца... Шофферы — герон. Уже несколько бессонных ночей, но они и под свистом пуль на перевале, и на песчаных дорогах плато, одинаково молча выполняют свой долг.

Мы со штабом. Здесь, у дороги, кучей свалены сотни ящиков с патронами, тюки какого-то интендантского добра, солдатские котомки, мешки, и люди, люди, люди.

Лежат ничком, на боку, скрючившись, укрытые на посылках, на земле, расставившись, в бреду, в малярии...

Зелено-серая пыль на дороге, зелено-серая одежда, лица.

Это табор. Нет, в таборе веселее. Там нестрога одежды, песни и смех. Здесь все зелено-серое: и сама земля, и лица людей и их страдания...

Мы знаем, что турки толкают нас прямо в спину и что с флангов их кавалерия уже зажимает нас клещами... Мы ждем сорок грузовых автомобилей из Каз-

вина. Туда почти двести верст и перевал посередине. Далеко и дорога трудная. Баратов приказал, чтобы все транспортные средства из Казвина и Эзелли были высланы к нам на выручку.

Идем, а кольцо сжимается... Уже скоро вечер. Белосельский прислал драгуна проверить, здесь ли еще штаб? Не ушли ли? Здесь ли Баратов? Так заяц следит за полетом орла и неведомо ему, почему летает орел и куда ведут пути его. Нам доносят, — говорю нам — ибо мы сейчас вместе все — одно целое — триста больных, штаб и Баратов. Стоим кучей и смотрим вдаль на дорогу... Нам доносят, что турки слева верстах в семи от дороги, а справа в десяти... Кольцо сжимается... Баратов и штабные смотрят в бинокли. Как будто они видят нить на дороге. Я сажусь на мой „форд“, беру ведро воды и еду к позициям. Где-нибудь по дороге, наверное, есть большие или отсталые.

Нас двое: шоффер, Иван Савельевич и я. Едем тихо, чтобы вода не расплескалась. Проехали версты полторы. Заяц перебежал дорогу. Переглянулись с Беляничковым. Он смеется. Говорит:

— Я в приметы не верю, Алексей Григорьевич. Помните студента Левинского. Тот бы уже повернул обратно. Заяца ли увидит, лисичку, — все равно, ха, ха, ха... А один раз — Петров рассказывал — от волка удирал, на „форде“, ха, ха, ха... Вы его помните? Студента — шоффера?

— Кого? Петрова?

— Да, нет... Левинского...

Мотор давал перебои.

Подобрали у дороги солдата. Вышел из Хамадана, когда турки уже вошли в город. Выбился из сил. Нанюли, взяли с собою в автомобиль. Вдруг крики:

— Стой, стой, стой...

Направо от дороги, на холме наши казаки... Сторожевое охранение.

С холма скатился казак:

— Куда вы?

Говорим.

— Да, вой, на том бугре турки. Ну, молитесь Богу, еще немного и были бы в плену. Хорошо, что услышали нас. Хорунжий уже было приказал стрелять по вас... Слава Богу, легко отделались от плена.

Беляничков, улыбаясь, качает головой. Нанюли казаков сторожевого охранения; поехали обратно.

В Курджане, все кто мог, стояли на дороге и смотрели на север. Я спросил у Бобринской, как дела?

— Как будто плохо. Баратов сказал, что больных не бросит. Машинны могут придти каждую минуту.

— А если нет — спросил я.

Мы посмотрели друг на друга. Все же он должен уехать, решили мы. Легковые машины были. Штуки три. Что толку, если он со штабом попадет в плен?! Ведь война продолжается!..

Уже сторожевое охранение отошло с холмов, где мы только что были. Турки с флангов были верстах в пяти. На правом — казаки, отходя, теснили их с ожесточением, а левый сильно выдвинулся вперед. Мы были уже в клещах... В нашем распоряжении было не более часа и спасти нас могло только чудо.

И это чудо появилось на дороге в виде огромных клубов дыма. Теперь все зависело от того, что придет раньше, турецкая кавалерия или грузовики.

Они появились сразу, с грохотом и с радостью. Большие, серые — они ревели, фыркали, шипели — торопили нас, как будто понимали нашу опасность... Их было много. Не менее сорока. Раненые и больные были уложены быстро, причем таких, что нуждались в посторонней помощи, оказалось несколько десятков.

Остальные, при виде возможности спастись, нашли в себе силы и, помогая друг другу и давая один другому, взобрались сами на машины. Мы спешно подсаживали солдат, швыряли их котомки и таскали ящики с патронами, винтовки, тюки и мешки.

В полчаса все было погружено. Автомобили ушли на Сираб, Резапъ, а некоторые и дальше на Маньян, что у самого Султан-Булахского перевала. Командир Корпуса отъехал последним, и только когда грузовики миновали линию кольца, сжимавшегося вокруг нас, стал обгонять их. Кто имел силы, кричал „ура“. Усталые и измученные солдаты стремились высунуться из под брезентов, покрывавших машины, чтобы увидеть и подбодрить своего вожда.

Сираб. Знойно, а мы отступаем.

Резапъ. Ночь, и нам холодно. Мы ползем к заветным горам.

* * *

Так продолжалось два дня. Табор двигался к перевалу и рос. Из частей большие и усталые все прибывали. В Маньяне казалось уже, что чуть ли не вся пехота скопилась здесь, и полки растаяли.

Были образованы медицинские комиссии, которые здесь же под открытым небом, должны были определить, кто болен и кто здоров. Кто трус и симулянт, и кто в действительности настолько устал, что не может идти немедленно в строй.

Тщетно пытались некоторые начальники вернуть солдат в свои части. Полковник Юденич бегал среди лежащих вповалку тысяч больных и усталых людей и выискивал солдат своего полка.

— Что с тобой? — ревел Юденич.

— Большой, Ваше Высочество. —

— Ах ты, сукки сын! Бреешь...

При этом с размаху ладонью или кулаком, Юденич бил солдата по лицу, голове, — куда попало.

Я был возмущен. Заявил протест и сказал, что прикажу сейчас же врачам прекратить работу по освидетельствованию. Врачи не могут своим участием в комиссиях освящать рукоприкладство.

Я это мог сделать, т. к. по приказанию Командира Корпуса заведывал эвакуацией всей санитарной части.

Отдал распоряжение и поехал искать Баратова, чтобы остановить это безумие. Баратова не нашел — он уехал за перевал.

Юденич, повидимому, испугался и прекратил „мордобой“.

После революции, солдаты вспомнили Юденичу „Маньян“.

Но он талантлив. Перекрасился. Говорил солдатам:

— Товарищи, я ваш, из народа. Кто мне дал эти погоны? — Вы.

К тому времени, Юденич был уже генералом.

— Кто дал мне этот крест? — Вы.

Незлопамятен русский солдат. Простили и опять ходили вместе в бой.

* * *

Комиссии продолжали работу. С трудом отделяли больных от слабых и усталых. Больных и раненых отправляли в тыл — в Казвин; а кто нуждался в непрерывном лечении и отдыхе, в Садах-Абад, что на полпути между Казвином и

Аве. Кроме того, были образованы две большие слабосильные команды. Их построили колоннами и походным порядком отправили в Султан-Булах.

На флангах казаки и драгуны энергично отбивались; отходили медленно и им удалось приостановить наступление турок по линии Мамаган-Куриджан.

На Ассад-Абадских высотах турки понесли большие потери в людях и конском составе. Наша артиллерия и пулеметы с удобных позиций наносили неприятелю в течение двух дней неслыханный вред. Турецкая армия была сильно расстроена. Она продолжала преследование и по Хамаданской равнине. Но жестокий отпор русских войск заставил турецкое командование отказаться от мысли атаковать еще один перевал — Султан-Булахский. Баратов учел обстановку и быстро привел расстроенные силы в порядок. Турки остановились и наступило затишье. Штаб русских войск устроился за перевалом, в большой деревне — Аве, расположенной у дороги, верстах в двенадцати к северу от Султан-Булаха. Удобных помещений было мало, а потому часть штабных учреждений разместилась в садах, в походных палатках. Командир Корнуса поселился тоже в палатке.

* * *

Мы жили несколько дней сравнительно спокойно, после бурного отступления.

— А вы знаете, — сказал мне Баратов, — я получил телеграмму: в Энзели высаживаются прибывшие пополнения... — вздохнул и добавил: — немножко бы раньше. — Затем оживился: — По всей линии Энзели-Казвин вода в колодцах и речках заражена какою-то дрянью. Уже в Казвин ведь солдаты придут больные и усталые... Голубчик, помогите... Не могли бы вы устроить питательные пункты. Кормить их борщом, чаем и подлечить в случае нужды.

Я смотрел на этого закаленного в боях генерала, на его твердый, энергичный профиль, вспомнил Ах-Булах, наше отступление и подумал:

— А ведь ты один здесь, бедняга!

Баратов был один. Из России — никакой помощи и поддержки в течение десяти месяцев. Тыла нет. Начальника штаба нет. Помощников тоже нет.

Кругом бездарность или интрига.

* * *

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Я ночевал в Эязели. До глубокой ночи просматривал отчетные документы, составлял сметы. Устал. Лег на походной койке, а Погорелов на полу, — растелив бурку у двери. Проснулся внезапно, от странного грома и сразу не мог понять, в чем дело. Койка тряслась, барак дрожал, кто-то бил стекла. Погорелов кричал:

— Ваше Высоко... Алексей Григорьевич!

Я люблю грозу. Люблю спать в дождь и грозу. Но это не была гроза. Удары шли снизу, — глухие, отрывистые, сильные.

Я крикнул.

— Землетрясение, — и выскочил на улицу.

Все прекратилось. Было темно. Утром графиня говорит, как ни в чем не бывало:

— Поедьте в Красный Крест, надо переговорить с Павлом Михайловичем.

Сказано — сделано. Белянчиков сегодня долго возится с машиной. Должно быть, застыла за ночь. Четыре шофера гоняют „форд“ по двору, — хотят разогреть.

— А вы под горку поедите, она и согреется, — шутит графиня.

— Никак нет, может свернуть и разбиться.

Поставили на домкрат. Колесо без толку вертится. Наконец то! Графиня взбирается одна в автомобиль и ей места только, только... Я с шофером.

Рано утром — как хорошо мчаться на автомобиле навстречу свежести, новым видам, белому, ослепительному солнцу! Какой густой воздух! Временами кажется, что пенья густую, холодную влагу...

Горизонт сегодня чист. Ни облачка. Обычно-далеко, вперед, темно-серые облака, густой лес и гор не видно: они прячутся в облаках. Редкое явление — сегодня вся цепь открыта. До гор далеко, верст восемьдесят. Они темно-синие, местами черные с белыми пятнами. Издали не видно ни ущелий, ни дорог и, кажется, между нами и теми, что в Казвине, Тегеране и Керманшахе выросла огромная, неодолимая стена и что, когда под'едем мы к ней, не будет у нас сил перейти через стену эту... Жутко, но это мгновение... Мысль уже другая. Глаза смотрят покойно кругом на ровную поверхность равнины.

Камыши начинаются сразу, как только отъедем от города... Сначала тонкие и низкие, а потом большие, на много верст кругом. Охотники говорят, что здесь много дичи.

Мы ехали полным ходом, мотор трещал. На дороге лежало что-то серое. Небольшой тигр, аршина в полтора, медленно поднялся, спокойно прошел перед „фордом“ и прыгнул через канаву в камыши.

— Да это тигр, — сказала графиня.

Мы досадовали, что не захватили винтовки. Тигр был желтый, с черными полосками, но мал. Вероятно, это был тигренок. Как он попал сюда? Неужели из Мазандарана? Впрочем, ведь это недалеко. Надо будет при поездках запастись винтовками.

Вот уже и рисовые поля. Маленькие грядки весело — зеленые. Как не быть им веселыми и зелеными? Каждая грядка заботливо околена канавкой, в ней сколько хочешь воды, и, как бы не грело горячее солнце, рисовые тростники всегда имеют влагу. Кругом все свои, — такие же зеленые, тонкие тростники. Какие большие поля! Много рису в Персии. На равнинах, всюду, где можно их затонить, культивируют рис. Ведь это главная нища перса, основной продукт его торговли и государственного товарообмена.

Я дремал. Но мысль продолжала работать.

— Пшеницы тоже много. Только вывоз затруднен — дороги плохи. Дорого стоит...

Должно быть, я проспал больше часа. Проснулся на толчке — довольно ощутительном. Дорогу пересекал ручей и образовался ухаб; я со злостью посмотрел назад и послал этот ручей и ухаб ко всем чертям. Спать больше не мог. Но в общем я был доволен, что проснулся. Мы ехали лесом и здесь как раз начинались мимозы. Они росли сразу от дороги, на косогоре. Целый лес мимоз. Тысячи нестрых раскрытых зонтов, были усыпаны цветами, — чудесными, нежными цветами мимозы. Запах был пьяный. Мы уже пили восточный, душистый напиток. Торопились, как всегда, но Иван Савельевич сам замедлил ход машины. Я отломал несколько веток и дал графине, а когда давал цветы, почему то вспомнил сестру М. и князя А.

Она тоже была тонкая и изящная, как мимоза. Ей было лет девятнадцать. Из высшего общества.

Наш фронт интересный. К нам едут отовсюду и все разные, знатные... Великие князья, титулованная знать, идейные люди, искатели приключений... Были такие, что стремились погибнуть на этом „проклятом“ фронте... Погибнуть от холеры, тифов, малярии, змей, курдов. Да, были святые у нас, были и авантюристы. Были... Да как же и не быть? Экзотика, Персия. Я жил в Москве в конце пятинадцатого года. Задыхался. Очень хотелось уехать. Мог на Мурман, на крайний север — в научную командировку, а мог в Персию, на войну. Сделал же выбор! Вероятно, так и другие. Князь А. добровольно поступил в этот полк. Только что вышел в корпеты и ехал в свой полк. Стройный, красивый, блестящий, богатый...

Ехал из Баку через море, от Казвина верхом в Хамадан, в Керманшах, куда то в Месопотамию, „к черту на кулички“... В полк. В Керманшахе познакомился с сестрой милосердия М. Она с санитарной летучкой тоже ехала на позицию. Были попутчиками. Когда ехали рядом, верхом, были красивы, как в сказке. Он походил на рыцаря. А она меньше всего на сестру милосердия. На царевну из сказки об Иван Царевиче, на Удину, на молодую колдунью. Он был безнадежно влюблен в нее через час или два, как увидел. В Керманше должен был расстаться. Полк был дальше, а сестра оставалась здесь. Тосковала очень, а он страдал и горел, клялся, что скоро вернется, пришил коня и помчался... навстречу смерти.

Через два дня в лазарет в Керияде привезли тело князя, умершего от холеры, и сдали на руки этой же сестре.

Воспоминание промелькнуло мгновенно... Хотелось пить запах мимоз, но надо было ехать.

— Вряд ли проедете дальше, — говорит заведующий интальным пунктом в Рустам-Абаде. На седьмой верете всю дорогу засынало. Землетрясение. Я только что был там, с комендантом — ездили смотреть. Камней наворотило! Пропась. Ночью, что было!? Ужас! Сейчас персы очищают дорогу.

Мы поехали. Через четверть часа были на месте разрушения. Работа кипела. Рабочие-персы таскали камни, сбрасывая их налево в пропасть, а каменщики укрепляли откос у дороги сирава. Дорога была разрушена на пространстве нескольких десятков саженей и уже через час, Беляничков протасил „форд“ через место разрушения. Землетрясение было где-то далеко; мы слышали и видели только слабое отдаленное отражение большой катастрофы.

* * *

Через пропасть, через Сефид-Руд, по ту сторону реки, огромные горы. Обрывом спускается берег. Не то мечеть, не то куполообразный белый дом стоит на высокой горе. Опять легенда или сказка... Говорят, что от ударов судьбы, от шумов города ушел большой человек; живет здесь в беседе с Аллахом и дружит только с зверями. Пятнадцать лет не спускался с гор, вниз к грехам людским. Вода есть, а нищу дает земли. Нам добраться до него невозможно. Уж очень высоко и пропасть. Да и к чему?

В Менджиле ветер сорвал с „форда“ верх. Ах, этот проклятый ветер! Сосет где-то с левой стороны в бок... Тоска. А тут еще возня с верхом. Он матерчатый, с целлулоидными окнами. Порвало петли, пробило целлулоид... Пристроить не удастся. Беляничков говорит, что придется так ехать. По жаре. Мелькают грязно желтые скалы, одномерно стучит мотор. Я опять дремлю, что то начинает сниться; вдруг слышу смех Беляничкова. Что то он говорит в полоборота графине и смеется один. Скоро „генеральские погоны“.

Откуда опаснее ехать? От Казвина вниз, или отсюда вверх? Между Ляушаном и Менджилем голые неприветливые горы. Есть спуск или подъем — считайте как хотите, — зигзагообразный, кажется, в двенадцать поворотов. Шоферы прозвали это место „генеральскими погонами“. Неопытный шофер или большая машина и вы полетите в пропасть с высоты несколько сот футов. Я всегда беспокоюсь о тормозах.

* * *

Навел Михайлович Сниткин встречает, как всегда, приветливо, радостно, гостеприимно.

— Как доехали? Ну, слава Богу.

Среднего роста, плотный, по взъерошен, он улыбается. Серые ласковые глаза тоже смеются, а немножко хищный аристократический нос придает ему отдаленное сходство с Наполеоном.

— Ну пойдемте к Катерине Ивановне.

Идем. Сниткин — Уполномоченный Красного Креста; приехал в Персию раньше нас всех, и первый перевязывал раненых из под Аве, Кума и Бянгавера. У него госпиталя поставлены прекрасно, а врачами он может похвастаться. Хлебосол,

русский барин, судья, земский гласный и земский начальник у себя в Псковской, Павел Михайлович привез на этот далекий от русских границ фронт, кусочек России.

Хорошо бывать у Синткиных. Покойно. У него много друзей и его все любят. Приезжие офицеры всегда гостят у Синткиных, а за столом щебечет жена, Катерина Ивановна, и фыркает самовар.

Смотрели госпиталь, аптеку, склады, конюшни.

В Красном Кресте по преимуществу раненые. Свежее белье, хороший уход и еда. Чистота всюду. Заботливая рука и опытный глаз хозяина приметны везде. У Синткина шток сто лошадей — для санитарных транспортов и обозов: есть и верховые. Он любитель лошадей и понимает. Ласково треплет каждую, называет по имени, рассказывает какую нибудь историю. Увлекается не курдами или арабами, а чистокровными английскими.

В складах все в порядке: много перевязочного материала, дезинфекционных средств.

Наученные горьким опытом Багдадского похода — мы теперь все с запасами.

* * *

Приехал Робакидзе. Верхом. Он — уполномоченный Союза Городов. Скромный мечтательный поэт. Увлекается голубым небом и нежными красками Персии. Баратов посвятил восторженный сонет: „Мой меч“. Жалуете:

— Нет денег. Послал в Тифлис несколько телеграмм, ответа нет. Нужно платить поставщикам, служащим жалованье, а в кассе несколько туманов.

Я ему сочувствую, поэту, сочувствую всей душой, ибо я тоже в таком же положении. Перебрал займы уже в нескольких полках, у начальника дивизии... Платежки подтупаю к горлу. Послал телеграмму в Комитет: если срочно не пришлют денег, закрываю госпитали, питательные пункты. На всякий случай застраховался обещанием Командира Корпуса. Спасибо ему — не раз уже выручал. Любит солдата, а нас ценит. Приказал корпусному казначею выдать заимообразно, да и все. Оно хоть и незаконно, да всю жизнь в законы не втопишь. За то втечение двух лет войны, в работе наших учреждений в Персии ни разу не было перебоя.

Синткин, как всегда, помог и Согору. У Павла Михайловича всегда есть про черный день.

Пользуемся тем, что собрались вместе, чтобы обсудить некоторые вопросы общего для всех организаций значения. Ведь у нас работа по взаимному соглашению распределена так: у Земского Союза большой размах, широкая сеть учреждений. В его ведении больные. Их обслуживают много разнообразных учреждений. Сеть питательных пунктов. Автомобильный и конный транспорт.

У Красного Креста — главным образом хирургические госпитали.

Союз Городов принял на себя функции санитарно-гигиенические: оздоровление воды и почвы путем бактериологического исследования и постройки колодезей, дезинфекцию мест скопления войск, белья и одежды, организацию массовых прививок.

* * *

Мы в большом городе. Боевых операций нет. Почистились. Привели все в порядок. А что было в Керманшахе, Кермане и Сериале весной? Я вспоминаю

пионеров Согора, — Боголюбова — первого уполномоченного, доктора Либмана. Вспоминую страду отхода от Ханекена и общую с ними работу. Робакидзе жалеет, что его тогда не было.

— Да что вы все ходите туда, сюда, Николай Евменьевич — обращается Сниткин к своему помощнику Кулику — возьмите гитару, да пойдемте в столовую.

В соседней с нами комнате шелкают счеты, вороха бумаг... Какая то отчетная горячка. Кулик суетится и говорит с малороссийским акцентом:

— Да расписки на фураж за весь период есть, а итоги не сходятся.

— Сойдутся, раз есть — коротко режет Павел Михайлович.

— А как быть, Павел Михайлович? — не унимается Кулик — некоторые расписки написаны простым карандашом. Надо же по инструкции писать чернилами; в крайнем случае химическим карандашом.

Павел Михайлович устанавливает, что документы относятся к одному из недавних боев... Я не выдерживаю.

— Послал бы я этих инструкторов на позиции... с чернилами. Какой там химический карандаш. Есть — слава Богу, а нет, не взыщите, за простой. Хорошо, иногда, если у кого огрызок найдется, так рвем, бывало, край старой газеты, да на ней и пишем счета. С тыла, из городов — ни шинта. Денег нет, бумаги нет, ответов на телеграммы тоже нет. А то или вещи пропадут, или этот самый карандаш, как раз и не найдешь, в вещах.

Я вздохнул. Павел Михайлович улыбался. Посмотрел на Кулика и сказал:

— Слышите?

Затем встал.

— Господа, пойдемте чай пить.

В столовой у самовара сидела Катерина Ивановна, два нижегородца, кто-то из краснокрестовских. Вспоминали Петербург, театры. Говорили о балете. Хозяйка была немножко балерина; очень молода, грациозна и уже на сцене подавала надежды. Но... брак и война. Вспоминали Павлову, Карсавину, Преображенскую.

— Слыхали, Р. Владимира на шею получил — сказал Сниткин — из Тифлиса много пришло утверждений, или как их там... представлений. Надо бы проехать в штаб, узнать, да кстати и новости.

* * *

Пополнения начали прибывать. В спешном порядке нужно было приступить к открытию питательных пунктов на линии Энзели-Казвин. Эта линия была тылом и, конечно, ее оборудование надлежало сделать силами и средствами Энзелийского района. Баратов просил и настаивал, чтобы это сделал я, а главное срочно.

Разговор пропеходил в Аве. Я выехал сначала на фронт; навестил отряд Корчагиной, выяснил нужды разных учреждений и уже через сутки спокойно ехал в Казвин, чтобы приступить к оборудованию этой линии.

У Маньяна мы брали воду. Здесь фельдшерский пункт Красного Креста. Я не выходил из автомобиля. Ко мне подошла сестра милосердия и просила довести ее до Казвина. Я ехал один и предложил ей место рядом с собой. Молодая девушка лет девятнадцати-двадцати, цветущая, краснощекая, улыбалась и благодарила. Она была прелестна, хорошо сложена; ей к лицу было скромное серое платье. Золотистые волосы, голубые, голубиные глаза. Она недавно приехала. Фамилия ее Лейтланд. Она здесь с матерью — тоже сестрой милосердия. Девушка говорила:

— Когда война, женщины не должны сидеть в тылу, должны быть на фронте, облегчать страдания близких. А близкие все, все русские.

У нея был красивый, несколько певучий голос и говорила она твердо, убежденно и свое. Это, вероятно, она решила ехать на фронт, да еще в Персию, а мать, боясь разлуки, повинилась за ней. Я уверен, что это так. Девушка была образованной и интересной, и, в оживленной беседе, мы, не заметив обычно скучного пути, вечером были в Казвине. Я довез ее до Красного Креста и простился, чтобы больше никогда не увидеть.

В Казвине нужно было задержаться на два дня. Работы было много. Я забыл про сестру.

Пришел Белиничков, видимо расстроенный.

— Вы знаете, сестра Лейтланд умерла.

Я сразу не сообразил.

— Какая сестра?

Иван Савельевич посмотрел на меня с укором:

— Да та молодая, красивая, что мы из Маньяна привезли сюда.

Я стоял и смотрел на Белиничкова. Мы жили в царстве смерти и часто видели ее кругом. Вырывала она иногда и из нашей немногочисленной среды. Мы огрубели и привыкли видеть смерти. Но так разителен был контраст: Лейтланд — эта молодая, золотистая девушка и смерть. Я попросил рассказать.

— Уехала на грузовике с оказией в Дизели. Мать была там. Уже в Юзбан-чае почувствовала себя плохо. Боли и рези в желудке. Хотели оставить в Юзбан-чае, но здесь только фельдшерница, врачей нет и, конечно, уход плохой. Повезли дальше, в Менджиле, в госпиталь. Не довезли, умерла по дороге...

Похоронили в Менджиле. Впрочем, какие уж тут похороны.

Позже один из офицеров корпуса посвятил умершей панвине, но искренние слова:

„В стране пустынной и унылой
Стоит путник. Погляди:
Вот крест стоит над свежою могилкой,
Над тем, кто крест носил, в душе и на груди“.

Автор вспоминал ее в госпитале, среди раненых, молодую, прекрасную:

„Такой гармонией звучал твой голос нежный,
Что слушая его, страдалось веселей,
А под твоей косынкой белоснежной
Таилась душа, во много раз белей“...

Автор — не поэт; рядовой офицер, прошедший тысячи верст знойного пути, перенесший ранения и болезни.

* * *

Питательные пункты на линии Дизели-Казвин были открыты в течение трех, четырех дней. Оборудование было собрано в Казвине. Сотрудники тоже.

На один грузовик было погружено санитарное имущество, а на другом разместились санитары. Персонал выехал на четырех легковых автомобилях.

По возможности, стремились организовать фельдшерскую помощь. Кроме заведующего и фельдшерницы или сестры милосердия, ее заменяющей, для каждого пункта были взяты только по четыре человека. — старший, капитанармус, печник и кашевар. Все солдаты были испытаны в передовой линии. Печники уже перестроили десятки печей, а кашевары накормили тысячи и тысячи. Недостаток в санитарях должны были пополнить этапные коменданты.

Все было сделано, как намечено: немедленно, по открытии, столовые начали питать эшелоны солдат, идущих из России, на фронт, для пополнений.

Успели во время. Бобринская сердилась, что без ее ведома начали новую работу.

Наспех, не как следует! Да еще в тылу — не на фронте!

Телефограммой вызвала меня из Менджки в Энзели, а когда я приехал, обдала холодом. Было крупное объяснение.

Поехали по линии: на первый пункт — Имам Заде-Гашим — не взглянула, на второй — Рустам-Абад, — только посмотрела, не выходя из автомобиля, а на третьем, в Менджке, уже осматривала все подробно: кипяильники, печи, пейхауз, прелестный покой, почлежки и столовые — как раз во время раздачи пищи проходящему эшелону.

В Юзбаш-чае пила чай, разговаривала с сестрами милосердия, а в Казвин пришла веселая. В Аве — Баратову сделала кислое лицо:

— Это тыл и, ежели Вам что нужно, благоволите обращаться ко мне.

Баратов обещал, но выразил радость, что питательные пункты уже открыты.

* * *

После отхода от Хамадана было много солдат, нуждавшихся в кратком отдыхе. Недалеко от фронта предстояло организовать центральную временную станцию для усталых. Везти их в Казвин, на неделю, — нет смысла; ведь все равно потом идти на фронт, обратно, пешком.

У нас не хватало перевозочных средств, а у солдата сил.

Мы искали помещение для такой станции — за перевалом, недалеко от дороги. Мы осмотрели все окрестности Аве, Султан-Булаха и Новенда — нигде ничего. Спустились к югу.

Я опять увидел черные железные столбы Индо-Европейского телеграфа. Я встречал эти столбы у Новороссийска, Батума, в Закаспии, а теперь и в Персии. Какой гигантский труд! Пол-мира опутано черной живой проволокой. Белые фарфоровые стаканчики блестят на солнце, провода гудят, играя с ветром, и хочется подслушать, что говорит скрытая в них таинственная сила. Над моей головой кружило два ястреба.

— Вот, проклятые, — услышал я голос Погорелова. Я взял винтовку из автомобиля, прицелился и выстрелил. Подстреленная птица упала, как камень, на землю. С резкими криками кружился ястреб над местом, где лежала убитая птица. Ястреб рыдал над убитой подругой, беспомощно кружа над ней, задевая землю крылом.

— Зачем я убил ее?

Мне стало мучительно стыдно.

С тех пор я никогда больше не охотился.

* * *

На шестьдесят шестой версте от Казвина, у самой дороги, мы увидели огромный желтый квадрат. Высокие глинобитные стены. Стучали в ворота нещадно. Погорелов перелетел через стену, но и изнутри открыть ворот не мог. Новидимому, никого во дворе не было. Через полчаса с помощью солдат ворота были открыты. Это было брошенное на снех ханское поместье. В нем не было ни души. Из за

перевала, через горы напрямик, сюда верет двадцать, а по шоссе пятьдесят. Боялся хан приближающиеся войны; велел всем уходить; женщины, слуги и скот — все было поспешно увезено в другое имение, южнее и подальше от дороги. Богатое поместье и большое, видимо, было в нем население. Это не село и не двор. Городок-крепость. У высоких желтых стен расположены комнаты; их много, без конца — маленькие и большие, но преимуществу маленькие. Комнат всех около четырехсот. Потолки — рукой достать, земляные полы, изредка побеленные стены, незатейливые украшения.

Погребы, подвалы и подвальныечки; закрома, чуланы и чуланчики, ямы для хлеба — разной формы, разных размеров, длинной вереницей тянутся вдоль южной и западной стен этого своеобразного строения. Двор — огромный. Во дворе — много воды, большие конюшни, запасы дров, сена, саману.

Не успели вывезти. Мебели почти нет — увезли. Всюду следы поспешного отъезда: мусор, обрывки бумаги и тряпок. В одной из комнат эрдерама Погорелов нашел небольшой портрет молодой персиянки, с узким, овальным лицом и большими черными глазами. Повидимому, портрет обронили. Поместье было новое, рассчитанное на большую семью и дворню. Как раз то, что нам нужно.

Целую неделю мы перевозили больных, инвентарь и запасы. Здесь были открыты здравница и распределитель. В новых складах мы держали много санитарного имущества на случай быстрой переброски на фронт, для боевых операций. Здесь же на легкой работе или в резерве отдыхали наши утомленные сотрудники.

* * *

Проезжие любили останавливаться в Садах-Абаде — передохнуть несколько часов, а то и день. Мы приглашали Баратова.

— Слышал, что у вас там не то крепость, не то рай земной. Как же, приеду... только когда? — Посмотрел в полевую книжку. — В четверг.

Условились в четверг.

Из Казвина привезли повара Мехти, который должен был показать разные кулинарные чудеса. К приезду такого почетного гостя готовились. Я был за перевалом, в Мамагане у Корчагиной и к вечеру должен был захватить в штаб за Баратовым, чтобы вместе ехать в Садах-Абад. Ехать нужно было на автомобилях верет сорок.

Я застал Баратова несколько озабоченным.

— Какая досада, я боюсь, что сегодня не удастся к вам проехать; будет очень поздно.

— ?!..

— У меня срочное совещание с начальником штаба, да еще с двумя приехавшими. Да вы их знаете. А что, если...

Я понял его мысль.

— Вы, Ваше Превосходительство, пригласите всех к нам. Там и переговорите. Выход был найден.

Через четверть часа большая серая машина командира корпус и мой маленький жук — „форд“ катили по извилистому и волнистому шоссе из Ане в Садах-Абад. Санитары выстроились и, улыбаясь, кричали на приветствие Баратова:

— Здравия желаем, Ваше... ствooo!..

У ворот стояло несколько персов — глазели на белую паначу Баратова. Откуда они взялись? Место было пустынное. Разве из караван-сарая, что напротив?

Приезжие удалились на совещание. Я не был на нем, но позднее узнал, что на правом фланге, у Биджар назревала новая операция. Курды вели себя крайне вызывающе; между русскими войсками и курдами происходили недоразумения. Генерал и полковник приехали оттуда с докладом и просили указаний.

Совещание кончилось поздно. Ждали ужинать. Стол был приготовлен в небольшой с низким потолком комнате, человек на десять. Одна из стен в этой комнате была стеклянная. Стену составляли большие окна — во всю высоту комнаты, с тонкими изогнутыми, различной формы рамами. Вверху окон стекла были разноцветные, из небольших кусочков — красных, синих, зеленых, желтых. Преобладал красный цвет. На полу лежал большой султан-абадский ковер.

За столом сидели долго и, по обычаю кавказской армии, без конца приветствовали друг друга. Мехти действительно оказался артистом. Рис белый, рис желтый, рис красный и еще какой-то, и еще что-то. Казалось, ужин никогда не кончится. Около Баратова поставили большой пирог. Хозяйка предложила почетному гостю разрезать его, составившись на традиции восточного гостеприимства.

Пирог был на большой квадратной жестянке. Он был золотистый, отлично запечен и казался с виду необыкновенным пирогом. Баратов придавил ножом верхнюю корку, как вдруг... из пирога вылетела птица. Затрепыхалась, заметалась над головами сидевших, и стала биться об стеклянную стену. Уцепилась коготками за выступ оконной рамы и беспомощно повисла на изломе узора стекла. Это был скворец. Никто не ожидал такого фокуса. Стало оживленнее и шумнее. Шутка имела успех. Спорили, выпускать на волю или нет. Говорили, что если выпустить сейчас, — улетит от нас веселье, от женщины счастье. Начальник штаба просто сказал:

— Выпускать нельзя — темно, и скворец заблудится.

Это был самец, взятый в одном из гнезд Садых-Абада, а самка потеряв друга, верно тоскует по нему... Выпустили.

Был среди нас случайный гость, проезжий офицер. Мы его хорошо знали. Жестоко страдал малярией и ехал из полка в Казвин, в госпиталь. Его пригласили к столу. Не хотел идти, но соблазнившись с командиром корпуса за ужином вместе, взял вверх, и полковник сидел рядом с нами. Его, повидимому, немного трясло. В конце ужина он попросил разрешения встать и вышел. У себя в комнате он решил выпить соды; насыпал чайную ложку белого порошка в стакан, налил воды и стал взбалтывать. В комнате было недостаточно светло — он проделывал все при свете огарка. По ошибке выпил хинин, вместо соды, и отравился. Давали рвотное, но уже на другой день, полковник ничего не видел, а голова, как он говорил со слезами в голосе, странно шумела и готова была разорваться... Врачи заявили, что надежда на возврат зрения не потеряна и немедленно отправили его в Россию.

* * *

К осени шестнадцатого года, все организации — Земский Союз, Союз Городов и Красный Крест — значительно выросли, пополнив свои ряды новыми работниками и получив много имущества из России. Дизели стали мощной базой с большими складами, а Казвин — административным и хозяйственным центром. Здесь помещались самые большие и хорошо оборудованные госпитали, мастерские, склады, аптеки, общежития, лаборатории. Казвин жил кипучей жизнью: здесь производилась формовка из солдат, идущих на фронт для пополнений, сортировалось имущество.

Здесь же были сосредоточены корпусные центры — разнообразные управления, заведения и учреждения. Кроме того, здесь находились, независимо от кор-

пуся, — Управление Дизели-Тегеранской дороги, Отделение Учетно Ссудного банка Персии и другие русские учреждения, бывшие и в мирное время. В общем, образовалось значительное русское общество. Баратов, стремясь объединить и оживить его, принял меры к устройству лекций, докладов, спектаклей, концертов и благотворительных вечеров. В большом зале дома Дизели-Тегеранской дороги собиралась аудитория в пятьсот-шестьсот человек. Присутствовали и солдаты из местного гарнизона. Вечера эти имели большой успех, так как в докладах возбуждались интересные вопросы — главным образом о войне, ее причинах и последствиях. Приобщение к культурной жизни и скромные развлечения в виде оркестра музыки, корпусного хора и танцев, оживляли еще больше Казвин и скрашивали жизнь тех, кто, приехав с фронта, временно находился в городе.

* * *

Ввиду предполагавшихся операций у Биджар, Командир Корнуса просил организовать сеть питательных и медицинских пунктов на новом направлении, сохранив, однако, все существующее. Это было в октябре. Пополнения все время прибывали и усилились особенно к осени. В связи с общими оперативными планами Ставки, значение Персидского фронта выросло. Из России приходили свежие части. Предстоящие операции требовали некоторой перегруппировки войск. Из Казвина отряды должны были идти на Снаде-хан, по шоссе, а потом свернуть в Зенджанскую долину по грунтовым дорогам на Керве, Хейр-Абад, Зенджан, Хаин и Биджары. Расстояние более трехсот верст. За Зенджаном дороги идут по склонам гор, в ущельях, в трудно проходимых лесах, превращаясь то в тропы для вьючных животных, то только в тропинки для пешеходов. Нужно было спешно оборудовать линию Снаде-хан — Хаин. Мы открыли шесть фельдшерских и питательных пунктов и большой врачебный приемник в Зенджане — в течение недели. Отныне на всем пятисот верстном пути глубины и такой же ширины фронта, через каждые двадцать пять — тридцать верст, войска имели горячую пищу, кипяченую воду и медицинскую помощь.

* * *

Была глубокая осень. Ехали по грязной дороге, по ухабам и рытвинам. Местами в автомобиль впрягали лошадей, чтобы вытащить из грязи. Чем дальше от Снаде-хана, тем больше ширилась долина: цепи гор становились выше, и казалось, что опять приехали в новую сказочную страну. Долина большая — верст двести в длину, сорок-пятьдесят в ширину. С двух сторон горные цепи синеют в утреннем тумане, а октябрьское солнце, не жаркое и бесстрастное, щедро обливает золотом и вершины гор, и их склоны, и речки, и зелень, и дороги, и нас... Свежо и светло...

Как пестры горы в этой долине! Октябрь — а сколько зелени! Осень — а сколько света! По склонам гор с обеих сторон зелеными пятнами разбросаны деревни, а сама долина утопает в высокой траве, огородах, садах. Бурию и в изобилии текут воды с гор в Зенджанскую долину, и нет им застоя, ибо наклонная эта долина: ручьи образуют причудливые речки, озера, узорчатые заводи и все это богатство красок жизни — зелень, цветы и стаи птиц над озерами. А подъезжая к Зенджану, за много верст, с дороги еще, видно грандиозное куполообразное здание. Но это не в Зенджане. Это левее и ближе. Это Султанье. Отсюда

до Зейджана верст тридцать пять. В утренней дымке огромным и непостижимым кажется сплут этого храма, а вечером, когда от гор бегут тени и вся долина чернеет, он кажется страшным. Он доминирует над долиной, Зейджаном, горными цепями... Он стоит в долине, недалеко от левого хребта, и кажется, что он выше всего, что он живой, и старше всех этих бездушных гор, деревен и садов...

От Зейджана к Султанне изрядный крюк. Поехали напрямик без дороги.

— Держите прямо на этот сказочный храм.

Объезжали реченки, канавы, тонн. Добрались с трудом к вечеру. Здесь у меня приятели — купаки *) северцы. Как я рад, давно их не видел. Султанне — жалкая, желтая деревушка. Оборвыши дети на площади у храма, несколько ослов у глиняного забора, на повороте в переулоч. Вот и все. Стало темно и пришлось идти спать. Султанне — деревня, и здесь нет фонарей и ночного шума. Стало темно — стало мертво. Лупы нет. Звезды не так ярки, как на юге, а потому света от них почти нет. Уже не видно ни храма, ни гор, ни домов... ничего. Этого даже не чувствуешь, об этом только знаешь.

Знаешь, что где-то, поблизости, есть этот храм, деревня и горы, но где? В темноте.

Пустынно и жутко.

Утром, уже со двора, где мы ночевали, с бугорка, видно все Султанне и его окрестности. При дневном свете, Султанне совсем убогое. В трех или четырех местах его окрестностей — развалины старинных построек. Не то храмы, не то гробницы. Храм — в центре, а между ними — пространство верст пятнадцать, если не больше. Пространство это мертвое — песок, поросли, камни... Около храма — площадь, а когда стоишь внизу, у почерневших камней степ его, и смотришь вверх, то фуражка падает с головы. Очень высоко. Что это? Старинная мечеть или гигантских размеров гробница? Внутри ее — впечатление еще более сильное. Часть верхнего свода пробита и видно синее небо, а на карнизах внутри здания растет зелень, деревья. Сводчатый потолок украшен нестрой и яркой мозаикой. Ей сотни лет, но золотые пятна блестят и горят, и хочется просить их рассказать нам историю храма, гробниц и их гибели.

Легенда гласит:

— Когда мудрость Пророка poznали в Иране, не жалели и правители, и казна и кучи средств на создание домов Божьих. Строили храмы большие и малые, украшали их с любовью, величием. У самых гор лежал богатый город, большой, во всю длину горного хребта. В середине города построили правоверные храм — великан, а, вдоль гор, в городе были еще и малые храмы и часовни. Любили верующие и влажную тень дворов и их торжественную тишину богослужения.

Город постигло несчастье. Из-за гор, неведомо откуда, пришли несметные войска чужеземцев и палили на мирный город. Все предали огню и мечу. Перебили стариков и детей, молодых женщин увели с собою в горы, в рабство. Сожгли и разрушили город. Только не могли разрушить храмов Божьих и они остались единственными свидетелями прошлого...

Правда это или вымысел? Уцелевшие разбросанные постройки несомненно подтверждают, что здесь был когда-то большой город.

Султанне деревня.

Султанне древности — огромный город. Монгольские завоеватели Персии, в четырнадцатом веке создали Султанне, как свою резиденцию, и в течение всего тюркского владычества Султанне был столицей покоренного персидского государства. Тамерлан в Султанне держал большую казну и не жалел денег на украшение

*) Приятель.

города. Он развивался и сказочно рос. Надгробный памятник шаха Муххамеда-Кодабенды свидетельствует и о богатстве и совершенных формах архитектурного искусства эпохи.

Храмы, часовни, гробницы — памятники прошлого!

Что разрушило город? Воля злаи людей или всеокрушающее время?!

* * *

Как я рад! Вот спасибо! — говорил командир корпуса. — Да ведь это чудо, что они сделали! Как будто Великий Шах-Абаз нарочно строил эти кирпичные караван-сарай для наших раненых и больных. Ваши доктора, супруги-Житковы превратили у нас в Аве грязный, заброшенный караван-сарай в великолепный госпиталь. Передовой лазарет на двести кроватей. Я не нарадуюсь. А тут еще много говорят про отряд Корчагиной. Прямо чудеса рассказывают. Ведь они с казаками? У Радаца! Лечат наших, пленных и все местное население. Персы в восторге. Это особенно важно. Вы знаете, меня еще в Керманшахе губернатор благодарил за помощь, которую земцы оказывают персам. Ведь у них медицины никакой. Кстати, а где тот врач — Ахмет-хан, кажется, перс, что работал с Вашими в Керманшахе? Правда, что Вы приворожили персидских студентов-медиков и они у Вас работают в лазаретах?

— Да, работают... В Казвине, двое... те, что с нами эвакуировались из Хамадана... Хорошие студенты. Ведь для них практика!

В Аве, в лазарете все выделено, в залах у стен — койки, а внизу использованы под вспомогательные учреждения и помещения персонала... Никни завешены материей или забиты досками — подобие комнат. Кельи в старом монастыре или камеры в тюрьме. Сводчатые потолки, тесно, темно и сыро...

Как подвижники, живут здесь несколько идейных тружеников, пришедших на фронт. Строгие лица, низко спущенные косынки у сестер милосердия... В палатах изредка стоны и вздохи раненых и больных. Во дворе тишина. Здесь все очень серьезно, ибо близок фронт, близка смерть.

* * *

— В Мамаган в автомобиле не проехать, грязь, — говорит кто-то

— Ну что ж, доедем до Курджана или Рахони, а оттуда верхом. Только вот, где лошадей взять? Послали Корчагиной телефонограмму, чтоб выслала лошадей?

В Мамагане стоял отряд Корчагиной. Их было человек семь, не больше, а обслуживали они целую дивизию. Мамаган — грязная деревня: казалось непостижимым, как это сумели создать здесь такой чистый лазарет, аптеку и перевязочную. Да, — здесь испытанные фронтовые работники — сама Корчагина, Дьяковская, Ливен. Это они рвались всегда на фронт, работали, не зная отдыха, заслужив всеобщую любовь. Корчагина приехала из Москвы в шестнадцатом году молодым врачом. Неходила всю Персию, работала с Вичераховым под Багдадом. Ее сотрудники на подбор. Живут идеей и страстью к путешествиям; они умеют работать, любить, пережить лишения и умирать. Корчагина — женщина, но уехала из Персии с полным бантом. Здесь и светлейшая княжна Ливен. Она нашла свое призвание. Не администрирует больные, а сидит у постели больного. Больная и светлая — она, как свитая. Голубые глаза смотрят кротко и серьезно, а новые

складки у верхней губы делают лицо печальным, почти скорбным. Больные слабают стихи про нее, наивные и искренние, называют святой, а когда говорят о ней, то понижают голос.

Мы уже осмотрели все. Я слышу музыкальный голос доктора — Дьяковской. — Хотите чаю? Вы наверное проголодались!

Благодарю за чай и вспоминаю Анну Сергеевну в Кянгавере, — в хлопотах по лазарету, — покойную, ровную и всеми любимую.

Мы вспоминаем, как ехали вместе на тарантасах из Хамадана в Кянгавер. Тарантас кидало на ухабах, а на перевале все казалось, что он опрокинется и мы упадем в пропасть. На крутых поворотах она вскрикивала, а я смеялся... Но какую школу прошла за это время Анна Сергеевна! Мы сидим у стола, пьем чай с персидскими лепешками и смеемся опять... Громче всех Белянчиков. Его смех заразителен и заглушает всех.

* * *

Мой заместитель, Евгений Викторович Дунаевский — фигура незаурядная. Умный, образованный и культурный. Он в отряде почти с самого начала. Он хорошо знает его историю, всех сотрудников. Красивый, спокойный, почти флегматик — он по характеру своему похож на перса. Недаром с турецкого фронта он стремился в Персию. Он подходит к Персии. Цепитель красоты и искусства, теософ — влюбленный в Восток и Индийскую мудрость — Дунаевский принял Персию, как вторую родину. Он полюбил и жаркое солнце, и пряную прохладу ночей, и своеобразие унылой природы Прана, и синие дали и тени от горных громад. Он поклонялся Персии. Созерцал ее. Работал и созерцал.

Его уважали за ясность ума, выдержку и такт. Он пришел к двору и в Корпусе и в Земском отряде.

— Из Керманшаха телеграмма. Илья Рысс тяжело ранен.

— Что Вы говорите? Где и как?

— Да вот, посмотрите.

Дунаевский показал телеграмму. Из Керманшаха сообщали:

— На колесный транспорт Земского Союза, в пути по дороге в Кермид, напали курды. Есть убитые. Ранен заведующий транспортом Рысс и несколько санитаров.

Неприятно. Транспорт для перевозки больных и раненых был образцовый, а Рысса я очень любил... Темпераментный, энергичный, любитель приключений, Илья Яковлевич Рысс ни за что не хотел сидеть в тылу. Рвался на фронт и просил дать ему самостоятельное и опасное дело. Дал. Рысс замерзал на перевалах, погибал от жажды на пустынных дорогах Персии; но ему везло — вывозил раненых и больных из забытых и опасных мест необъятного фронта, не теряя ни людей, ни имущества.

А теперь вот — сразу пять ранений.

Бледный, с забинтованной головой, руками и ногами, он пытался улыбаться.

— Ну что, Ильюша? Больно? Ничего, скоро поправитесь. Говорят, Вы мастерски отбивались от курдов. Сколько их было?

— Чертова куча. Человек пятьсот, — а нас пятьдесят. Проклятый дервиш. Перед выступлением в Керманшахе около двуколок вертелся какой-то дервиш. А потом исчез. Его видели во время нападения среди курдов. Он, вероятно, был послан для связи — курдами. Он и предупредил. Он и двуколку указал — ту, где был денекший ящик...

Через пару недель Рысс ходил уже на костылях.

Его навестил Баратов и наградил георгиевским крестом.

— Я уже совсем здоров, — говорил, прихрамывая Илья Яковлевич, — разрешите ехать к транспорту.

* * *

К зиме шестнадцатого года, общественные организации обслуживали все многообразные стороны жизни войск. От самого глубокого тыла, от Дизели, до передовых позиций и в ширину фронта от Сенне до Кума, и за Кум, мы раскинули сотни наших учреждений, поддерживая живую связь на этих огромных расстояниях автомобилями, конными, колесными и вьючными транспортами. У нас были госпитали, амбулатории, аптеки, лаборатории, склады продуктовые, хозяйственные и медицинские; зуболечебные кабинеты, прививочные отряды, всевозможные мастерские, гаражи, бани, прачешные, хлебопекарни, питательные пункты, столовые, постельки и общежития; чайные, фельдшерские пункты, дезинфекционные отряды, обозы и транспорты. Всего не перечислить. Войска ценили работу общественных организаций и любили их. Командир Корпуса неоднократно отмечал работу их в приказах *) и награждал руководителей и сотрудников орденами. Вот выдержки из приказа генерала Баратова отдельному Кавказскому Кавалерийскому Корпусу № 33 от 8-го февраля 1918 г.

— Одновременно с нашим корпусом войсковым, пришел в Персию и работал на нашем фронте и с нами заодно, не покладая рук, и другой самоотверженный корпус — Всероссийских Общественных Организаций — Красного Креста, Земского и Городского Союзов, причем 25-й врачебно-питательный отряд Всероссийского Земского Союза всегда особенно горячо и отзывчиво шел навстречу всем моим требованиям, желаниям и нуждам войск корпуса, в святом деле помощи нашим раненым и больным воинам...

— Я до конца моей жизни всегда буду с любовью вспоминать, как перед началом каждой боевой операции никто из врачей, сестер и санитаров не хотел оставаться для работы в тылу, а все стремились в летучие отряды, как можно ближе к бою и опасностям, как можно ближе к нашим передовым бойцам; особенно рвались вперед наши самоотверженные сестрицы. Достоинство особого внимания и признательности всех войск и чинов Корпуса то обстоятельство, что этот прекрасный земский отряд умудрялся протягивать сеть своих учреждений и питательных пунктов на всю ширину и глубину расположения и движения войск Корпуса, превосходящую все установленные обычные до сего времени нормы: от Дизели почти до самого Багдада. Отдельные летучки, перевязочные пункты, транспорты этого отряда неоднократно работали под действительным не только артиллерийским, но и ружейным огнем. Целый ряд раненых и погибших смертию славных на поле брани чинов отряда ярко свидетельствует о самоотверженном духе всего персонала славного Земского Союза. Вечная память погибшим за родину труженикам! Честь и слава всем живым! Растваясь в настоящее время со всеми светло-боявыми сотрудниками 25-го Врачебно-питательного отряда Всероссийского Земского Союза, вследствие его расформирования, прошу всех земцев... принять от меня и от лица всех вверенных мне войск, нашего доблестного, родного Корпуса великое, сердечное, русское спасибо, за самоотверженную работу на нашем многострадальном персидском фронте.

*) — Приказ 1-ому Кав. Кав. Корп. № 70 от 20 окт. 1916 г.

— Приказ тому же Корпусу № 34 от 24 марта 1917 г.

— Приказ Отд. К. К. К. № 33 от 8 февраля 1918 г. и многие другие.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ШОФФЕР БЕЛЯНИЧКОВ

В самом начале шестнадцатого года наш гараж в Казвине разместился в церковной ограде походной корпусной церкви. Другого помещения найти не удалось. Начальник гарнизона и заведывающий расквартированием, после долгих уговоров, наконец, согласился, чтобы автомобили поставили во дворе, а шофферы и канцелярия разместились в трех комнатах, смежных с церковью. Шофферы почти все были менпопты — скромные, трезвые и трудолюбивые. Автомобили привозили раненых и больных из Кума, Султан-Булаха и наша работа уже начала пользоваться доброй славой.

Я только-что приехал с передовых позиций и, сидя в одной из комнат гаража, — занимался. В углу комнаты, где стояли походные койки, несколько шофферов вели оживленный разговор. Я услышал громкий раскатистый смех. Посмотрел и увидел слезулы шофферов. Один рассказывал что-то особенно интересное и после каждой фразы заливался живым заразительным смехом. Я был утомлен, счета мои не сходились, нервничал. Я резко заметил:

— Прошу потише, мешаете заниматься, да к тому же рядом за дверью церковь.

Смех прекратился и все замолчали. Мне стало сразу неловко. Зачем я так резко оборвал его? Я подошел к группе и возможно мягко объяснил мое поведение.

— Как ваша фамилия, — спросил я шоффера, который так замечательно смеялся.

— Беляничков. Извините, что я вам помешал. — И очень смущенный опомкался еще что-то, что хотел сказать.

* * *

С тех пор прошло семь лет. Мы много пережили вместе с Иваном Савельевичем Беляничковым на персидском фронте. Он стал мне близким, одним из самых близких на свете людей. Промчалась бурные годы гражданской войны; я оторвался от России и видел за все эти семь лет много разных разностей: и вещей и людей. Промелькнули портреты сотен и сотен людей, но неизменно благороден и целостен

предо мною образ этого рабочего, борца, философа и замечательной души человека. Потом уже, когда мы сдружились, мы часто вспоминали с Н. С. сцену нашего первого знакомства в доме корнусной церкви.

* * *

Выше среднего роста, под сорок, блондин с голубыми глазами, в сапогах и в неизменно черной кожаной куртке, Беляничков уже через полгода по приезде в Персию был одним из самых популярных людей на фронте.

Он исколесил огромные пространства, сделав на автомобиле свыше ста тысяч верст. Его „форды“ ходили по невероятным дорогам и забирались туда, куда не всегда рисковали ездить повозки, двухколки.

Он управлял машиной с геометрической точностью, шутя преодолевая высокие подьёмы, снежные запасы, непролазную грязь, стремительные реки, каналы — словом все естественные свойства персидских дорог. Он был энергичен, неутомим и мужествен.

* * *

Мы отходили от Хамадана. На дорогах, в столбах пыли была суета. Измученное месячными боями, в зное гор и долин Персии, войско превратилось в беспорядочную толпу людей, уходящих куда глаза глядят. Особенно тяжело было положение больных и раненых. В Курдджане мы были взяты турками в плен — всем нам грозил плен. Беляничков, не смыкая глаз, несколько суток, по своей инициативе вылетал на „форде“ за линию сторожевого охранения, из под носа у турок, под свистом пуль, вырывал раненых, подбирал их на поле сражения, развозил воду и сам поил умирающих от жажды и утомления людей.

* * *

Под Хамаданом, Керманшахом, Биджарами и Сенне, офицеры и солдаты знали маленького, черного, потренированный „форд“ и его шофера. Внезапно спустившись с крутизны, старая разбитая машина, подъезжая к этапу или караульному посту, с шумом описывала полукруг и останавливалась, как вкопанная, по воле Беляничкова. Солдаты гурьбой бежали к нему за новостями, за газетами. А рассказывать он любил и умел. Он передавал самые простые, тоскливые новости дореволюционного времени умно и занимательно. Слушатели бодрелись, угасающая вера разгоралась вновь и начинала теплеться опять надежда. Вы помните, как безнадежно было наше положение в шестнадцатом году?

Война, казалось, не кончится никогда. На всех фронтах нас били. Снабжения армии не было, а тыл и власть бездействовали и безобразничали. Теперь представьте себе раскаленную пустыню летом за тысячи верст от родины, или буйно-снежную зиму на высотах Биджар или Султан-Булаха и на ней несколько десятков солдат этаким командой.

Тоска и безнадежность.

Приезд Беляничкова летом — живая струя прохлады в этой знойной пустыне; зимой — теплый солнечный луч среди стужи и холодного мрака в горах. Радость несказанная, почти счастье, для этих солдат приезд Беляничкова с газетами, новостями и умением передать так, чтобы подбодрить измученных людей.

Беляничков всегда выглядел бодро. И под огнем, и в тылу, — когда перевозил холерных, тифозных и раненных. В его работе, стремлении к добру чувствовалась жажда подвига, жажда внутреннего, потребность органическая, искренняя, во вне не подчеркнутая, незаметная.

Популярность и слава портит людей. Беляничков не замечал ни популярности, ни того огромного уважения, которое он внушал к себе. Уже в восемнадцатом году, когда войска уходили с фронта, и все огромное пространство, занимаемое русской армией, было очищено и сделалось ареной добычи воинственных племен, шаек разбойников, Беляничков спокойно и свободно раз'езжал по всей Персии. По дороге Керманих-Хамадан-Казвин этапы были сняты; войска ушли; в этих городах оставались только небольшие гарнизоны для охраны вывозимого в Россию имущества. В течение двух слишком лет на дорогах было спокойно; при отходе же войск, разбойничьи шайки стали нападать на одиночных солдат, на транспорты, автомобили и даже на небольшие отряды. Весна восемнадцатого года была очень тяжела. Около Новенда разбойники напали на один из наших автомобилей и зверски убили шоффера и троих пассажиров — наших сотрудников. Тела их были брошены на большой дороге, а потом подобраны каким-то проходящим отрядом. Решено было привезти убитых в Казвин и похоронить на кладбище. Нужно было выехать за сто слишком верст, подвергаясь серьезной опасности. Я был в Тегеране; получил телеграмму о несчастии и о том, что Беляничков выехал за телами. Через три дня мы предали их земле в торжественной обстановке.

* * *

А когда до фронта докатились первые волны революции, Беляничков затрепетал, загорелся и, не бросая своего прямого дела, отдался сначала политическому воспитанию масс, а потом, когда революция углубилась, силой своего авторитета удерживал во имя этой же революции солдат на фронте. Он уже и председатель своего комитета и член обще-армейского и делегат на разные съезды в Тифлис и Петербург. Сдержанный, постепенно загорающийся оратор, он простотой своей, живой искренностью и близостью к рабочим и крестьянам всегда бывал понят им лучше, чем красноречивый адвокат-прапорщик или азартный комиссар. Серая масса чувствовала в Иване Савельевиче своего. Принимала его тем незаметным верхним чутьем, которое есть у народа, ибо он всегда знает, кто это говорит с ним — „свой“ или барин.

Барина из интереса слушают. Красно говорит. А доверяют своему. Беляничкову доверяли, что бы он ни сказал. И Беляничков знал про эту внутреннюю сильную связь с солдатом. Когда наступила бурная пора на фронте, после октябрьских дней, Иван Савельевич бросил политику. Он знал уже, что настроение масс изменилось. Что остановить их не может ничто. Что проснулась стихия — сильнее долга, слова убеждения, воли человеческой. С большей страстью стал работать Беляничков для больного и раненого солдата.

— А что, Иван Савельевич, не надоело ли Вам за рулем сидеть?

— Нет, Алексей Григорьевич, не надоело.

— Вы бы взяли работу поответственнее... Ну, заведывание мастерскими, гаражем, что-ли?!

— Нет, Алексей Григорьевич, чего уж там, пускай другие заведывают.

— Да мне Довжиков все жалуется: помощников у него нет. Вы бы взялись.

— Да что вы? Это он так. Ведь у него дело идет хорошо!

Заведующий автомобильной колонной Зомского Союза, инженер А. Д. Довжиков поставил свое дело прекрасно. Автомобили в порядке. Мастерские в ходу. Запасных частей сколько угодно.

— И чего это Белиничков все за рулем сидит? Я ему Хамаданский гараж предлагаю. Отказывается. Вот чудак!

Отказывался постоянно и упорно. Почему? Знаю, — ответственности не боится. С делом справился бы. Шоффер получал очень небольшое вознаграждение. Должности, которые ему предлагались, оплачивались значительно выше. В чем же дело? Не знаю точно, не пришлось узнать, но думаю:

Любил жизнь, природу и свободу Иван Савельевич больше всего. Что ему власть и почет, деньги и внешнее благополучие. Вместо серого пыльного города, — вечное движение, смена красок и людей. Больше видеть будет душ человеческих.

Зорко надо следить, сидя за рулем, — но иногда сотни верст непрерывной ровной дороги — и Иван Савельевич мыслит, грезит наедине с собой.

Иначе, откуда же эти философские мысли, эта тонкая духовная культура и внутреннее благородство у рабочего, слесаря и шофера? Откуда это огромное духовное богатство, переросшее уже запросы обыкновенных культурных людей? Наши запросы. Мои, ваши...

* * *

Петербургский рабочий, слесарь, в двадцать лет от роду, является одним из виднейших работников революционной организации и вожакom рабочих масс. Его друзья по партии. — партийная аристократия, — видела в нем выдающегося сознательного рабочего и будущего руководителя широкого рабочего движения и революции.

Он имел счастье познать любовь высоко благородной, интересной и красивой женщины и стать ее мужем. Одной из самых интеллигентных и интересных женщин тогдашней России. Ясно, судьба баловала его.

Он изучал Маркса, Бакунина, Плеханова, Михайловского, увлекался вопросами материалистического понимания истории, диалектической философии, роли личности в истории, аграрным, программными разногласиями, тактическими и организационными.

Он был воплощением организованной материи и энергии, провозвестником грядущей революции. Но он не захлебнулся водой этих разностей — мудрых вопросов, почестей, массы занятий, личного счастья. Он продолжал учиться. Тьерма дала ему время, а следовательно и возможность. Изучая экономику и политику, он естественно столкнулся с идеалистическими теориями, философией, с вопросами религии. Его уже стали интересовать религиозные концепции, категории Добра и Зла, философии древних и в особенности философия Востока.

Литературу и древнее искусство он знает великолепно, поэзию русскую и переводную иностранную отлично, и во всем этом — и в искусстве, и поэзии и литературе его мало интересует форма изложения, стих, орнамент или рисунок... Он смотрит глубже — в сокровенный смысл стиха, картины или образа. Он видит то, что доступно нам лишь после внимательного изучения и размышлений.

От материалистического он переходит к кристаллам идеалистического и это идеалистическое воплощает в жизни. От нереального видимого он обращается к реальному невидимому, вечному. Это вечное — говорит он, живет внутри нас. Его нужно ощутить и познать.

Малое он легко отделяет от большого. В малом он уступчив и мягок, в большом тверд и непреклонен.

Он религиозен, он мистик. Бог — это правда, мудрость, любовь. Сияющим светом, щедрой рукой он расточает вокруг себя и правду, и мудрость и любовь. Действенным словом и самым делом.

Он живет весь в мире высших идей и тончайших ощущений.

* * *

За двадцать лет до революции он страстно мечтал о ней и боролся в первых рядах. Когда она наступила, он загорелся старыми идеями, но вскоре почувствовал, что перерос их. Идеи революции — реальны. Социализм — религия материи — а не духа. Социализм лишь средство для достижения идеалов совершенствования духа человеческого. Как грандиозную идею, воплощаемую в жизнь, принял Белянчиков и коммунизм. Принял, как средство к исканиям святой цели. Но практический коммунизм — прозаичен. Он же — поэт, который славословит уже только Дух, воплощенный в Мудрости, Правде и Любви...

* * *

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В ТЕГЕРАНЕ

Местоположение Тегерана определили торговые пути, пролегающие на Иранском плоскогорье. На протяжении всей персидской истории у дорожного узла, где ныне стоит Тегеран, были торговые центры Ирана. В древности — Раги. Его развалины можно видеть еще и теперь в восьми верстах от Тегерана. В средние века одним из крупнейших городов Персии был Верамин, сохранившийся и ныне, но поблекший и захиревший. Верамин расположен в шестидесяти верстах от современной столицы на юго-восток.

Тегеран — столица Персии с 1788 года. Он лежит на путях Азербейджан-Хоросан; дороги на юг государства — в Хамадан, Керманшах и дальше в Мессопотамню и Турцию идут мимо Тегерана. На Восток, через Кум, из Тегерана пролегают пути, разветляясь в разных направлениях, к Персидскому заливу и Индийскому океану. Тегеран развивался и рос медленно, в соответствии с общим укладом персидской неторопливой жизни. Лихорадочное развитие Европы в конце девятнадцатого века отразилось и на Тегеране. Торговые обороты усилились. Население возросло до полумиллиона.

* * *

За все время войны 1915-1918 гг. в Персии, Тегеран ни разу не был занят войсками, ни русскими, ни турецкими. Никакими. Столица Персии должна быть вне войны. Неприкосновенна. Ведь в Тегеране нейтральное правительство и нет неприятеля. Поводов для неприкосновенности Тегерана много; в особенности дипломатических. Русские войска обороняли Тегеран от захвата турками, немецкими наемниками, но не занимали и сами. Англичане следили за этим ревниво. А вдруг русское влияние усилится за счет английского?!

Левый фланг нашего фронта простирался далеко за Тегеран. Но линия фронта проходила мимо города. Наши войска всегда обигали Тегеран.

Чтобы попасть в Тегеран с главной операционной линии Энзели-Ханекон по шоссе, нужно свернуть еще у Казвина и ехать около ста сорока верст. До Кераджа дорога ровная — по плато. В хорошую погоду на северо-востоке видны горные

цепи, далекие, легкие, почти воздушные, уходящие в облака или белой зигзагой режущие синее небо. Около Кериджа — невысокие горы, а сам городок у горы. Довольно живописен; здесь и скалы, и река и много зелени.

До Тегерана около сорока верст и большая часть пути идет опять по ровной местности. Уже за десяток верст чувствуешь близость большого города. На дороге — сильное движение, а на горизонте, как бы в тумане, неведомая темная полоса. Это — Тегеран. Нет обычных садов, отдельно от города. Здесь сады — в городе, или вернее, город в садах. Дома, дворцы, мечети — все в садах. Огромный город, а какая тишина! Обычного шума и грохота больших городов нет. Не слышно паровозных и фабричных свистков, звонков трамвая, автомобильных гудков, грохота экипажей, — резких уличных звуков Европы. Движение на улицах бесшумное. Оно уверенное и покойное. Экипажи без грохота, торговцы без криков. И когда, на высокой ноте сорвется какой нибудь мальчик, торговец в разнос, то кажется, неуместным и досадным его гортанный крик среди этой разумной, осознанной тишины.

* * *

Далеко за городом, на северо-востоке, сверкает среди гор семья Эльбурса и над ними царственный Демавенд. Его сахарная голова — высоко над горными цепями, а соседние горы — сами великаны, с застывшим уважением, безмолвно склонились и поникли перед своим старшим братом.

Демавенд — вулкан умирающий. На его склонах — горячие источники, целебные, могучие — привлекают больных, утомленных людей. Демавенд выделяет пары. Все горы давно уже умерли. Великан же живет. Не хочет склониться перед смертью. Порывисто дышет и плачет горячими слезами, зная о неизбежной смерти. Пока же живет. Живет и играет.

Серебряный конус на фоне бирюзы небесной играет цветами и теньями. Три великие силы принимают участие в этой игре. Солнце, лазурь небесная и снега Демавенда. Он — сказочный герой; лазурь небесная — лишь достойный героя экран. А солнце жаркое лобзает Демавенд, наряжает его в царственные одежды, торопливо сменяя одну за другой. При самом восходе — первый поцелуй, и зарделось от стыда лицо героя. Пурпуровым стал белоснежный Демавенд. По белым одеждам его побежали фиолетовые тени, и пока мы любимся ими, конной золотых волос украсился Демавенд. Солнце поднялось над горизонтом; щедро брызжет золотыми лучами и сверкает золото в волосах, на лице и в складках одежды героя. Горит Демавенд, сверкает снежный покров, и уже весь он не золотой, а белый, белый, блестящий, переливчатый. Только сбоку, справа, должно быть, в долине, огромная, черная тень ширится и движется неизвестно откуда; и странной кажется тень эта, ибо все так ясно и светло кругом, а на небе нет ни облачка.

— Редкий сегодня день будет — говорит Шабан, слуга мой. — Демавенд хорошо! — Посмотрел на него, потом на меня и замурлыкала какую-то монотонную песню.

* * *

Мы уже въехали в город. Улицы шире провинциальных, но так же как и везде: дома обращены внутрь и мы долго едем мимо скучных желтых глиняных заборов. За ними много садов, а потому утренний воздух бодрит, полон ароматов и свежести. В глубине садов можно видеть иногда великолепные дома и дворцы. Мы уже

на большой площади. По обеим сторонам красные здания — пеленые, как казармы. На площади, у построек, маршируют жандармы — идет обучение. Палево, главная улица — Лалазар, а направо — к главному входу на Тегеранский базар. Главная улица. Почему? На ней магазины, лавки, лавочки и лавчонки. У нее вид торговой улицы русского губернского города. Какжется, нет ни одного дома выше чем в два этажа. Архитектуры никакой.

Тегеран расширился за последние годы, и только на окраинах можно видеть архитектурные здания. На окраинах еще меньше востока; здесь уже можно видеть дома европейской стройки, иногда особняки — белые, одноэтажные, всегда удаленные от улицы внутрь двора, или, чаще, сада. Эффективная архитектура Ирана стыдлива, как и все драгоценное и непорочное. Она прячется в больших тенистых садах за большими столетними дубами, тополями и эвкалиптами.

* * *

Передекий крытый базар, это — лабиринт. Есть ли планы этих базаров? Не знаю. Не видел. Однако, на Тегеранском базаре без плана легко заблудиться. Я бывал там десятки раз, но знал только несколько главных артерий этого крытого города; когда попадал в переулки базара, путался в них и часами бесцельно бродил в поисках главного выхода. Площадь, занятая базаром, огромна. Только теперь понял, почему открытый город и его улицы так тихи и безмолвны. Вся дневная жизнь персов протекает в подутемных и прохладных корридорах бесконечного лабиринта. Все равно, будет ли это в столице или в крохотном Таджикистане. В каждом городе свой крытый базар, а на больших проезжих дорогах, вместо крытых базаров, заботливый Шах-Абасс построил кирпичные караван-сарай. Универсальные магазины прошлого. Здесь все можно было купить: галантерею, посуду, одежду, скобяной товар, и драгоценности и сласти. Но пустыми стоят каменные караван-сарай и в Имам-Заде-Ганиме, и в Аве, и в Кериде и во многих других местах. Почему? Невидимому, в Персии действуют те же экономические законы, что и в Европе. Город притягивает деревню. Имам-Заде-Ганим потянулся к Ренгу, Керид был поглощен Кермашахом, а Аве раскололся на Казвин и Хамадан. Мудрый был правитель Шах-Абасс, любил народ свой и хотел, чтоб хорошо ему было. Хотел Шах-Абасс, чтобы, поблизости от села своего, торговал крестьянин, чтобы процветали торговля и производство во всем государстве, но не смог Шах преодолеть законов экономических, и остались стоять уже много лет пустыми, построенные вне городов, караван-сарай. Растут города в Персии, а с их ростом расширяется производство и торговля. Вместе с ними растут эти крытые прохладные рынки-корридоры.

* * *

В Тегеране особенно большой и яркий базар. С прилегающих улиц стекаются персы к ближайшему входу, и уже от самого входа людская волна потоком течет по узким извилистым корридорам. По обеим сторонам корридора — торговые лавки. Туда трудно войти. Почти все занимает прилавок, и владелец внутри с трудом может повернуться в такой крохотной лавке. Часто это только нини, уставленные и увешенные товарами; торговцы сидят в них неподвижно, скрестив колени с неизменным чубуком или кальяном в зубах. Громоздкие товары, — мебель, одежда, ковры и посуда помещаются в магазинах похожих на наши. Туда можно войти, повер-

нуться, хотя особой нужды в этом нет, так как все товары выставлены паружу. Корридор, где продаются громоздкие вещи, сплошь уставлен с обеих сторон тюками, мешками, ящиками и образцами товаров. Рядом вдвоем идти трудно. Надо идти гуськом.

* * *

Антиквары, ювелиры, палочники, старьевщики, бакалейщики, продавцы сластей и галантерейщики, представители сотен профессий сидят на корточках в маленьких нишах, — зимой у мангала*), прикрыв ноги ковром, а летом открыто скрестив их и бесстрастно смотря на текущий мимо людской поток. Иногда корридор пересекается другим, а когда выходит на небольшую крытую площадь, то распадается на три, четыре или пять переулков, которые разбегаются в разные стороны. Изредка по бокам широкого корридора встречаются большие куполообразные круглые залы. Это — склады с товарами. Потолки и стены у зал расписаны сложнейшими узорами — черными, синими, пестрыми, а пол, всегда земляной, туго утрамбован. Залы эти — те же ниши. Они редко имеют выходы паружу. Во всяком случае, если и есть эти выходы, то они всегда занерты. Я видел в нишах двери, но что за ними — тайна... Свет в эти залы падает сверху, как и во всех галереях лабиринта. Свет мягкий, ровный, достаточный. После ярко освещенной улицы жаркого города, в прохладном полумраке базара отдыхают глаза, отдыхает все тело.

Во всех корридорах, залах и улочках рынка вы чувствуете своеобразный запах, который неизменно сопровождает вас, куда бы вы ни шли. Ведь здесь никогда не бывает солнца: воздух проникает только через верхние отдушины и входы; миллионы видов всяких товаров, дышащих миллионами запахов, перемешиваясь с затхлой атмосферой лабиринта, образуют этот незабываемый запах. Я люблю этот запах востока, специфический запах персидского базара...

Здесь покупают и продают все.

Редчайшие драгоценные камни — изумруды, бриллианты, сапфиры и бирюзы и ржавые, никому ненужные, гвозди, поломанные пуговицы и рваное тряпье. В ювелирном ряду — роскошные восточные украшения, тончайшие изделия парижских мастеров и камни, камни и камни. Бирюза. Какая бирюза в Персии!... Это любимый камень персов, эмблема вечно-голубого неба отчизны, манящий камень — обладающий чудодейственной силой. Много бирюзы в Персии. В горах Курдистана. Близ Нишанура — в Маденских конях. Везде. У пустынных далеких дорог, на желтых плато плоскогорья, я видел серо-голубые камни, — придорожные никому ненужные булыжники. В обломках горных пород — вкраплена бирюза. Камни собирают, и кустарь в городе месяцами хлопочет над выделкой из них домашней посуды, чубука, или еще какой-нибудь незатейливой вещи.

* * *

Вот ряды, в которых пристроились исключительно золотари и серебряники. Они здесь же выделывают из драгоценных металлов тончайшие ажурные украшения: серьги, кольца, броши, колье, разнообразного вида коробки и коробочки, табакерки, оправы для зеркал, щеток, калымданы**) и тысячи других вещей.

*) Жаровня.

**) Пенал.

Здесь идут ряды с посудой, исключительно с посудой, а там, — с коврами, яркие и пестрые цвета которых развешаны на огромных стенах полукруглой залы, разбросаны по земле и тюками сложены у стен.

Вот благородный темно-синий кашан, яркий, кричащий весельем сарух, и большой пестрый, наивный султан-абад! Это все — типы ковров. Сколько провинций в Персии, столько же особенностей и названий. Каждому товару — свой ряд.

Галантерея в одном месте, ювелирные изделия в другом, сукина в третьем, половня особо, одежда также особо. Ковры также имеют свои ряды. Чтобы купить ковер, нужно идти в ковравые ряды, но видеть ковры можно в каждом магазине и лавке. В каждой пище. Вернее сказать, ковров так много, что их нельзя не видеть. Персы любят ковры, — ими увешаны стены мечетей, квартир, учреждений, торговых помещений; устланы полы их. Коврами украшены и дворы и лачуги. Базар пестрит коврами и кричит яркими красками разнообразных цветов и рисунков.

* * *

Мы проходим мимо целой сотни магазинов с восточными тканями. Ткани на стенах, прилавках, в шкафах. Вот расцветанная чадра, мантия, — женский наряд, бледный фон которого расшит красными узорами. Вот керманская скатерть с тысячею благородных цветов и оттенков, и когда смотришь на нее, то чудятся невидимые женские руки, что ткали ее долгие годы. Кашмирские шали из тончайшего пуха Кашмирских коз, из окрестностей Кермана и Мешхеда! Изогнутый бут, вроде кривого огурца — лейб-мотив этих сложнейших рисунков персидских материй. Здесь и парча, расшитая золотом, черный бархат с загадочными серебряными надписями, желтые индийские с длинными черными полосами шелковые покрывала, красные шарфы и бесконечное множество разных других благородных и кричащих тряпок.

Течет по корридорам людской поток. Под низкими сводами рынка тысячи разнообразных звуков кипучего дня, — человеческих голосов и шагов, орудий производства, передвигаемых товаров — образуют одиомерный несмолкаемый гул. Гудит огромный человеческий улей. Звонят колокольчики. Караван безобразных верблюдов длинной лентой тянется мимо нас. Мы прижаты к случайному прилавку в терпеливом ждем. Когда же кончится караван? Верблюды идут и идут. В седлах горбов — огромные тюки товаров. Из Персии? Из Англии? Неведомо откуда. Издалека.

Базар живет. Базар — живая мозаика.

Драгоценные камни, расписная посуда. Ковры, многоцветные ткани. Какое разнообразие красок. Как ярко кругом и как каждая вещь здесь кричит о себе.

* * *

Из торговых рядов от центра мы часами идем, углубляясь в корридоры и попадаем в ряды ремесленников — плотников, столяров, бондарей, сапожников, жестянщиков, кузнецов...

Здесь краски бледнее, но работа кипит, и вас оглушает шум и стук тысячи молотков, молоточков, стамесок, долот, рубанков, фуганков и пил.

Широкие корридоры базара живут кипучей жизнью, ибо здесь сосредоточена обрабатывающая промышленность столицы.

Уже встречаются открытые корридоры. Без крыш. Дворы с хлопком, ватой, сеном, саманом, дровами, деревянным углем, железом. Громоздкие товары занимают много места на окраинах базара. Они располагаются за пределами крытого рынка в прилегающих к нему улицах, улочках и переулках.

Многочасочный, яркий базар Тегерана не криклив. Здесь нет истерических многоголосых криков торговцев Стамбула и Галаты. В Константинополе — бестолковый, безобразный и нарочитый крик на базаре. Он поражает только первое время и уже через полчаса оглушает, утомляет и раздражает. На тегеранском базаре, как и на всех персидских, нет суеты, бестолковой суетолики и истерических криков. Базар живет спокойной деловой жизнью. В меру говорят, в меру предлагают, в меру и движутся.

* * *

В лабиринтах базаров, на открытых площадях, на торговых улицах, много мелочных торговцев. Рядом с хорошими лавками пристроились жалкие старьевщики, торгующие мелкими вещами домашнего обихода. Располагается такой „купец“ обыкновенно на земле, скрестив ноги, с неизменным чубуком в зубах, а перед ним на старом мешке или грязной тряпке его товар. Здесь — поломанные замки, связки старых ключей, пустые пузырьки и баночки, битая посуда, пара четок, несколько старых нуговиц. Всего товару меньше, чем на рубль, — на несколько кранов.**) Около такого продавца иногда и покупатели. Стоят, подолгу смотрят и уходят дальше. Нет для перса лучшей профессии, чем торговля; нет большего удовольствия, чем торговать. Мечта перса-бедняка — добыть несколько туманов и торговать. Жадности к барышам нет. Важно сознание — ты собственник, у тебя есть свое собственное дело и место в городе. Прибыль мала — не важно. Кусок лавашу***) и сыру стоит несколько шай***), и на пропитание выручить за двенадцать часов работы — неподвижного сидения, — всегда можно.

* * *

От площади Тон-Хане, по дороге к базару, недалеко от главного входа, у магазинов — пустынно. А под деревьями, недалеко толпа: человек пятнадцать, двадцать. Фокусник со змеями. Он в центре толпы — худой, длинный, в старом, желтом аба. У него изможденное лицо, а на щеке шрам — салек.

Есть болезнь в Персии. Салек или салак. На лице появляется прыщ, затем образуется язва, гноится. Вылечить невозможно. Лекарства не действуют. Врачи, все равно персы или еврейцы, бессильны. Болезнь продолжается год, рана зарубцовывается, и на всю жизнь остается безобразный шрам. Причина болезни, неизвестна. Врачи говорят разное — от воды, загрязненной каким-то микробом, от укусов особенных комаров. Предполагают также, что зараза передается от собак.

Болезнь — местная. На Востоке — в Средней Азии, на Кавказе, много таких мест, где салек, пепидника или годовик — все одно и то же, оставляет на лице человека неизгладимую печать. В Тегеране особенно много больных салаком.

У ног фокусника пустой ящик, а в руках он держит большую серую змею. Она как-то беспомощно повисла на руке, и только небольшое покачивание выдает, что она жива. Другая змея — кольцом вокруг шеи, головой вниз. Это — страшные змеи серых плато Курдистана. Их укусы смертельны. Они обезврежены: у них вырвали жало. Фокусник что-то говорит горловой скороговоркой; перебросил змею из одной руки в другую. Она стала как палка, застыла в руке. По приказу укротителя, медленно изгибаясь, поползла по руке к шее, где висела другая змея.

*) Кран — серебряная монета, двугривенный.

**) Хлеб — плоский, как бумага.

***) Конеек.

Что то бормочет опять фокусник, и с шен спиралью по руке, затем по ноге сползла к земле и сама забралась в ящик. Другая последовала за ней. Представление кончилось. Ни один из персов не дал фокуснику ни гроша...

* * *

У выхода на площадь Тон-Хане другая толпа, побольше первой. Здесь, в центре деревни. Большого роста — в роскошном, зеленом аба. Он — яркое пятно в толпе. У него большая черная борода, красивые темные глаза, орлиный нос, бледно-матовый цвет лица. Он говорит громко, медленно, и, по выражению слушателей, видно, что интересно. Но что — мы не понимаем. Заметив в толпе нас, он поклонился. Продолжал говорить. В руках у него коричневый резной кяш-гуль и цветок.

Кяш-гуль, это — сосуд из тыквы; твердый как железо, почкообразный, на пеньке. Он пещерен рисунками и надписями. Здесь и фигура перса с двумя книжками в руках, и медведь, и быстроногий олень, и шахтера и запп... Цветы, девятиконечная звезда с полумесяцем, птичий клюв, какай-то голова.

Обыкновенно, деревниши — бедняки, подвижники, аскеты. Это — наши странствующие монахи. Из города в город и из села в село, они должны нести правоперным слово Аллаха, указывать пути благочестия и своим подвигом подавать пример.

В Персии — в стране вьючного транспорта и средневекового уклада, бродячий деревниш играет большую роль. Он много видел, много знает. Он и лекарь, и знахарь, и проповедник и телеграф.

Это деревниш приносит в толпу политическую сенсацию и разукрашивает ее, как хочет!

Это он создает настроение толпы и становится ее вождем!

Его оружие — слово и слепая вера толпы. Его сила — в живой готовности живущих в неведении массе уверовать в новость, слово, сам говорящего...

Его успех — почти всегда предопределен, ибо сеет он на почве подготовленной...

Дервинш, собравший толпу на Тон-Хане — необыкновенный деревниш. Это не бессребренник, что ходит по выжженным солнцем дорогам из села в село, в рубище, с кяш-гулем в руках и славит Аллаха.

Это богач — барин, в роскошных одеждах, а слово его — оружие в политической борьбе. Это один из тех влиятельных деревнишей, которые еще до прихода русских войск в Персию, возбуждали мусульман против христиан и призывали к священной войне.

* * *

Мы получили приглашение на гимнастические упражнения. В Тегеране гостит наш знакомый — красавец Мехти — атлет, искусный повар и печатник. Это он — мастер печь пироги, из которых, как в сказке, вылетает птица.

Мехти — первоклассный механик. Единственный в Казвине в типографии местной газеты. Узикает Мехти или занят другим делом — город без газеты. Все, что делал Мехти, превосходно, а потому интересно посмотреть на невиданную нами персидскую гимнастику.

* * *

Рабочий день в Тегеране кончился. Уже закрыты на базаре лавки и тяжелыми засовами заперты входы в коридоры базара. Темно. Только на главной улице кое-где горят фонари. Скупым желтым светом освещен вход в ресторан. Ночные бабочки, жуки и мошкара, бестолково кружат и жужжат и бьются об горячее стекло фонаря. В переулке темно. Из-за угла показался свет. Торговец гранатами. На осле, по бокам две корзины с товаром. Между корзинами, на спине ослы, прикреплены свеча под стеклянным колпаком. Покупаем гранаты. Тепло. Пряный воздух, пряные фрукты, пряная тьма.

Шли бесконечными кривыми пустынными переулками и остановились, наконец, у низенькой маленькой двери. Дом оказался врытым в землю. Чтобы посмотреть с улицы в окно, нужно присесть на корточки, а чтобы попасть в дом, спуститься по лестнице вниз. Теперь ясно, что мы в бывшей бане, у пустого бассейна. Крыша в дырочках, с цветными стеклами. Много керосиновых ламп. Света достаточно. Вокруг бассейна много места. Скамейки для зрителей. Гимнасты — их человек десять, — внизу, у ланних ног, вдоль стен. Верхняя часть туловищ оголена. Они недурно сложены. Вернее, у них хорошая мускулатура, а Мехти похож на античного героя. Взоры гимнастов устремлены на Мехти. В комнате жарко. Острый незнакомый запах. Это должно быть от блестящих, лоснящихся тел гимнастов-борцов. Они натерты растительным маслом. Кроме нас, довольно много публики. Кто они? Говорят, любители физического воспитания и местные спортсмены пришли посмотреть Мехти.

* * *

Упражнения начались под равномерную дробь большого барабана: в них принимали участие все, кроме Мехти.

Сначала бег на месте, верчение булавами, борьба, сложные позы упражнения и, наконец, распрямив руки, все завертелись...

Это было удивительное зрелище, восточный балет.

Фигуры кружились ритмическими, бесшумными движениями в такт ударам барабана. Вертелось все тело вокруг оси; не сгибались руки, прямо держалась голова, и только босые ноги как то механически бесшумно отбивали такт.

Завертелся самый бассейн, все зрители и вся комната поплыли перед глазами. Что это? У меня закружилась от всеобщего верчения голова, или колдовство?

Опять все на своем месте, и только внизу, под равномерную дробь барабана, продолжает кружиться один Мехти...

Я смотрю на барабанщика, а он, напряженно, на вертящегося Мехти; и хочется остановить этот быстро движущийся большой палец барабанщика, прекратить эту дробь; ибо кажется, никогда не остановится кружиться человек — ибо связан он с дробью этой, невидимой нитью, и что и барабанщик, и его барабан, и человек, что кружится — одна заведная машинка.

Многие из упражнений казались знакомыми. Я знал, что никогда их не видел. Как будто застывшие фигуры соскочили с древних греческих барельефов и задвигались...

Бегут на месте, мечут копье, бросают диск.

Перерыв, чтобы дать отдохнуть атлету. После балета стало еще жарче... С улицы пришли еще несколько человек. Все переш. Из европейцев — только мы...



Мехти сначала поднимал огромные тяжести и выжимал их. Затем, гнул пальцами большие медные монеты; вбивал голым кулаком длинные гвозди, с большими шплингами, в доску... Становился на руки и колени, лицом вниз; ему положили на спину большую доску; на ней разместились шесть наиболее тяжелых из его товарищей и выделяли какое-то ритмическое упрямое движение. Ту же доску клали на изогнутую шею и плечи атлета, и топором с размаху рубили дрова... На это было больно смотреть.

Мехти стоял посреди зала и держал на плечах длинную доску. По краям, скорчившись в разных позах, повисло по четыре человека — около сорока худых...

Мехти был неустойчив. Его выдавала некоторая бледность и порывистое дыхание. Привнесли квадратный стол покрытый скатертью, с кипящим самоваром на нем, чашками, чайником.

Мехти присел и, не дотрагиваясь руками, взял край стола в зубы; поднялся и пошел вдоль стен, неся в зубах этот стол с самоваром, и остановился на несколько мгновений около нас...

Барабан напряженно отбивал дробь, но ритм был уже не тот, что прежде. Более частый, отрывистый и высокий.

Отдельным гимнастическим упражнением соответствовал и ритм барабанной дроби; и если можно говорить о мотиве, то и мотив. Они были разнообразны и необходимы для гимнастов. Размеренность движений, темп их и, казалось, самые движения — только от ритмической музыки удивительного барабанища.

Он был очень важный, этот барабанище. Гимнасты относились к нему с заметным вниманием; ему же дарили зрители деньги за работу в пользу гимнастов и гимнастического общества.



В этом году Переню постигло большое несчастье. Голод. В хлебных местах — большой недород. Горячее солнце сожгло дар Аллаха человеку — кукурузу. Можно было бы перебиться до будущего года, но жадность ханов погубила много людей. Англичане скупали старые запасы зерна, а в урожайных районах, новый урожай, по высоким ценам. Караваны верблюдов везли закупленный для чужеземцев хлеб через границы Переню на фронт в Мессопотамия. В городах и селах появился призрак голодной смерти.

Цены на хлеб поднялись.

Осень прошла, и настоящий голод наступил только зимою.

Уже стали получаться известия, что на дорогах видели трупы умерших от голода.

Стали известны случаи убийств на почве голода, с целью употребления человеческого мяса в пищу.

Около Хамадана, в деревне, два брата зарезали сестру и съели; в другом месте, мать убила свое дитя...

В самом Тегеране на улицах стали подбирать трупы умерших от голода людей. Их умирало ежедневно человек пятьдесят. Оборванные, худые, медленной походкой они ходили по улицам богатого города, скользи, как тени, вдоль стен с протянутой рукой и жалобным стоном.

Они сидели у мостов, на перекрестках улиц, у подъездов больших магазинов и ресторанов, у мусорных ям. В одиночку, семьями, с женщинами и детьми. Лиц

этих несчастных женщины не было видно. Они были закрыты. Грязное тряпье прикрывало ужасающую худобу. Казалось, тряпки были надеты не на человека, а на палки из гардероба... Вид детей был ужасен. Тонкие кости просвечивались через кожу, ясно обозначались ребра, цвет кожи и лица был зеленый.

Иногда голодные дети сидели около трупа матери. Иногда мать держала в руках своих уже мертвого ребенка, а рядом неподвижно сидели другие дети, ожидая своей участи. Прохожие почти никогда ничего не давали этим несчастным. Жизнь текла мимо них. В пекарнях было много лавашу, магазины были полны всяких припасов, но никому не было никакого дела до умирающих с голоду. Когда уже умер человек и трупом лежал на улице, тогда проявлялось участие. Около трупа на земле всегда лежало несколько мелких монет. К мертвому прохожие были милосерднее...

Около мусорных ям, между детьми и бродячими собаками, происходили драки из-за отбросов. Дети находили мерзлые корки от картофеля или обледелую кость и пытались утолить голод. Вокруг были собаки. Они тоже хотели есть. Иногда какая-нибудь пошляк приближалась к сорному ящику или к мусорной яме и, с рычаньем разгребая лапами отбросы, искала так же, как и дети, добычу.

* * *

В городе было тяжело. Мы стали совершать загородные прогулки.

Осмотрели Заргенде с его великоленными носовскими дачами, тенистыми садами и очаровательными видами на Демавенд, Тегеран и амфитеатры многоцветных гор.

Уже полюбили игрушечный Таджи-Рини, что расположился у самых гор, с его тихими улицами, незатейливым крытым базаром, миниатюрными дачками, чистотой и опрятностью.

От Таджи-Рини до Заргенде дорога ровная, с небольшими поворотами и очень наклонная.

— Как это его угораздило?

Мы шли в Таджи-Рини пешком и услышали впереди на дороге невероятный грохот. Навстречу нам мчался фургон, запряженный четверкой лошадей. Фургон был большой и без верха. Грузный, такой фургон может поднять более ста пятидесяти пудов груза: лошади мчались карьером; грохот и тяжесть фугона подгоняли обезумевших животных. Наверху, во весь рост, стоял молодой пере-возница. Со смертельно бледным лицом, упершись ногами вперед, откинувшись корпусом назад, он изо всех сил тянул возжи, пытаясь удержать бешеную скачку. Но увы! Фургон катился с горы по прямой наклонной, только усиливая быстроту своего движения. Дорога была прямая и узкая; свернуть было некуда, и несчастье могло совершиться каждое мгновение. Если по дороге встретится другой экипаж, катастрофа неизбежна.

Как ураган промчался мимо нас обезумевшие лошади, несчастный возница и их страшный экипаж.

* * *

Вошел Погорелов.

— Господни Члены приехали.

— Семен Борисович, Вы? Наконец-то! Отчего так долго?

Заговорили о делах. Я предложил:

— Вы возьмите Керманишахский район. Там госпитали, питательные пункты, летучки. Много организационной работы. Нужно привести в порядок, что есть. Придется открывать новые учреждения.

— Керманишахский район? Хорошо. А когда ехать?

— Да когда хотите. Можете завтра. Ну, как Персия? Правится? Вошел опять Погорелов.

— Григорьянц пришел. На свадьбу приглашать.

— Как на свадьбу? Да ведь он женат!

— Да нет, на персидскую свадьбу.

И посмотрел на часы.

— Хотите, Семен Борисович? Время есть.

Вошел Григорьянц.

— Ну, едемте, господа, только не надолго.

В автомобиле нас уже ждали дамы. Минут через пять мы увидели свадебное шествие. Сошли с автомобиля и встали в толпе. Невесту везли в дом жениха — венчаться. Она в белой чадре разукрашенная цветами. На белой лошади, покрытой расшитой попоной. По бокам лошади vanno идут два человека — ближайшие родственники; они поддерживают невесту, слегка прикасаясь руками к ее светлому платью. Впереди несут большое зеркало в золоченой оправе. Недалеко от дома, процессионно торжественно встречает жених, окруженный мужчинами из своих родственников.

Дом, куда мы вошли — большой, двухэтажный с открытой террасой. В прекрасном саду — бассейн-аквариум. Женщины просили подняться наверх на террасу. Здесь, невесту поджидали родственники. Они сидели в чадрах с закрытыми лицами, тихие и молчаливые. Смотрели в сад. Евронейским гостям предложили розовую воду — поливали руки из маленьких стеклянных кувшинообразных флакончиков. Принесли сласти. Их подали на больших подносах, уставленных бесконечным числом разноцветных вазочек. Здесь были багдадские финики, хамаданская халва, сладкий миндаль, розовые лепешки в сахаре, сладкие стружки, рахат-лукум и разные сорта орехов и орешков. Мужчины были в саду. Они чинно сидели на стульях, расставленных прямоугольником, вполголоса разговаривали с своими соседями, слушали музыку, любовались танцами.

В обществе, где мужчины и женщины вместе, женщины плясать не могут. Танцуют мальчики лет до шестнадцати. На свадьбу приглашена целая труппа. Целая семья танцоров и музыкантов. Перед нами изумительной красоты юноша, лет четырнадцати. Его черные волосы подстрижены в скобку; удлинённые выразительные глаза украшены большими ресницами. Они, как крылья ночной бабочки, — то пуляиво раскрыты, то сложены вместе. На танцоре малиновый бархатный кафтан и черные штаны. На ногах мягкие, узорчатые туфли. Поодаль на ковре сидят музыканты. Их двое. Старший брат плясуна, полный мужчина лет двадцати пяти, прежде сам танцевал. Постарел и озябел, — теперь барабаник. Его товарищ играет на струнном инструменте — рода мандолины. На ковре — сын барабаника, мальчик лет шести, остроглазый и шустрый — следит за дядей, учится. Ремесло ведь фамильное! Подрастет немного мальчик — будет на людях плясать.

Медлительные, болезненно-страстные звуки мелодии, вызывают танцора на пляску. Плотно сжав колени, он медленно движется на носках, прищипывая пальцами в такт. Теми мелодии ускоряется. Страсть нарастает. Юноша дрожит. Извивается. Глаза подмигивают, приывают. На лице страсть. То улыбка, то судорога. Закатываются глаза, пыльные волосы расстелались — покрывают лицо, и юноша в изнеможении падает на колени. Перья пожирают его глазами. Два урода в безо-

бразных одежках, два ряженных пристают к юноше. Они гримасничают, кривляются и раздражающе плюнут. Их безобразная внешность и движения подчеркивают красоту и грацию юноши.

Танцор быстро переоделся. Он в женском наряде, в перчатках, в переносе. Он изображает европейскую даму. На лице ее недоступность и строгость. В танце она лишь поводит плечами. Партнеры — уроды, шуты — вне себя. На наш взгляд, они ведут себя неприлично. Персы в восторге...

В антракте юноша любострастно собирает подарки. Он подходит к мужчинам гостям, становится на колени и, откидываясь назад, кладет голову на колени гостя, кокетливо улыбаясь. Его ласкают, о чем-то шепчутся и кладут на лоб серебряные монеты.

* * *

Дам, приехавших с нами, пригласили в эрдерум. Нарядные персянки сидели на больших расшитых узорами и рисунками подушках, расбросанных на коврах. Гостям предложили сесть тоже на подушках и угощали крепким, пахнущим розой, чаем. Душистый напиток подавали на крошечных серебряных подносах, в маленьких стеклянных стаканчиках, с выгнутыми наружу краями — в подстаканниках. Миниатюрные ложечки были годны только, чтобы мешать чай. Зачерпнуть ими нельзя было капли — ложки были резные, узорчатые.

Девушка лет шестнадцати, стройная, гибкая вскочила с подушки. Собиралась плясать.

— Ханум!

Хозяйка выразительно посмотрела на черную няню — негрятянку. Старуха принесла инструмент. При первых же звуках мелодии девушка схватила четыре крошечных серебряных сахарных вазочки — они заменили кастаньеты. Общество женщин не стесняло плясунью. Бесшумно скользили на мягком ковре кокетливые, освобожденные от обуви ножки. Извивалось гибкое тело в такт дразнящей, тягучей мелодии. Образы страсти отражало лицо, а вольные движения гибкого тела манили, дразнили, призывали к любви...

Уже вечерело. Мы засиделись на свадьбе. Григорьянец говорил:

— Ибалко, у вас нет времени, а то бы я показал вам настоящую народную свадьбу. Чтобы видеть, надо поехать в деревню. Танцуют на воздухе, одни мужчины — человек двадцать, тридцать. Образуют круг, положив руки на плечи друг другу, и топчутся, чуть ли не на месте. Налево, направо. Направо, налево. Вот так. Старший, с платком в руках, — распорядитель танцев. Очень интересно. Все гости танцуют, все веселятся... А это что? Актеры!

— А пьют на свадьбе, Александр Писифович?

— Пьют ли на свадьбе? Вы спросите Якова, он Вам расскажет.

Яков Нетьвиченко, вестовой из „стариков“ санитаров.

— Ну, так что же Яков?

— Пошел раз на свадьбу, в деревню под Хамаданом. Гости как раз танцевали. Пригласили Якова. Угощали вином. Говорит — упирается. А потом разошелся, танцевал с персами. Подарили ему на память платок. „Нарезался“ здорово.

Мы сидели и лежали на полу, на роскошном султан-абадеком ковре, вокруг скатерти, богато уставленной свадебными яствами и бантиками. Ужин кончился. Из сада уже все разошлись. Спустили большой коросию каменный фонарь, висевший перед террасой. Григорьянец говорит — это знак уходить.

— Подождите еще, господа, — сказал хозяин. — Вы такие редкие гости.

Попробуй Багир почитать стихи. Молодой поэт сначала прочитал два своих стихотворения, а потом читал отрывки из Хафиза, Омара Хейяма и Саады. Злые эпитграммы Хейама, высмеивающие духовенство, запреты пить вино, вызвали одобрение персов. Багир объяснил по-французски: Хейям — ученый, математик, поэт; жил в двенадцатом веке. Его старинные песни очень популярны в народе, еще и теперь. Песни короткие — по четыре стиха, но они блещут остроумием, правдой и сарказмом. Поэтически язык персидского поэта и голос Багира очаровали нас. Я просил прочитать из Хафиза. Студент начал паллусть стихотворение, которым восторгался А. А. Фет, передавший нам его в образных стихах:

«Если вдруг без видимых причин
Затоскую, загрущу один.
Если плоть и кости у меня
Станут ныть и чахнуть без кручин,
Не давай мне горьких нить лекарств,
Не терпию я этих чертовщин.
Принеси ты чашу мне вина
С нею лютню, флейту, тамбурин.
Если это не поможет мне,
Принеси мне сладких уст рубин,
Если ж я и тут не исцелюсь,
Говори, что умер Шемседдин.»

Саады Ширазский и Хафиз *) — величайшие лирики Персии тринадцатого и четырнадцатого века. Оба суфисты. Созерцательные мудрецы и мистики, они воспевают в стихах радости жизни — красоту природы, вино и любовь. В обыденной жизни они были аскетами, а в художественном творчестве славословили яркие краски реального. Персидская поэзия проникнута мистицизмом. Здесь шипит об утехах любви и веселья, а читатель воспринимает поэтическое творчество лишь как форму. Он истолковывает поэзию как скрытую Божественную благодать, как мистический экстаз, устремление к Богу. Персидская поэзия богата содержанием и истинной художественной формой. Цари Персии всегда были покровителями искусств. Истинные поэты при шахском дворе находили покровительство, создавали школы, имели многочисленных поклонников, а народ веками сохраняет память и чтит тех, кто одарен языком богов. В старинных стихах и народных былинах воспеваются могучее величие древней родины, ее национальные герои. Эффектны и образны народные сказки Персии. Сюжеты их часто не оригинального происхождения. Они заимствованы из Индии. Древняя литература Персии неизмеримо беднее поэзии. Памятниками ее служат лишь хвастливые кинообразные надписи воинственных царей. С пятнадцатого века до наших дней литература и поэзия Персии переживает эпоху упадка. Главной формой современного поэтического творчества являются хвалебные гимны шаху, меченатам, длинные стихи, посвящаемые торжественным приемам во дворцах, описанию парадов. Новой литературы и науки нет. Просвещение народа основывается на Коране, а знание по медицине, праву, астрономии и другим дисциплинам познается из отживших свой век ученых произведений шиптов.

Кинущая история Европы XIX-го века прошла мимо Персии. Исторические познания таджика **) ограничиваются знанием имен Петра Первого и Наполеона.

*) Настоящее имя Магомед-Шемседдин — Солнце веры.

**) Перса.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

МОХАРРЕМ И САФФАР

Завтра начинаются страсти Мохаррема — „ашура“. Тегеран оживлен. Ренетии религиозных мистерий — „тазие“, длящиеся уже вторую неделю, возбуждают горожан и все готовятся к печальным торжествам.

Пять веков из года в год весь иранский мир, по почину благочестивых Сефевидов*), публично выражает свою скорбь по поводу трагической смерти потомков Магомета. Сторонники и последователи замученного Шаха Гуссейна, побежденные и гонимые, нашли убежище в Персии, а поруганная вера их стала государственной религией. Столица отдает дань уважения прошлому, и тысячи правоверных молитвой и страданиями очищают перед Богом свои грехи.

* * *

Это было еще в седьмом веке после Рождества Христова. Магомет умер, а преемника своей власти не назвал. Из-за власти калифата**) разыгралась кровавая трагедия. У Магомета сыновей не было. Единственная дочь, Фатима, вышла замуж за двоюродного брата пророка, — Али. После смерти Магомета началась распря среди последников. Одни утверждали, что право на престол пророка должно принадлежать потомкам Абубекра — вотчина Магомета, другие — Али и его потомкам. Али был убит своими врагами, и внук Абубекра, Муавий провозгласил себя калифом. У Али и Фатимы было два сына, старший — Хасан и Гуссейн. Хасан — мягкий, к власти не стремился и поддавался чужим влияниям. Гуссейн, наоборот. Характера твердого, энергичный, честолюбивый — хотел сесть на принадлежащий ему по праву престол и за это право вел активную борьбу с родственниками —

*) Персидская династия от конца пятнадцатого до начала семнадцатого века.

**) Духовное главенство.

претендентами на тот же престол. Центром движения сторонников Али была столица Месопотамии и Сирии — Куфа. Муавий умер и царством управлял его сын — Езид. Династическое движение имело, по видимому, политический характер, т. к. оно было направлено главным образом против двора и самого Езида. Его правлением свободолюбивые арабы были недовольны. В городе началось движение, и Езид готов был уже отказаться от престола в пользу Гуссейна. К Гуссейну в Медину прискакали гонимые из Куфы и заявили, что народ ждет своего законного властителя в столице. Гуссейн собрал небольшой отряд, захватил свою семью и поехал в Куфу. Ему не удалось соединиться с своими сторонниками и захватить престол. Военачальник Шимр, один из преданных друзей покойного Муавия, уговорил Езида не уступать престола. Шимр собрал большое войско, отрезал отряд Гуссейна от Ефрата и окружил неприятеля со всех сторон. Десять дней длилось сражение, и в неравной борьбе погибли все потомки Магомета.

* * *

Семья Гуссейна умирает от жажды в знойной пустыне. Гуссейн и его дружина проявляют чудеса храбрости. Имам *) поражает один сотни врагов, не обращая внимания на раны, но не может видеть мучений близких, умирающих от жажды. На его глазах, враги убивают некоторых членов семьи. Он выезжает в поле к врагам своим и просит воды, чтобы утолить жажду жены и детей. Напрасно. Враги жестоки. На мольбу Гуссейна они отвечают злобно:

— Ты не подумай ни капли, хотя бы весь мир переполнился водой.

Гуссейн бросается на врагов, разит их мечем и пробивается к Ефрату. Он несет воду умирающим, но ему говорят, что его любимый сын убит. В отчаянии он выливает воду на землю и стремится соединиться с семьей. Он окружен врагами, изранен, но стремится вперед.

Он изнемог, ибо получил тысяча пятьсот девяносто одну рану и вызывает о помощи.

Силы небесные готовы спуститься к нему. Ангелы предлагают Иمامу свою помощь, но должно свершиться предопределение Божие, и Гуссейн отдает себя на волю Аллаха. Военачальник Шимр убивает Гуссейна. Он отрубил Иمامу голову, а воины Шимра вздевают ее на коня и уносят с поля сражения в Куфу.

Пролилась святая кровь...

С неба спустились два голубя охранять кровь от насекомых.

Уже готова вражеская конница растоптать тело Гуссейна, но мольбы прекрасной рабыни Физзе достигают Аллаха.

— Он не допустит, всесильный, осквернения крови пророка.

Огромный лев появился из леса и разогнал войско Шимра. Победители возвращаются в Куфу. Они привели с собой пленных. В числе их младший сын Гуссейна, Зейнул Абедин с своей матерью. Их подвергают оскорблениям и убивают.

* * *

Недалеко от Куфы есть долина. Ее называют Кербалайской степью. Предание говорит, что рассказанные события произошли здесь. Керб и Белла, это — земля плача и горя.

*) Верховное лицо в халифате.

* * *

Много преданий, легенд и сказок о смерти Шаха Имама-Гуссейна. В них много вымысла, восточной фантазии и противоречий. Предания и легенды одеты в роскошные одежды. Их содержание искривлено воспринимается правоверными шиитами, а в траурные дни Мохаррема, отвлеченная вера в Бога и пророка принимает реальную, всем понятную форму. Близкие пророка погибли за святое и правое дело. Погибли, страдая. Эти страдания переживает и верующий шиит. Десять дней Мохаррема — по числу страданий Имама Гуссейна. Страдания сближают шиита с пророком и Богом. Они очищают его душу от „всякия житейския скверны“.

* * *

Бурно живет в эти дни Тегеран. Любит восток форму и краску, а когда нужно воплотить идею с глубоким содержанием во вне, то она, поистине, принимает красочную форму. Пророк благословил траурные дни Махаррема, а потому не жарко светит солнце, кругом ясная прохлада октябрьских дней золотой осени...

Улицы Тегерана в первый день „ашура“ с раннего утра наполняются сдержанно-возбужденными участниками процессий и зрителями — толпами горожан и крестьян, съезжающимися с разных концов страны и окрестностей. Обычная жизнь зампрает. Закрываются магазины, лабиринты базаров пусты... Все спешит к местам, где будут проходить процессии... Море человеческих голов... Узкие переулки, прилегающие к площади, где мы, — сплошь запружены толпой. На крышах домов — куда может хватить глаз, — на балконах, столбах, карнизах, тысячи любопытных.

* * *

Из переулка на площади показывается голова торжественной процессии. Сотни мальчиков — от самых маленьких до юношей — разнообразно одетых, проходят с жалобным пением. Они собирают с земли пыль и в знак траура посылают свои бритые головы...

Толпа взрослых, ритмически ударяющих себя в грудь. На белой лошади их сопровождает девочка лет пяти, — одна из дочерей Имама Гуссейна, разукрашенная, как амур. Затем опять толпа с пением тех же однообразных, печальных песен. В разных местах площади, по пути следования процессии, продавцы воды раздают ее в эти дни жаждущим бесплатно. Около них давка и суматоха.

Вот показалась группа дервишей, одетых однообразно в аба синего цвета. Все они опоясаны полосатыми шарфами со звездами. Очень эффектная группа. У каждого в руках кян-гуль, тазик, а в тазике яблоко и вода... С глухим шумом и звоном проходит медленно мимо нас новая группа в несколько десятков человек. Некоторые из них с цепями в руках. С размаху, как будто по команде, они ударяют себя размеренными, однообразно повторяющимися движениями рук, сжатymi в кулак — в грудь и по голове. Другие так же ритмически бичуют себя цепями.

У них изможденные бледные лица, и ударам по груди, как глухое эхо, отвечают их ухажущие вздохи... Глаз не успевает следить за их быстрыми движениями и уловить ритм. Их быстро сменяют новые толпы, новые отряды фанатиков, новые группы. На поводу ведут лошадь. На ней всадник без головы. Далее другая,

израненная лошадь, все увешенная стрелами. Обледевшая конина страданий потомков халифа и их лошадей. Опять отряд человек сто — грудь и спина обнажены. По голым спинам они ударяют себя палками. Проходят мимо огромные, белые, разукрашенные цветными гранками, лентами, пестами и разными украшениями, верблюды. На них жены, дети и сестры Имама Гуссейна. Несколько человек, изнемогающих от усталости, несут фигуры людей с отрубленными руками и ногами. Это — жертвы несчастного Шира — члены семьи Шаха Гуссейна. Группа участников процессии с напряженно серьезными лицами несет разукрашенные носилки. На них одежды Али — отца убитого Имама; на других носилках — перенятых искусственными цветами, острыми тканями, зрелищными коврами, сидят дети — мальчики и девочки. Они рыдают, ударяя себя в грудь. Это дети Гуссейна оплакивают его смерть... На высоком шесте изображение окровавленной отрубленной руки Али... Медленно поступью ведут под уздцы израненную лошадь, а на ней изображение убитого старшего сына.

Проходит старик. Тело его обнажено до пояса. Под кожу плеч, ребер и спины воткнуты кинжалы. Из под них в изобилии течет кровь, и красными нитями падает вниз. На груди, на руках и на шее замки, — режущие, кровавые, заперты через кожу. Несет старик вериги — кинжалы, гири и замки, а на безжизненном, бледном лице горят углями черные глаза и смотрят куда-то вдаль, поверх многотысячной многоголосой стоящей толпы...

Небесное воинство изображают разукрашенные, как амур, дети. Их проносят на носилках, в бадахнах, высоко держа над головами...

На высоких шестах — плакаты с надписями. Это наскили и проклятия по адресу ненавистного халифа Омара. Иногда верхом, медленным шагом, еле продвигаясь вперед, следует участник процессии с ребенком на руках, мальшком, немногим старше двух лет. Отец и сын. У отца экзотическое лицо, а у младенца на лбу рана и оттуда течет небольшой струйкой кровь. Эти всадники — верующие мусульмане, давшие обет Аллаху, по разным причинам, ежегодно участвовать в процессии „тазие“...

У нашего сауги Таги, многие годы рождались дети, но умирали. Таги дал обет, если родится еще сын, то ежегодно он будет принимать участие в „тазие“ и подвергать себя и сына всем тягостям и страданиям, с которыми часто связано это участие. На этот раз Таги с сыном тоже были в торжественном шествии. Мальчик жил, и Таги добросовестно исполнял свой обет.

До Таги нашим слугой был Шабан, перс из провинции Казвина. В юности Шабан упал с дерева, сильно ушибся и лежал при смерти. Чтобы спасти сына, отец его перепробовал все деревенские средства, но мальчик угасал. Старик молился Богу и дал обет, что сын его в случае выздоровления, ежегодно будет участвовать в траурных шествиях Мохаррема.

— Я выздоровел, — рассказывал Шабан, — конечно, благодаря обету и выполнению его.

Все эти разнообразные, то нестрые и шумные, то печальные и торжественные процессии замыкаются самым эффектным и тяжелым зрелищем. Огромной цепью в белых саванах проходят главные участники „тазие“. Их несколько сот, а может быть и тысяча. Узкой цепью, где звенья — окровавленные люди, с палками в руках, — с непрерывным криком:

— Шахсей Вахсей!*) — в течение часов качаются они в белых саванах. Левая рука каждого ухватилась за пояс соседа, а в правой блестящая сабля. Раскачиваясь узкой извивающейся лентой и крича, как бы танцуя, участники процессии ударяют себя палками по лбу или темени. В изобилии на белую одежду течет кровь: вся

*) — Сокращенное Шах-Гуссейн, Ва-Гуссейн, т. е. горе.

грудь фанатика представляет одно огромное кровавое пятно. Кровь стекает обильной струей по лицу, иногда заливает глаза, а голова представляет из себя сплошную рану. Истерически, вдруг, вскрикивает кто-нибудь вне себя от возбуждения и с размаху наносит себе новую рану. В толпе печаль и стелания. Плачут зрители — дети и взрослые, а иногда также, как и те, что в савапах, истерически начинают рыдать. Жалеют они потомков Гуссейна, переполнены сердца их религиозной скорбью, а когда взор их вдруг узнает, среди идущих в процессии и наносящих себе раны, кого-либо из близких — не выдерживают нервы. Плач и крики в толпе зрителей сливаются с глухими ударами шапек, топотом ног и криками „шахсей-вахсей“.

Участники мистерии и зрители возбуждены до крайних пределов. Линиям здесь кажется нескромный взор европейца. Уже кричат охрипшие голоса... На бледных лицах лихорадочным блеском горят огромные черные глаза. В религиозном экстазе, припадке, молодой перс, нарушая ритм движения, непрерывно бьет себя шапкой по голове. Из середины пустого круга к нему быстро подскакивает распорядитель процессии и подставляет к голове свою толстую палку. Нещадные удары сыпятся на палку. Обезумевший приходит в себя. В другом месте цепь разорвалась. Без сознания упал один, истекший кровью. Его подобрали и понесли. Говорят в баню, в бассейн; привести в чувство, обмыть, а потом лечить. После трех дней процессий бывают умершие. Невидимому, от заражения крови...

* * *

Религиозные мистерии продолжаются. „Тазие“ — богоугодное дело. Все равно где — в храме ли, на улице, в доме. Благочестивые шиты, тщеславные богачи, вельможи и политические интриганы забавляют народ.

Что это? Театр или религиозное действо?

На небольшой площади, у одного из боковых входов базара — балаган. „Текне“ разукрашен снаружи коврами и тканями. Яркие пятна их резко выделяются на темно-сером фоне соседних будничных построек. Балаган пестрит и зовет правоверных к себе. У входа толпа. Стремятся войти в помещение — бесплатный вход, но туда попасть трудно. Балаган набит публикой — приходится ждать. В „текне“ мужчины и женщины вместе. Говорят, в другой части города завтра будет представление только для женщин. Внутри „текне“ — деревянные подмостки, сцена — „техт“. Сцена примитивна; занесена занавесом из пестрых калымкаров *). На них — бутылки, цветы, черные павлины с большими хвостами, дикие звери. Обстановка на сцене убогая. Представление начинается прологом, — горячей проповедью „руз-хана“ — муллы, о страдавших шаха Гуссейна. У зрителей на глазах слезы. Уже слышатся из толпы вздохи и стоны:

— Плачьте, плачьте, верующие... покайтесь, — восклицает мулла.

Проповедь кончилась. Ее сопровождает жалобное пение хора мальчиков. Стоны в толпе усиливаются, зрители плачут, ударяя себя в грудь. Как и на улицах во время торжественных шествий, перед публикой проходит группа „синезенов“ **), затем — „сенгзенов“ ***). Размашистыми ударами они ударяют себя по груди и с пением тех же заунывных молитв проходят, смешиваясь в толпе.

На сцене режиссер и актеры. Главные действующие лица пьесы — участники кровавой драмы, разыгранной в Кербалайской долине. Пестрят краски восточных

*) Коленкорная цветная тряпка — обычно машинной работы.

**) Бьющих себя в грудь.

***) Побивающих себя камнями.

дешевых нарядов, грубо выглядят раскрашенные незатейливым гримом лица актеров, жалкой выглядит бутафория сцены.

Длинная пьеса в стихах. Написана по заказу, народной речью, применительно к понятиям и вкусам толпы. Актерам заплатили, но они не знают ролей. Не учили. Годовальный труд. Они читают роли по запискам, медленно разворачивая длинный роликообразный письменный свиток. В балагане духота.

Драма развивается. Но выражением лиц видно, как захватывает зрителей и самая фабула пьесы и игра актеров. Напряженное внимание, восторженные взоры, печаль и участие к горю потомков Халифа. Сентиментальные сцены вызывают слезы умиления: картины страданий героев — плач и рыдания: несправедливость — негодование. Актеры, играющие песимистичные роли — Езида, Омара и Шимра, не пользуются популярностью. Уже одно появление на сцене кого-либо из этих героев, сопровождается возгласами неодобрения. Зрители сливаются с пьесой и чувствуют себя участниками великих исторических событий. Они хотят помешать совершиться злу, подонутить обиды. Оттого и крики: — Долой Омара!

— Вон со сцены Езида, вон нечестница!

Оттого из аудитории на сцену летит камень. Так прогоняют невинных мучителей шаха Гуссейна.

Возбужденная толпа бросается на сцену, чтобы помешать совершиться злу, а сама совершает преступление. Люди забыли, что на подмостках не реальные события, а только театральная игра. Омару удалось свастись, Шимра побили до полусмерти, а нечестивец Езид — в самом деле убит.

— Что вы сделали, безумные?

Актер, изображавший Езида, — умер смертью святого.

* * *

Идеи, заимствованные Магомедом, медленно проникали в толщу народных масс Востока. Философия мусульманской религии, долгое время была достоянием лишь аристократических верхов среди народов, населявших Малую Азию. Древняя религия персов, последователей Зороастры, умирала медленно. Ее сломила в веках не сила идей мусульманства, а оружие тюркских завоевателей. Шиизм *) первое время был приемлем для поработенной Персии, как меньшее из зол. Это была волюнтарная, протестующая секта против официального суннизма монгольских владык. Шиизм просачивался в Персию крайне медленно. В течение семи веков, протекавших после трагедии Гуссейна на берегах Евфрата до Сефевидов, т. е. до конца пятнадцатого века, были неоднократные попытки провозгласить шиизм государственной религией. Они кончались неудачно. Сила сопротивления нации побеждала эти попытки. Шииство восторжествовало в Персии, в конце концов, как национальная форма ислама, а не чистая религиозно-философская концепция. Суннизм — космополитичен, шиизм узко-национален. Более девятидесяти процентов населения Персии шииты. Они даже предпочитают, совершая путешествия к святым местам, ехать на поклонение не в Мекку, а в Кербелду. Шиизм способствовал сплоченности Персидского государственного организма и в значительной мере удержал государство от распада. Религиозный фанатизм шиитов восполнял недостаток патриотизма. Непрерывная борьба персов с турками-суннитами способствовала бюрократизации шиизма. Он превращался постепенно из свободной протестантской веры в нетерпимую, узко-клерикальную религию — религию форм, обрядов, схоластической мертвечины. Появилась реакция, в виде

*) — Шии по-арабски означает „друзина“ „посланики“.

новых вероучений, сект и пророков. Стали оживать старые религиозно-философские системы, возродившиеся сначала среди духовной аристократии, а затем постепенно проникающие и в народные массы. Искренние верующих шиитов остается все меньше и меньше. Иначе как же объяснить возрождение суфизма, успехи исмаилизма и победный рост бабизма, готового поглотить господствующую церковь? Конечно, суфизм — не религия. Это скорее — философия практического житейского аскетизма. Идеи суфизма стары. Их носителями еще в средние века были философы, ученые, поэты. Нашествие монголов в Персию в тринадцатом веке причинило большое несчастье. Много образованных людей было истреблено, наука и искусство едва не исчезли с лица земли, жизнь утратила привычные формы и красоту. В эпоху лихолетья оставалось не жить, а прозябать. Это состояние было мучительным и для культурных людей могло кончиться печально. Смерть угрожала уже самому духу человека. Инстинкт самосохранения подсказывал философскую форму оправдания жизни. Суфисты нашли в себе силы противопоставить суровости действительной жизни организованную силу человеческого духа. Они учили людей сосредоточиться в самих себе, воспевали радости жизни, но призывали к аскетизму. Выхода не было. Ведь все равно, кроме несен и мечтаний о радостях жизни, ничего другого не оставалось. Аскетизм во время монгольского владычества был естественной формой человеческого существования.

После объявления шиизма государственной религией Персии, идеи суфизма поблекли. Воспетые в музыкальных стихах Саады, они сотни лет восхищали любителей красоты и искусства.

Официальная церковь придавила суфизм и только в середине девятнадцатого века человеческий дух, рвущийся на свободу, найдя новые формы веры, облекся вновь и в одежды суфизма.

Однако, шиизм — господствующая религия. Народные массы не знают философии религии. Им чужда ненужная мудрость теории. Народ живет верой. Он боготворит Имама Али, считая его выше самого Магомета.

* * *

Много народов находилось под властью древней Персии. В общем и правители ее и персидский народ терпимо относились к чужим религиям. Возникшая мусульманская официальная церковь жестоко боролась с инаковерующими. Приверженцы старой веры предков — поклонники учения Зороастры не избегли этой участи. Преследование парсов, или как их называют в Персии, гебров, началось еще в восьмом веке, после падения династии Сасанидов. Мусульманский фанатизм, недавно проникший в Иран, еще не окрепший, был, однако, жесток к старой религии. Преследуемые эмигрировали в Индию, где и нашли истинное гостеприимство. Новая земля стала вторым отечеством. Честные и трудолюбивые беглецы свободно исповедывали веру, учились, богатели. В современной Индии, среди парсов, много знатных и культурных людей, являющихся украшением страны, некогда приютившей их предков. Не то в Персии. Шиизм притесняет гебров. Их осталось немного. Не более десяти тысяч. Религия современных парсов — видоизмененная религия Зороастры. Источник мудрости веры — из священной книги Авесты. В религии преобладают черты монотеизма. Верховное Существо — невидимая реальность. Стихии природы — огонь, воздух, вода и земля — лишь идеальные символы вечного света Верховного Божества. Отсюда у парсов культ огня и других стихий. Религиозная мораль основывается на трех положениях: „добрые мысли, добрые слова, добрые дела“. Только полное осуществление этих трех заповедей может возвысить человека

в земной и будущей жизни. Каждый паре должен начать жизнь в унижении. Оттого и роды у парсов проходят во дворе. На седьмой день от рождения, астролог составляет для ребенка гороскоп, который хранится в семейном архиве. До семи лет ребенок грешить не может. Если он умирает в этом возрасте, то его душа попадает к Богу. В рай. По достижении мальчиком семи лет, над ним совершается особый обряд: омовение коровьей мочей и опоясывание „поясом веры“. Пояс веры состоит из 72 шнурков и носителю всю жизнь в трех шнурках, — символах трех великих заповедей жизни. Семьдесят две нити пояса соответствуют количеству мудрых глав Ясны, одной из книг священной Авесты. После опоясывания поясом веры наступает для человека нравственная ответственность за „мысли, слова и дела“. Гебры поклоняются солнцу — вечному источнику живой огненной силы. Они боготворят огонь. Чтобы погасить, не дуют на него ртом. Чтобы не осквернить нечистым дыханием. Машут рукавом — пока огонь не погаснет.

* * *

— Поедем в „башню молчания“!

— ?!...

— На кладбище огнепоклонников. Парсы называют так свое кладбище. Недалеко.

— А куда ехать?

— Здесь недалеко. Поездом с полчаса, не больше.

— Как поездом? По железной дороге?

— Ну да, по железной дороге. Верст тридцать.

— А я думал, что кроме Тавризской в Персии больше железных дорог нет!

— Да, вы правы, кроме этих, других нет. А Рештская, вы забыли? ха, ха, ведь верст восемь!

Разговор происходил в Тегеране, в доме гостеприимного А. И. Григорьянца.

Наш хозяин — учитель, коммерсант, переводчик — на все руки. Милейший человек. Добрый и отзывчивый, он помогал нам всем, чем мог. Привязался к Земскому Союзу и к нам.

В пути, в чужом и грязном персидском доме в Менджиле, умер Григорьянец от холеры. Земцы подобрали неизвестного, принесли в госпиталь и отходили больного. Григорьянец сказал:

— Вы спасли мне жизнь, разрешите мне помогать вам. Все, что у меня есть, в вашем распоряжении.

Два года бескорыстно служил Александр Носифович делу милосердия, разделяя наши печали и редкую радость на фронте. Мы подружались. Теперь в гостях у него. Он показывает нам Тегеран. Загородную поездку решили на завтра.

Маленький поезд с игрушечным паровозом и вагончиками в полчаса домчал нас до места, откуда нужно было подняться в горы на кладбище огнепоклонников пешком. В вагончиках, как в клетках, мужчины сидели отдельно, женщины — отдельно. Еще с поезда нам указали в горах белую круглую башню. Это и было кладбище. Горы здесь небольшие, но красочные. Общий тон — желтый, почти оранжевый. Белая башня в горах выделялась резким белым полукругом. Поднимались медленно и с трудом. На дороге было много камней и щебня; идти было неудобно. „Башня молчания“ росла на наших глазах и было уже видно, что это не башня, а широкое свернутое кольцо. Оно расположено на крутом склоне, а потому если подняться по склону, на несколько десятков шагов выше, то хорошо видно все пространство внутри каменного кольца. Стены его очень толстые, мас-

сивные и, только в одном месте, у входа — полые. Двор разделен на клетки, отгороженные одна от другой камнями. В каждой такой клетке лежал труп человека или остатки его.

Тела были в согнутом положении; при погребении их оставили полусидящими, обращенными лицами вверх.

Вероятно, так нужно по ритуалу. Покойники были погребены одетыми. В некоторых клетках остались лишь клочья этих одежд. Солнце жгло эти трупы медленным огнем. Ветер разметал их одежды. И птицы нитались мясом покойников...

Нас прервал Александр Носпфович:

— Персы говорят, — сожжение тела или зарывание его в землю оскверняет огонь и воду. Смотрите, вот остатки пишествия!

Он указал на разбросанные кругом кости. Оне валялись в нескольких местах: рядом с костями, мы видели обрывки материи, тряпки, клочья желтоватой ткани от аба...

Кто-то из дам сорвал цветок. Почва была каменистая, однако, и здесь была жизнь... Цветы росли редко и были они огромно желтые, жирные. Я не знаю, как называются эти цветы. Я люблю цветы, но всегда мне жалко их рвать. Я люблю смотреть на них, когда они живут, растут в земле. А здесь, в первый раз в жизни мне было неприятно смотреть на них...

Мы уже далеко отошли от кладбища огнепоклонников. Я погружился в какие-то думы, как вдруг услышал голос идущего впереди меня А. И... Он продолжал кому-то объяснять:

— Конечно, птицы растаскивают мало костей. Все остается на кладбище. Потом, когда солнце и ветер сделают свое дело, кости собирают из всех этих клеток и складывают в ямы, — огромную пропасть недалеко от кладбища.

Ветер рвал его слова и далее я уже услышал:

— В доме у такого огнепоклонника, в камине не угасает огонь... горит вечно... Его собеседник небрежно бросил:

— А, что-ж, это все же лучше, чем быть закопанным в землю.

Я вспомнил старинный афоризм о живой собаке и мертвом льве.

Обратно ехать в поезде не хотелось. Пошли пешком. Прогулка была взрядная, но мы были вознаграждены красивыми видами, воздухом и вечерним очарованием окрестностей Тегерана. Солнце было на закате. Огромный красный шар медленно спускался к горам и невидимые лучи его уже золотили вершины гор, а небо, вечно-синее небо Персии, было безоблачно.

Мы услышали вдруг бурный мотив барабана и трубы. Мы уже вошли в город и посмотрели на солнце. Нижним краем оно зацепилось за туную верхушку горы и медленно таяло. Барабан отбивал глухой дробью какой-то мотив, а труба печально варшировала те же звуки. И бурный и тоскливый, призывной и прощальный — он до сих пор вспоминается мне, при закате солнца. Музыка провожала солнце до конца. Когда провалилась последняя блестящая полоска его, стало сразу торжественно тихо.

* * *

Это было в середине девятнадцатого века.

В Ширазе объявился пророк. Юноша с горящими, как угли, глазами, с вдохновенным лицом, произносил перед толпами мусульман страстные речи. На религиозных собраниях, на площадях и базарах, он бичевал духовенство, его консерва-

тизм и пороки, осуждал фанатизм официального ишизма и призывал народ к борьбе с ним. Талантливый проповедник, которого ишизцы знали как Муххамеда-Али, объявил себя „бабем“ *). Он говорил:

— Правоверные забыли Бога, исказили веру, и на земле, вместо божественной истины, воцарилась несправедливость и ложь. Бог напоминает своему народу забытую правду через „Махдия“ — мессию. Бог послал махдия к людям, чтобы передать им новое божественное откровение. Он — „баб“ — врата Божественного откровения. Нужно восстановить справедливость. Все люди братья. Не должно быть ни бедных, ни богатых. Среди всех слоев персидского народа должно царить истинное братство. Чужеземцы, гяуры — тоже братья. Все народы — братья. Все должны пользоваться равными правами. И мужчины и женщины. Зачем женщина под чадрой скрывает лицо? Разве мать будущих граждан не равноправный член семьи? Разве женщина неспособна помогать обществу и государству? Всякая вера свободна. Преступление совершает неслам перед Богом и совестью, преследуя чужую веру. Наука свободна. Широко должны быть открыты двери школ для народа. Прогрессе благодетели для людей. Нужно преобразовать всю жизнь и обновить церковь.

В народные массы были брошены искры протеста, борьбы и новой правды. Искры зажегли мусульман. Слова энтузиаста были подхвачены народом и новые идеи, передаваясь из уст в уста, со скоростью ветра пронеслись над всей Персией. У „баба“ появились ученики в Тегеране, Казвине, Тавризе, Исфагани, а последователи во всех концах персидского государства.

Духовенство требовало у правительства борьбы с смутьянами и еретиками. Правительство испугалось. В новом религиозном движении социальный и политический элементы занимали большое место.

* * *

Жестоким правителем был Насер-эди-шах. Он из тех царей, которые с первых дней своего царствования проявляют кровавую твердость власти, вызывают непамять народа при жизни, а после смерти оставляют печальную память. Шах вступил на престол в лихорадочный 1848 год. Вспышки волн европейских революций долетали до Персии. Освободительные идеи сорок восьмого года укрепляли бабизм, как движение огромного социального значения. Насер-эди-шах решил раздвинуть внутренних врагов. Началось массовое истребление бабидов. Трон был забрызган кровью.

Схватили красавицу „Коррет-аль-айн — отраду очей“ и привезли в Тегеран. Пламенную проповедницу вырвали из среды ее поклонниц. Уже больше не будут вдохновенно сверкать ее длинные черные очи, уже больше не будет звенеть серебряный колокольчик за решетками эрдерума...

— Коррет-аль-айн — опасная преступница! Она ходит без чадры. Она развращает жен и сестер наших. Она губит семью.

— Сжечь живьем, — сказали духовные особы.

— Быть по сему, — сказал шах-ин-шах**).

Сгоняли народ на примерную казнь. „Отрада очей“ была сожжена.

Муххамеда-Али боялись. Баб ходил всегда окруженный друзьями.

— Схватить, — приказал Насер-эди.

*) — „Врата“. Врата Божественного откровения.

**) — Царь царей.

Баб был арестован в Тавризе, приговорен к смерти и расстрелян.

Трон окрасился кровью.

Насср-эддин продолжал преследования. Новая вера была запрещена. Аресты и убийства были системой государственной борьбы с врагами церкви. Бабы искали спасения в бегстве за границу — в Россию и в Турцию. Их ловили, сажали в тюрьмы, избивали и мучили. Бессудные казни продолжались. Шах царствовал почти пятьдесят лет и всю жизнь жестоко боролся с своими врагами.

Трон Насср-эдина утонул в крови.

* * *

Бабизм не свергал ислам. Бабы не хотели уничтожить существа религии. Ствол мусульманской веры оставался непоколебленным. Бабизм стремился лишь облагородить веру отцов. Несмотря на жестокие притеснения, идеи бабидов живы в Персии до сих пор. Современный шиизм, конечно, враждебен бабизму, но гонения на бабидов прекратились, — в Персии объявлена веротерпимость. Жестокая политика религиозного угнетения шаха Насср-Эддина дала обратные результаты. Бабизм окружен ореолом мученичества. Веротерпимость обнаружила, что больше трети населения персидского государства — бабы.

Религиозные эмигранты в Турции раскололись на несколько сект. Появился новый пророк, который стал утверждать, что истинный Мессия — он, что Муххамед-Али не „баб“, а лишь предтеча. Бехаизм — лишь видоизменение веры заимствованной шиизмом творцем ее. Мечты бехаизма — совершенное счастье всех народов, говорящих на одном языке, основанное на заповедях:

— Да будет едино стадо и один пастырь.

Идеи бабизма, выйдя за пределы родины, уже перешагнули границы Востока. Евангельское учение нашло приверженцев в западных странах Европы, и в особенности в Америке.

* * *

Магомет запретил правоверным олицетворять Божество в каких бы то ни было образах. Древняя мудрость мусульманской религии отрицательно относится даже к воспроизведению человека и животных. Поэтому архитектурная форма искусства на мусульманском Востокешла своеобразные формы. Архитектура развивалась вне всякой зависимости от скульптуры и живописи. Эти два вида искусства не могли развиваться. Две области художественного творчества вывали из спектра культурных сокровищ. За счет скульптуры и живописи совершенствовалась архитектура. В храмах арабов и турок, вместо запрещенных фигур людей и животных, художники писали узоры и орнаменты. Они изощрялись в придумывании новых комбинаций орнаментистики и в этих формах творчества достигали совершенства. Вспомните сложную роспись узоров мавританских дворцов, мусульманских мечетей, хитросплетения орнаментистики стен, потолков и решеток.

Совсем не то в Персии.

Сначала волюнтаристский сектантский шиизм пробил брешь во взглядах церкви на живопись и скульптуру. Шиизм, как господствующая религия, имел в себе силы сорвать окончательно связывающие искусство путы. В Персии скульптура и живопись получили право гражданства. Мусульманские храмы имеют совершенный образец. Храм Св. Софии в Константинополе. Это всегда — купол на квадратном или

многоугольном основании. Так везде. Так и в Персии. Конструктивная основа архитектуры мечетей проникла в Персию вместе с исламом. Как старая совершенная форма искусства — архитектура определилась. Новые формы скульптуры и живописи еще не успели развиваться: они не соответствовали совершенным образцам архитектуры. Естественно, персидские художники обратились к национальной живописи домусульманских времен.

В персидских мечетях характерны высокие порталы: обычно, они заняты обширной арочной нишей. По бокам порталов — воздушные рвущиеся к небу минареты, не похожие на те, что строят арабы и турки. Снаружи мечетей и внутри эффектная декоративная отделка и орнаментация. Сложные узоры росписей, изгибы разнообразных растений, перелетают с причудливыми изображениями животных, птиц и фантастическими фигурами. На фоне, голубом, как и самое небо родной земли — белые цветы и зелень растений. На черном — золотые арабески и надписи. Краски гармоничны и скромны. Зрительный эффект в изумительном подборе цветов. Голубой цвет изразцов и мозаики ласкает зрение, радует.

* * *

Светелая живопись как древняя, так и современная, мало чем отличается от церковной. В ней мало идей, символика бедна. Она простодушно отражает действительную жизнь, причем форма художественного творчества преобладает над содержанием. Художник увлекается тонкостью технического исполнения, изяществом и тщательностью отделки рисунка, подбором красок. Застывшие формы живописи, отсутствие порывов, исканий персидских художников не отражают разве общий застывший характер персидской национальной жизни, утратившей прежнюю бурную активность. Сюжеты картин однообразны. Их содержание — в дворцах — эпизоды сражений, шахские охоты, приемы послов иностранных держав. На небольших картинах художники изображают исторические события, повседневный быт, эпизоды из жизни гаремов.

Очень распространена миниатюрная живопись. Книжки, рукописи, гражданские акты украшены портретами, рисунками и сложными разноцветными узорами. Предметы повседневной жизни, — мебель, зеркала, кальяны, кальянданы — пестрят мозаикой и яркими красками.

* * *

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ВЕЧЕРИНКА

В сводном эскадроне Кавалерийской Дивизии вечеринка, после разговенья.

Нужно заехать и в штаб.

Обязательно. Иначе будет обида. Дорога очень неприятная — надо взять перевал, да еще верст сто по шоссе. За ночь выпал снег и сразу все оделось в белое, а горы стали седыми. Времени много — целый день. Настроение предпраздничное.

* * *

У Маньяна были часов в двенадцать дня. У самого перевала оживление. Вся этапная команда высыпала из жилых помещений и смотрела вверх. Увидели аэроплан. Конечно, он мог быть только неприятельский, — все знали, что у нас ни одного аэроплана нет. Солдаты побежали за винтовками и началась бессмысленная, похожая на забаву, трескотня. Аэроплан был очень высоко, ружейная пуля до него не достигала. Стрелял и мой вестовой и мои спутники; я злорадствовал, когда в руках у вестового разорвалась винтовка. По делу ему! Винтовка не была в употреблении очень давно, должно быть, с осени и, как оказывается, ни разу не чистилась... В дуле накопилась пыль и грязь, и при первом же выстреле в руках у славного драгуна приклад разлетелся в щепы... К счастью благополучно. Только запозило руку. Однако это не отбило у него охоту воевать с недосыгаемым противником; выпросив у кого-то из этапных солдат винтовку, он продолжал забаву. Позже случай с винтовкой я рассказал в штабе корпусу, и он был по приказанию начальника штаба предметом особого расследования и длительной переписки с Тифлисом. Оказывается, винтовка не может разорваться, не должна, и это был из ряда вон выходящий случай.



Автомобиль на перевале идет с трудом, колеса буксуют и он временами останавливается. Покрывки шоффер старательно обмотал веревками, но с усилием и без толку вертятся колеса на одном месте. Мы вышли из машины и, подпирая ее плечами, с трудом подвигаемся вперед — на несколько десятков шагов. Но склоны горы особенно много снега; сотни рабочих персов расчищают путь. Снег белый и чистый; рыхлыми, влажными комьями лежит на доплатах, им осыпаны персы. Работают дружно, чтобы согреться: в этом месте уже образовался снежный коридор. Светит солнце, и снежинки играют в его лучах мелкими блестящими, яркими и разноцветными. Снег — ослепительно белый, больно смотреть. Надо одеть очки.

— Алексей Иванович, — обращаюсь я к вестовому, — где же темные очки? Посмотри-ка в саквояже.

Там, где автомобиль остановился — подъем невысокий и снегу немного, а потому глухо, — рабочих нет и машину приходится тащить на себе. Пошли за рабочими. Дружно и весело, со смехом и шутками, лишь прикасаясь пальцами к стенкам „Форда“, они проталкивают его вперед. Обленили со всех сторон. Их много — сорок, пятьдесят. Но коридору машина прошла сама, на первой скорости, а потом стала опять.

Через несколько часов мучений перевал взят. Султан-Булах. Здесь застава Энзели-Тегеранской дороги, броневой взвод и питательный пункт. Слава Богу. Неприветливо смотрит часовой у броневиков, а они неподвижно стоят стальные и безмолвные, с изображением черенов, готовые нести разрушение и смерть. К нам выходит навстречу заведующий пунктом.

— Как доехали?

— Да лучше не спрашивайте.

— А что намело? Оставайтесь почевать. И праздник как следует встретим.

— Спасибо, дорогой, нам нужно в город.

Идущему на дорогу и холод. Заведующий говорит:

— Шагах в ста отсюда, не больше, нашли замерзшего перса. Немного не дошел бедняга. Заблудился. И ослы с ним. Его уже принесли на заставу, этанские, а ослики там. Хотите взглянуть? Трун был в снегу; лицо разобрать трудно, да и смотреть неприятно.

Хотя было очень холодно — любопытство взяло верх. Пошли посмотрели и осликов. Они лежали недалеко от дороги, наполовину покрытые снегом. Грузу не было. Должно быть, возвращались порожняком. А может быть, поклажу забрали этанские.



Летом, на перевале, свежий ветер несет запахи трав и цветов. Ими усеяны склоны и вершины вереницы тучных удлиненных холмов. На красно-желтом фоне их зелеными пятнами в ущельях и оврагах — деревни.

Местами, квадраты засеянных злаков оживляют ландшафт.

Зимой — мертво. Голо, однотонно и серо, а когда выпадает снег, то все кажется покрытым белым саваном мертвых. Никакой жизни в горах.

На шоссе только наш автомобиль; персы уже кончили работу и разошлись по деревням, нам под горку ехать недолго — часа четыре, и мы не торопимся. Но ту сторону перевала снега нет и мы надеемся добраться до полуночи. В комнате

тепло, даже жарко. Нас угоняют яичницей и какао. Усталый, продрогший — оживаешь и только теперь начинаешь понимать и ценить значение этих питательных пунктов. Человек пятнадцать прохожих солдат расположились на скамьях и на полу. Топчанов*) всего два и на них лежат больные. Чем?

— Бог его знает, — говорит фельдшер, — малярией, должно быть. Одного трясет здорово.

— А температура сколько?

— Да неизвестно, градусник разбился, а другого нет.

Отдали свой. Оказывается, жар изрядный, сорок с дробью.

— Его бы надо отвезти в Аве, в лазарет.

— Да ведь Рождество завтра, кому охота ехать, никто и не едет.

Мы взяли больного и сдали его в Аве в госпиталь. По дороге угодили в канаву; с левой стороны дороги, вдоль стены склона — канава, а справа крутой обрыв прямо в ущелье. На поворотах автомобиль заносило то вправо, то влево, и на одном из них, мы, к счастью, попали налево.

Часов в десять вечера, уже на равнине, пошел крупным хлопьями мокрый снег. Вся дорога была смазана талым жиром. Несмотря на медленный ход машины, задние колеса заносило уже не только на поворотах, но и на прямой. Опасность миновала, но была перспектива провести Рождественскую ночь в поле, или, в лучшем случае, на ближайшем питательном пункте. В канавах у дороги мы видели брошенные грузовик и легковую машину. Снег слепил шофферу глаза, а полевой ветер забирался под подшубок, френч, в сапоги. Было холодно, ноги замерзли, а за матерчатыми стенками автомобиля бушевала неногода. У шоффера как раз был приступ малярии и ему трудно было управлять машиной. Мы все же понемногу продвигались вперед. Снег прекратился и уже показались огни города. Было около двенадцати часов ночи. Мы опоздали изрядно.

* * *

Однако, нужно проехать еще в штаб и в Земский Союз. Какая досада, что мы так опоздали!

Мы разделились; меня оставили в штабе, а других повезли в сводный эскадрон. В штаб официальный визит, а потому через четверть часа я уже освобожден и опять дома. У Земцев — разговоры. Шумно, пакурепо. Бархатный баритон заневает: — на мотив: „Дело было под Полтавой“:

— Земсоюз наш не зевает —
Кормит, поит он солдат;
Холод, голод презирает
Проходящей буре рад.

Дружный хор двух десятков голосов подхватывает:

„Холод, голод презирает...
„Проходящей буре рад...
— Земгусар не отступает
Не склоняет свой палаш,
Хоть как свечечка он тает,
Хоть и кушает --- лаваш.

(Принев)

*) Деревянная койка.

Он препятствий не боится,
Он не струсит — Земгусар,
И кричит он всем препоном
„Хабардар“ и „Хабардар!“ *)

(Привев)

Но туманы **) в кассе тают
Худ и тощ наш Земкарман,
И отряд весь поскликает:
„Чох яман“ и „чих яман!“ ***)

(Привев)

Все ж мы веселы, как птички,
Земгусар. Ты не ронищи.
Курс *) удвой путем накладки **) —
„Чох якини“ и „чих якини“ ***).

(Привев).

Весело у нас. Квартет мандолин и гитар. Танцы — лезгинка и гонак. Созиная сегодня в ударе, а Еня Каролицикий — рассказчик и конферансье, превзошел самого себя. Новые куплеты Штильмана имеют особенно шумный успех: — Обзорение на всех:

На Салтыкова:

— Салтыков с душой поэта
Уезжает невзначай,
Он ушел из лазарета,
Чтобы ехать в Юзбаш-чай.

Хохот. Все знают, что Салтыков переведен на пиззую должность из Казвинна — подальше от соблазнов „мокрого“ города.

На Светличного:

Наш Светличный — энергичный,
Словно вкопанный стоит,
Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит.

Буданцев уже декламирует: Молодой поэт декадент-модернист, вышучивает самого себя:

— От Рождественских танцев
Остался легкий пируэт,
Откомандированный Буданцев,
В Закавказский Комитет.

Аплодисменты. Веселье разгорается. Но надо ехать к драгунам. Начало второго.

*) Прочь с дороги.

**) Деньги — туман равен двум рублям.

***) Очень плохо.

*) — Курс падающих русских денег, по отношению к персидской валюте.

**) — Рукоприкладство, мордобой.

***) — Очень хорошо.



Мы только вошли в комнату, как навстречу услышали:

— Нам каждый гость дается Богом...

Веселье было в разгаре. Во всю длину большой и узкой комнаты был накрыт стол, человек на двадцать. В комнате жили офицеры, а на этот вечер ее превратили в столовую. В углах стояли походные койки. На стенах было развешено оружие. На председательском месте сидел бравый, с седыми бакенбардами, полковник. Рядом с ним, с обеих сторон, дамы. За синюю полковника, в открытом камине потрескивали поленья. Было жарко и дымно. Повидимому, официальная часть вечера закончилась — было беспорядочно шумно и не все места за столом были заняты. Против тулумбаша, на противоположном конце стола, сидел подполковник Д., с Георгием и Владимиром с мечами. К полковнику все отнеслись с заметным уважением; он о чем-то оживленно разговаривал по-персидски с своим соседом персом. Позади перса, как истукан, стоял его слуга, в мундире с металлическими пуговицами. У хозяйки и слуги головы были выбриты по-персидски. Лоснилась широкая полоса черепа от лба до затылка. Рядом с полковником сидел ротмистр Т. и опять перс.

Т. был очень мрачен. Должно быть, много выпил. Он напряженно молчал и вдруг неожиданно вскидывал на перса свои большие, пьяные глаза; только тогда, казалось, он замечал соседа; молча схватывал бутылку вина, стараясь наполнить им чайный стакан соседа, и так переполненный до краев. Другой рукой он подносил к самому носу гостя какую-то еду; перс начинал пкать. Он благодарил за честь, так как был совершенно сыт, и больше ничего ни есть, ни выпить не мог. Персы были: старший — местный помещик домовладелец и крупный поставщик армии, другой — его управляющий. Оказывается, их завлекли на вечеринку, уже после полуночи. Подняли с постелей. Кто-то сказал, что надо пригласить приехавших персов, и что это будет способствовать восстановлению дружеских отношений между двумя державами, так как пребывание наших войск в Персии и даже самый факт нарушения нейтралитета может вызвать военные действия против Российской империи. Говорил известный шутник К. У., поручик, весельчак и остряк. Предложение прошло с восторгом. Персы были польщены таким вниманием, в особенности управляющий.



Приехавший недавно в полк прикомандированный к северцам корнет Е., Московский помощник присяжного поверенного, читал вслух группе офицеров и дам, в числе которых была и княгиня Долгорукая, тут же сочиненную шутку-эпиграмму:

„Увидавши Долгорукую,
Горе я свое забыл;
Не томим я больше скукою,
Бросил город, бросил тыл

Не колочу себя уж в перси я,
Теперь отчизна моя Персия,
Родной мой город — Керманих,
Из всех друзей — мне друг лишь шах.

Забыл семью я двуклювую,
(Поверьте, я не лгу...)
Я Запорожец. Я драгун.
Я смел, как генерал Баратов,
И дорог мне теперь скакун.

К чему писать? Зачем мой стих?
Ведь в жизни все есть просто здесь.
Я мудрость новую постиг:
„Да не уменьшится Ваша тень“.

Последняя строчка в особенности имела шумный успех. Все знали эту персидскую поговорку, но не все понимали ее. Еще полчаса тому назад Запорожец что то обстоятельно и долго пояснил Долгорукой, повторяя несколько раз эти слова.

Пере не говорит просто. Он говорит всегда длинно, образами, сравнениями, стихами. Речь простого и культурного перса, как будто, два разных языка. Простой говорит бледно и мало, образованный — ярко и красиво, украшая свою речь метафорами и цитатами из поэзии. Корнет Е. объяснил последний стих своего экспромта:

— Это самая вежливая форма пожелания благополучия путешествия. Когда человек стареет, он горбится, а тень его уменьшается. Когда человек уезжает, — неизвестна судьба его: может быть, он никогда не возвратится. Когда пере говорит уезжающему в путь-дорогу „да не уменьшится Ваша тень“ — это означает пожелание не горбиться, т. е. не стариться. Отъезжающему желают, по нашему, просто счастливого пути.

Дамы смеялись. У., обращаясь к ним, процитировал язвительный афоризм мудреца-поэта Саади: а потом вынул из кармана прелестную коробочку, служившую в данное время ему портсигаром. Коробочка была из серебра и покрыта изображениями женщин. Их было двадцать. Прекрасная тонкая работа. По краям коробочки художественным почерком по фарсиейски было выгравировано изречение Саади. Дамы возражали и разгорелся спор. Тулумбаш затыкнул хриплым голосом:

— И шли мы дружно к схваткам новым,
Не ожидая череды,
Хвала погибшим, а здоровым —
Алла-верды, Алла-верды.

Спор прекратился, и все двадцать голосов подхватили любимую, застольную песню.

— Алла-верды. — Вдруг вскричал громко Т.

— Якин-оо-а. *) — отвечали хором и дружно.

— Господи полковник, разрешите.

Т. невольно рукой поднял бокал и дрогнувшим голосом:

— За украшение нашего стола, за цветы жизни нашей, что зимой цветут,
— за присутствующих дам.

Много смеялись и всем перцеловали „ручки“.

* * *

Просили спеть Евгению Валерьяновну. Взяла гитару. Сочный mezzo-сопрано говорил речитативом:

*) Непереводимое слово, ответ на приветствие: „Алла-верды“.

— Генерал Баратов —
Первоклассный воин,
В кругу адвокатов
Перлов он достоин.

Хор подхватил припев:

— Ой, чики-чики, бум-чики. Ой, чики-чики-бум. Ой, чики-чики. Бум-чики.
Ой, чики-чики-бум.

Куплеты следовали один за другим и, повидимому, были приготовлены заранее, так как относились к большинству присутствующих. Особенно понравились стихи по адресу М.

— С фронта прямо в гости,
Кожа, хаки, кости,
Дон-Кихот — нисколько,
Дон-Жуан и только.

и по адресу Е., недавно женившегося в Москве вторично:

Если в счастье веру
Потерял ты милый,
То у Алексея
Позаймствуй силы... Ой, чики-чики...

— Евгения Валериановна, спойте соло.

— Спойте „Казбек“.

— „Камин“.

— „Рояль был весь раскрыт“.

— Спойте „Две Гитары“.

Просили шумно, наперебой, каждый хотел послушать свою любимую песню. Пела много, сильным голосом и с талантливой экспрессией. Романс Вертинского: „Я сегодня смеюсь над собой“, спела много лучше самого Вертинского. Много страдания и надрыва в голосе, в тонких переходах, трагизма в манере и мимике... „Две гитары“ имели наибольший успех. Тоска, мучительная тоска о прошлом, о пережитом... В художественной передаче певицы, каждое слово рождало образ, каждый звук — печаль. И вдруг припев с внезапным переходом к безудержному цыганскому веселью, разгулу:

— Эх раз, еще раз, много, много, много раз.

Смена передаваемых настроений, тонкие оттенки переживаний, перевоплощали певицу, и непонятным казалось, как могла такая молодая женщина столько пережить и выстрадать. Ибо невозможно было так говорить о страданиях, так плакать и смеяться, не испытав ни подлинного горя, ни счастья. Было полутемно. Разговоры прекратились. Слушали только ее. Было мучительно сладко это пение, касалось оно каждого, и каждый переживал и чувствовал в эти минуты свое глубокое, скрытое от всех... Но бронзовому застывшему лицу тулумбаша-полковника катилась слеза, у Д. были влажны глаза, а Е. заметно нервничал, — у него подергивалось лицо.

Певица пела известный романс: „У каминя“.

— Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской,
Как печально камин догорает...

Внезапно, посредине слова, она остановилась; с безумно расширенными глазами, глядя на камин, закричала:

— Змея, змея!

Стоя во весь рост, с гитарой в руке и вся дрожа, она смотрела на камин. Мы увидали в камине большую, серую змею. Она ползла сверху из дымохода и

выползла на горящие угли. Ей было жарко и больно: ее обожгли угли, — мы услышали как на огне зашипела чешуя змеи: быстрым движением она отскочила назад, выпрямилась как пружина и на кончике хвоста свободно переместилась через горящие угли. Здесь была доска — нечто вроде барьера камня. На этой доске, быстро свернувшись спиралью и поджав шею, она остановилась, покачивая головой. Она держала шею оплуттой, как лебеди, на четверть аршина выше доски и углей. Она остановилась и смотрела на певицу, а певица безумными глазами на нее. Это было всего несколько мгновений. Кто опомился первый — не знаю; только все пришло в движение — стали шуметь и кричать, что змею надо убить. Схватили шинговки со стен и стали бить ее, кто прикладом, кто стволом... А. П. Григорьянц горячо протестовал:

— Она никого не тронет, — говорил он на ломанном русском языке. — Она приползла послушать пение. Послушает и увидет обратно. Не бейте, господа, прощайте вас, не надо убивать.

Но он не успел упрямить змею убили, разложив ей голову прикладом. Она была большая — аршина полтора в длину. Григорьянц и персы говорили, что змея ядовитая, но людей жалит только при самозащите. Змеи очень любят пение, и она приползла на пение. Вероятно, в крыше, где жила змея, было холодно и она забралась в трубу погреться, а может быть ползла по крыше и, услышав через трубу пение, заползла, чтобы послушать. Они уверяли, что, еслибы змею не убили, то она приползла бы к певице на колени, свернувшись бы и слушала пение.

Певица была очень напугана.

— Мне казалось, я схожу с ума, вероятно, змеи нет, она мне мерещится. Вы просите: „Камин“. Я начала; ничего, а потом смотрю: змея. Странно стало. Ведь я же сколько песен села, змеи не было. А зашла „Камин“, в камине змея появилась. Должно быть, решила я, я схожу с ума...

Успокаивали. Говорили, что змея давно сидела в камине и что заметили ее, когда по поводу песни стали смотреть на огонь. Далее певица петь уже не могла.

* * *

Мужчины пили водку. Местную водку-араку, рисовый перегон, с сильным запахом сивухи. Поручик К. острил:

— За неимением гербовой, линнут на простой, — а потом прибавлял, обращаясь сам к себе: — Ваше здоровье, Александр Иванович, — и большим глотком опрокидывал простую... Пили много и тяжело. Было поздно. Часа три. Опять возобновились речи. Тудумбаш поторопился ограничить продолжительность их пятью минутами: пили за все полки дивизии, за казаков, за дам, за командира корпуса, опять за дам, опять за славных северцев, за тудумбаша и за всех присутствующих. Пили до дна, чокались, и с песнями-здравицами:

— Хор наш поет привев любимый, и пусть вино льется рекой, к нам приехал наш родимый, Алексей Григорьевич дорогой. Ней до дна, ней до дна.

Стало опять шумно. К полковнику Д. подошли У. и Е. и начали его просить.

— Да нет же поздно, господа!

Наконец не выдержал:

— Ну ладно!

* * *

Трубачи разместились в соседней комнате стоя. Их было человек пятнадцать, если не больше. Одеты с иголочки. Оказывается, спать тоже не ложились — разговаривали у себя; приглашению были рады, так как знали, что получают хорошо „на чай“. Дирижировал трубачами фельдфебель, молодой фрайт, сухонарый, маленький, с тонко-закрученными на концах усиками... Труды были вычищены и сверкали... Заиграли полковой северский марш. Тулумбаш — северец. Большинство трубачей тоже северцы.

— Ура!

Затем Нижегородский, Тверской и казачий Хоперский.

Ура после каждого марша.

— Здоровье... полка!..

— Ура, ура, ура, ура!

Кричали отрывисто, сильно... Пир был шумный и веселье нарастало...

— Наурскую!

Трубачи заиграли лезгинку. Места было мало. Образовался круг. Размахивая огромными рукавами фраитовской черкески, выскочил хорунжий Г. Обошел круг, смотря в землю, и остановился как раз против Евгении Валериановны. Он вызывал партнершу. Сначала смущалась, а потом пошла.

— Олен! вдруг тихо закричал танцор; трубачи бешено отчеканивали отрывистую мелодию танца и игривая Наурская ударила по нервам. Уплывала от черкеса дама, как лебедь белая, плавно и бесшумно, а он удерживаемый, казалось, только ритмом музыки, порывисто и страстно настигал ее. Опять увернулась. Как хищная птица взмахивал крыльями-рукавами черкески танцор; талия тонкая вот-вот переломится, а лицо сосредоточенное, — в нем застыла страсть и угроза... В такт музыке хлопали все: „таши, таши“ и тем подогревали танцующих. Полковник Д. уже притонитывал на месте.

— Олен! — кричали кавказцы и казалось, уже плясало все: и пара в круге, и сам круг, и стены, и трубачи, и их трубы и вся комната... Быстрым движением танцор уже стоял на скамейке, а через мгновение одним носком мягкого сапога на столе, еще украшенном вином, посудой и цветами... Стройный и легкий, как серпа, он был уже по другую сторону стола и, казалось, летал по комнате... Не более минуты. Таким же ловким и бесшумным движением он перелетел через стол и, уже с двумя кинжалами в руках, настигал свою даму. А она опять увернулась, опять ушла... уплыла дальше... Он в горе. Кинжал у внеков и кажется, вот-вот острее их обогрится кровью... Трубачи ускорили темп... и уже тонкую и холодную сталь кинжалов держат зубы черкеса. Губы плотно сжаты. Кинжалы большие. Один — простой, черный, а другой с золотой насечкою и узорами; каким-то чудом кинжалы держатся во рту... Пара плывет перед глазами участников пирушки, а в руке у танцора уже большой блестящий револьвер и, кажется, только ритм музыки мешает прервать танец, и черкес ничего не может сделать иного, как двигаться, весь во власти этого ритма... И вдруг выстрелы: бум, бац... четыре, пять и. — никакой паники, а только уже он один в кругу, согнулся весь и бешено стреляет в пол, стремясь попасть между ног.

Дама ушла из круга, а он, стоя на одном колене, благодарит и целует руку ей под гром аплодисментов и крики:

— Bravo!

* * *

Вероятно, был пятый час утра. Все потеряли представление о времени. Дамы давно ушли. Часть гостей тоже ушла и оставались еще только самые беспокойные и не насытившие вином. Я тоже оставался; выпил много и горячо спорил. Спорил со

всем, а когда со мной не соглашались — обижались. Меня возмущал Д. — бил большие меня, а не вышел. Раздражал корнет Е: он должен был давно уже по моим расчетам уйти, а вместо этого сидел в расклеванном френче и разводил теорию о победном конце войны. Не помню, как это случилось, но я обиделся и решил уйти. Обиделся на тулумосина, на Е, на всех, кто оставался. Мне хотелось как можно скорее уйти. В комнате, где пировали, каждый был занят самим собой и моего ухода сразу не заметили. Я разыскал полунубок и вышел за дверь. Было холодно и темно. Однако небо было звездное и стало значительно теплее, чем накануне вечером в горах. Пошел куда глаза глядят. Быстро обогнул несколько кривых, узеньких переулков и очутился за городом. Сколько времени прошло — не знаю, но было еще совсем темно и я находился в открытом поле. Звезды были бледны. Под ногами твердая земля, иногда в небольших лужинах лопался лед, а в общем идти было тепло, — даже жарко.

Я услышал конский топот, голоса и сразу почувствовал обостренным чутьем, что это ищут меня. Я еще ненавидел их всех и ни за что не хотел сдаться. Они были враги. Искал места, куда спрятаться: увидел глубокую яму — несколько саженей в диаметре. Стал спускаться. Легко. Засел на дне и думаю — где же это я? Яма была сырая, на дне немного воды, но были и камни: можно было сидеть.

Я был на дне одной из ям старого заброшенного водопровода: ясно услышал, как меня зовут. Называли по имени и отчеству, титуловали, но я не отзывался. Твердо решил в пьяном безумии, что это — враги, неприятель, и что я ни за что им не сдамся.

— Собственно их всех нужно перестрелять, но у меня только маленький револьвер в шесть зарядов, а их много.

Я выждал пока голоса затихли, а потом выбрался на поверхность.

* * *

Звезд почти не было. Чуть-чуть посветлело. Я был в поле один. Вероятно, я пошел в сторону противоположную от города — стало уже светло, а я все шел и никакого жилья не видел. Шел без дороги и без цели и только, когда появилось солнце, — вдруг стал обдумывать мое положение. Хмель стал проходить: я почувствовал неслыханную красоту утра. Была зима, но воздух был так прозрачен, что горные цепи были видны с двух сторон. Я находился в огромной долине, в широком коридоре, в несколько десятков верст в ширину. Солнце уже играло на ослепительно белых вершинах горных цепей, а внизу, у моих ног — густая и мокрая трава, покрывающая берега извилистой не заморзшей речки. Был декабрь, но над дугами и речкой стаями носились дикие утки. Мое появление пугало уток, и, тяжело поднимаясь, они снимались с мест, не высоко летя над землей. Я выждал, пока они будут над моей головой, и боевыми патронами стрелял в гущу перепуганных птиц. Иногда слышен был отдаленный лай собак из окрестных деревень. Я старался обходить их, так как был далеко от проезжей дороги и в незнакомом месте. Ведь была война. Мне казалось, что нужно идти на восток. Я так и делал. В одном месте пришлось нескать бродом: не без труда, но нашел. Брод был глубокий. По грудь. Конечно, при свете дня я мог бы вернуться и идти в город, но утро было так чудесно, а обратно возвращаться не хотелось. Было уже около часу дня, когда я подходил к Г.

Я пробыл в пути больше восьми часов и прошел около тридцати верст. Хотел есть и спать. У ворот питательного пункта стоял мой автомобиль. Навстречу, осадив лошадей, на карьере ко мне подскакивали два драгуна. Один из них был мой пестовой Погорелов.

— Слава Богу, Ваше Высочество, нашлись! Господи, как мы Вас искали! Лавой рассыпались, целым эскадроном...

* * *

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Тяжело было на фронте осенью и зимой шестнадцатого года. Война длилась третий год и, казалось, ей не будет конца. Армии изнемогали в исполинской борьбе, а из тыла приходили нерадостные вести — рост дороговизны, чрезмерная расточительность нажившихся на войне спекулянтов, обнищание рабочих и крестьян, глухое недовольство в городах. Особенно раздражали армию слухи об измене наверху, о царице-немке, о Распутине. Новости привозили свои-отпускные, кое-что узнавали из газет, а пробелы восполняла фантазия. Приезжали часто гости — из Тифлиса, Петербурга и из заграницы. Экзотический фронт привлекал. В штабе сказали, что едет к нам походный атаман всех казачьих войск, Великий князь Борис Владимирович. Я впервые узнал, что есть такая высокая должность походного атамана, а на мои наивные вопросы, почему же верховным атаманом казачьих войск является не казак, получал неудовлетворительные ответы — что казачьих войск много, нужно их объединить, а потому над ними должно стоять высокое авторитетное лицо, не из казачьего сословия.

Ни к чему была эта должность; она была выдумана, чтобы занять Великого Князя.

Он приехал к нам с большой помпой и свитой и почти все время был в нетрезвом состоянии. Ему устраивали парады, банкеты, дастарханы, а он заметно всех презирал. Его повезли поближе к позициям, показать казаков в строю; когда пачальники частей собрались вместе, чтобы представиться, — Великий Князь подал руку только генералам. Офицеры обиделись. Полки приводили себя в порядок, чистились, убирали коней, — лезли из кожи, а он поленился проехать к этим полкам. Офицеры в складчину угощали высокого гостя; за сотни верст послали курьера в Элизли, за рыбой и икрой к Великокняжескому столу. Сели за стол. Великий Князь презрительно сжал губы и громко бросил:

— Опять икра, какая гадость! Надоело.

Офицеры возмутились.

Визит Великого Князя, Бориса Владимировича, в Персию, не достиг своей цели. Он не поднял бодрости в казачьих войсках и не укрепил связи армии с царствующим домом.

* * *

Весть об убийстве Распутина распространилась быстро. Втечение нескольких дней. Сначала в гарнизонах, затем на позициях и на глухих этанах в горах. Об убийстве узнали с радостью и жадно интересовались подробностями. Потом робко кто-то назвал имя Великого Князя Дмитрия Павловича, а когда в штабе узнали, что он едет на наш фронт в ссылку, интерес достиг крайних пределов.

— Распутина убили, поздравляю вас. Великий Князь замешан.

— Слыхали?

— Правда, что в наказание его отправили в Переню?

Так говорили русские и в городах, где стояли гарнизоны, и в полках.

Убийство Распутина было первым ударом грома начинавшейся грозы. Неудачи войны приписывались Двору. Политическая атмосфера была удрученной и выстрел в Распутина давал надежду. Казалось, пройдет гроза и легче будет дышать.

* * *

Я был в Казвини и получил телеграмму от Баратова с просьбой выехать в Менджиль, встретить Великого Князя.

Выехали на ночь, на двух „фордах“; к утру надеялись быть в Менджиле. Ночь была темная и холодная. В горах вынал снег, было мокро и скользко. Я дремал в автомобиле, тепло одетый в полушубок и укрытый буркой. Спать мешали шакалы. Злобный вой их и плач преследовал всю дорогу и в дремоте казалось, что это плачут дома дети, что они должны давно спать и почему никак не может их уложить в постель... Мой сон прерывает Беличников.

— Вот, Алексей Григорьевич! В Энзели сейчас хорошо. Я был третьего дня, графиню возил. Вынал снег. Снег лежит, а апельшины вьют! Ха! Ха! Ха! Красота!

Я что то пробормотал в ответ, пытаюсь заснуть. Должно быть, я дремал довольно долго и открыл глаза от какого-то большого толчка. Я ехал во втором автомобиле и увидел впереди, на изгибе дороги, через речку, медленно поднимающийся вверх, первый „форд“. Он ярко освещал генератором мокрую дорогу и хрипел и гудел на первой скорости. Я услышал громкие отрывистые крики. Автомобиль остановился и пассажиры выскочили на дорогу.

— Здесь, бей его! Вот, вот!

— Да не стреляйте! Хватай!

— Да он колется...

— А где же другой? Ищите, ищите...

Мы под'ехали к месту проишествия и приняли участие в охоте на дикобразов. Это было постыдное зрелище. Пара дикобразов, невидимому, далеко ушла от своих нор, и была напугана ярким движущимся светом и шумом мотора. Один из дикобразов бежал впереди машины, по дороге, вперед, невидимому, обезумев от страха. Справа был крутой склон, а слева обрыв. Может быть, зверь надеялся добежать до норы, гденибудь поблизости, незаметной в складках рыхлого массива. Бежал только один, другой куда-то скрылся. Его настигли в одном из изгибов ущелья. Он был равен и бежать дальше не мог. Оцетинился большими колючими иглами и хрюкал. В него бессмысленно стреляли, били вистовками, швыряли камнями. Это, должно быть, был старый дикобраз. Тяжелый — пуда полтора весом и не менее аршина длины.

Ныне покойный Г. Г. Праве был большой гурман; он уверял, что мясо дикобразов — самое вкусное в мире. Праве, повидимому, если и ошибался, то не очень. Мы с'ели тонкое блюдо в тот же день.

* * *

Автомобили подкатили как-то внезапно. Группа блестящих военных стояла у питательного пункта Земского Союза. Я никогда не видел Великого Князя и наугад подошел к высокому стройному молодому офицеру с погонами штабе-ротмистра и аксельбантами. Я угадал.

— А Вы давно в Персии? А откуда Вы? А работы много?

Он засыпал меня вопросами.

— Из Москвы? Ведь я тоже москвич. Какая чудная Москва! Как я люблю ее — ведь я прожил там мое детство!

Мы осмотрели приемный покой с больными. Солдаты знали, что должен приехать двоюродный брат царя, а потому все прибралось и подтнулось. Осмотрели питательный пункт и кухню, пробовали борщ. Произвели переполох в ночлежке — огромном караван сарае. На нарах лежали и сидели проходящие солдаты; при крике — смирно — сорвались с своих мест и застыли с каменными лицами, глядя на блестящую группу посетивших их гостей.

Великий Князь с интересом расспрашивал об условиях жизни и работы в Персии, о климате, о болезнях, о нашей организации. В Менджене, как всегда, дул ветер, день был холодный, и потому все скоро замерзли.

Пошли греться и завтракать.

Я приветствовал гости и в ответ услышал хорошие слова о Земском Союзе, — который на всех фронтах необъятной русской армии разделяет с ней тягости войны.

Незадолго перед этим я слышал, как один из высоких гостей поднимал бокал за „Земский Союз Городов“.

Несомненно он был красив, Великий Князь. А глаза у него были голубые или голубовато-серые и печально улыбались. Он был взвинчен и нервничал. Спутники его были — генерал Лейминг — воспитатель и полковник граф Кутайсов.

Лейминга любил Дмитрий Павлович, а Кутайсов нет.

Родные Великого Князя просили генерала Лейминга сопровождать своего питомца в ссылку.

— Чтобы Дмитрию легче было.

Флигель-адъютанта Кутайсова послали Царь и Царьца — в качестве лица, наблюдающего за Великим Князем. Кутайсов должен был доносить в Петербург о поведении сосланного и об условиях его жизни.

— Как тяжело, как неприятно и ложно мое положение. Быть тюремщиком! И кого? Ведь Вы же видите, какой он благородный и чистый. Как страдал отец! Но правда, он умолял и просил его сказать... Слава Богу, Слава Богу на нем нет крови. Он участвовал, но не убивал. Вы знаете, я отказывался от этой роли жандарма. Но Он приказал мне.

Так говорил мне граф Кутайсов несколькими днями позже в Аве, в штабе Корюса...

* * *

В Казвине сегодня большой день. Командир Корпуса пригласил всех начальников частей на банкет в честь приехавшего Великого Князя. Большой зал Собра-

ния Дизели-Тегеранской дороги декорирован и ярко освещен. Управляющий дорогой К. М. Погаткин, — мягкий и тихий обычно, — сегодня в волнении. О чем-то горячо толкует с хозяином собрания офицеров при штабе Корнуса.

Огромный стол, человек на полтора, вытянулся буквой „Г“; распорядители-офицеры раскладывают на столе карточки — указывают места, предназначенные гостям.

Гремит оркестр и радостно бодрит. Настроение приподнятое. Все оживлены, а когда смотрят на стройного, красивого штабс-ротмистра, у всех одна скованная дерзкая мысль.

Гость правится всем.

— А как он улыбается!

— Благородный...

— Молодчина!

— Патриот.

— Вот Вы увидите, что это только начало! Ведь важно, что сверху началось...

— Да уж если в семье такие вещи творятся, то...

За столом, в центре — группа гостей с Великим Князем и Командиром Корнуса во главе.

* * *

— Это все не то. Надо сказать „настоящее“, что запрещено, и что всем хочется. После речи Командира Корнуса горячее „ура“, но не то. Ничего не сказал Баратов, хотя говорил, по обыкновению, хорошо и долго. Настроение паростало. Хотелось крикнуть:

— Да здравствует царственный убийца! Долой всю сволочь, — или чтонибудь в этом роде. Но язык прилип к гортани и во рту сухо от волнения.

Наконец слова пришли:

— Сейчас зима. Холодно, и скована льдом наша Родина. И застыла Россия под мертвым снежным покровом. Казалось, застыла навеки, похоронив Весну свою. Нам холодно и хочется тепла... Сказочный Царевич разбудил уснувшую вечным сном весну и... нам теплее стало... Теплее с севера.

— Мой бокал за Весну и Тепло! За первый удар грома!

— Мой бокал за вестника радости, за гостя с севера!

Плотина прорвалась. Сто пятьдесят человек кричали, что было мочи: „ура“. Дрожали стекла, содрогался воздух.

— Ура-а-а...

Крики „ура“ перешли в овации и все руки тянулись к бледному стройному юноше. Глаза у него расширились. Он стоял и что-то пытался сказать. Он делал рукой знаки, чтобы остановились. Он хотел говорить. Напрасно! Все забыли, что это Великий Князь. Каждый кричал потому, что так мог выразить свою радость, протест, негодование. Вдруг стало можно кричать.

Крик — приветствие гостя, революционера, убийцы.

Крик — свобода.

Крик — возмущение позором, что был при Дворе.

Крик — протест против Своеволия и Самодержавия.

Крик — ура, все равно что — Долой...

Овации длились без конца. Уже кричали хриплыми голосами и подходили к Великому Князю. Это была революционная патристическая манифестация и в ней приняли участие и седые генералы и боевая молодежь. На этот банкет съехались командиры полков с фронта и приглашены были боевые офицеры, случайно находив-

шиеся в Казвине. В манифестации проявилось одно чувство: патриотический фронт протестовал против безобразий тыла и власти. С горящими, как угли, глазами грузин, прапорщик из меньшевиков, кричал ура. Блестящий боевой полковник с перевязкой на руке отрывисто рвал: ура-ра-ра. Уже стали стучать шашками, кинжалами, а кто и просто ногами. Капитан К. не мог долго стоять и бледный, уже сидя опять, колотил двумя костылями по полу...

Так и не удалось Дмитрию Павловичу ничего сказать. А может быть он и сказал, да не разобрали. Даже наверное, он сказал. Он очень благодарил за прием... но слова его опять потонули в овациях.

* * *

Штаб корпуса находился впереди. Далеко за Казвином. Великий Князь ехал в штаб и на позиции. Казаки угощали его на остановках — дастарханами, „аллавердой“, лезгинкой, музыкой, джигитовкой и даже... фейерверками. Это не был походный атаман, но казаки „распоясались“ в искреннем казачьем гостеприимстве.

* * *

Мы ходили и разговаривали. Двор дома, где помещался штаб корпуса, был небольшой и приходилось делать частые повороты. Великий Князь уже числился прикомандированным к штабу корпуса и находился в личном распоряжении генерала Баратова. Было часов пять дня и у Баратова шли доклады. Нас провожали ревнивые взоры группы военных, стоявших под навесом у двери кабинета Командира Корпуса. Это было довольно глупо.

Я хотел закурить, машинально ощупывал карманы, но спичек не находил. Три генерала и два полковника сорвались с своих мест и торопливо шарили по своим карманам, предлагая спички и „зажигалки“. Мне было стыдно за них...

— Вы знаете, что я пережил за это время! Тяжелый сон там и пробуждение здесь.

Он заметно начинал нервничать.

— Эта ночь — кошмар. Затем Он и Она... В особенности Она. Я знаю, Она думает, что я здесь заболею и умру. А потом слезы родных, дорога, неизвестность.

Мысли Великого Князя прыгали; он ломал их и рвал.

— Стало невыносимо. Позор. И для России и для семьи. Ни одной секунды не раскапываюсь. Правильно? Россия узнает и поймет. Вот здесь — Россия. В Персии ее больше, чем в Петербурге. Там туман и мрак, а здесь живые люди и солнце. Как много солнца! Я вырвался из тюрьмы на свободу. Я был счастлив тогда в Казвине. Я почувствовал, что оправдан. Спасибо...

Он все возвращался к мучающей его теме.

* * *

На одном из первых заседаний Корпусного Комитета, образовавшегося на фронте после революции, кто-то возбудил вопрос об Особе Царствующего Дома, который находится в Персии, на фронте, числится при штабе, а... живет в Тегеране. Прения носили бурный характер. Предлагалось арестовать Великого Князя.

запросить Временное Правительство, — что с ним делать, отправить его в Петербург, судить. В прениях дошли до обсуждения вопроса о причинах революции. Я вспомнил формулу Дж. Ст. Милля.

— Причина всякого явления — совокупность всех предшествующих antecedентов, за которыми данное явление неизменно и безусловно следует.

Великий Князь фатально вложил свою долю участия в революцию. Выстрел в Распутина прозвучал, как первый удар грома начинавшейся всероссийской грозы. Гулким эхом раскаты ее отозвались по все России и докатились до нашего далекого фронта. Вспомнили банкет в Казвини и... оставили Великого Князя в покое.

* * *

Прошел семнадцатый год. Летом восемнадцатого, мне довелось прожить некоторое время под Тегераном, на даче.

Слуга наш, флегматичный Шабан, сегодня особенно оживлен. Он сидит у мангала и готовит кебаб*). Соломенным веером раздувает огонь на жаровне. Деревянные угли, при взмахе веера, вспыхивают багрово-синим огнем, а трескучие искры летят во все стороны и мгновенно умирают — и на земле, и на одежде Шабана, и на его лице. Он шурится от дыма, а лицо улыбается.

— Что с тобой, — спрашиваю. — Чего ты смеешься?

— Больше посуды бить не буду. Несчастье прошло.

— ?!..

Шабану действительно не везло. Каждый день что-нибудь разобьет — тарелку, стакан, чашку. Перед самым обедом — миску с супом перевернет.

— Что с ним такое приключилось, — спрашиваю жену, — ведь, в Казвини как-будто этого не было.

Шабан продолжает:

— Не хорошо, что посуду бью, знаю... Это чужое ко мне пристало. Сегодня ходил к мулле. Просил помощи. Мулла дал бумажку, написал на ней.. Ведел бросить на землю. Несчастье говорит пройдет. Все сделал — как мулла сказал.

— Что ж мулла на бумажке написал, — спрашиваю.

— Написал... что не знаю... только теперь несчастье перейдет к другому. Кто наступит на бумажку, тот теперь будет посуду бить.

— Вот тебе и на... Как же...

В ворота стучали.

Разговор пришлось прервать.

— Арбаб! Гости приехали к нам, — доложил Шабан.

Я давно уже отвык от гостей и пошел посмотреть.

На белом арабе с пушистым малиновым хвостом сидел Великий Князь Дмитрий Павлович. Конь с крашенным хвостом был из конюшни шаха — подарок Великому Князю.

— Я живу недалеко от Вас. В Английской миссии. У англичан гостем.

Повпросил зайти.

Очень тосковал Великий Князь в Тегеране, в гостях у англичан.

Говорили о России, о революции, о путях, по которым пойдет она.

— Западно-европейские революции нам не в пример. „Умом России не понять, аршином не измерить“... Помните, как любил повторять слова Тютчева П. П. Баратов.

*) Рубленое мясо, жареное на вертеле.

Два фокстерьера лежали на веранде; один из них забрался на колени к моему гостю.

— Это Ваши? Вы очень любите собак? Я тоже. Хотите я Вам подарю щенка? Совсем маленький. Что из него выйдет — неизвестно. Знаю только его мать. Из английской миссии — немецкая овчарка. Чистопородная, а отец неизвестен.

Я поблагодарил.

На другой день, вестовой Великого Князя принес мне очаровательного двухнедельного щенка. Через полгода щенок превратился в огромную черную борзую.

Я покинул Персию и оставил временно моего четвероногого друга в надежных руках... до моего скорого возвращения.

Прошли годы. Я не вернулся в Персию.

Как легко мы теряем верных друзей!

* * *

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

В КУРДИСТАНЕ

Это было летом семнадцатого года.

Наша войска опять прочно стояли по всему необъятному фронту Персии, от Энзели до Ханекена и от Сенне до Нефагани. Все пути через Персию в Афганистан и Индию германо-туркам были отрезаны. В феврале еще, англичане под командой генерала Мода разбили многочисленные силы турок под Кутом. Это поражение заставило турок стремительно уходить с нашего фронта и очистить Хамадан. На флангах, в Курдистанском районе — Биджар-Сенне — и Довлет-Абадском, началось также отступление. Англичане наступали на Багдад. Русское командование, чтобы поддержать это наступление и обеспечить его с правого фланга и тыла — со стороны турок из Моссула, через Персию — отдало приказ о наступлении. Наша войска, отдохнув за зиму и пополнив свои ряды прибывшими частями из России, бросились преследовать противника. Весна бодрила, хотелось движений и казаки с песнями выступили в поход. Горные боковые проходы были еще завалены снегом, а внизу, у склонов, бурлила вода и низкие плато плоскогорья были покрыты лужами и озерами. Кони плелись по колено в холодной воде, по тонкой грязи, карабкались по обрывам ущелий, делая огромные переходы по 50 60 верст. Казаки, добираясь до ночлега, падали от усталости и, как убитые, спали до восхода солнца. Фуражиры выбивались из сил в поисках фуража для коней, да и казаки очень плохо питались. Турки опустошили весь край — достать зерно и провизию было очень трудно. Преследовали с боями, захватывали военные трофеи. В начале радовались, а потом надоело. Устали. Уже прошли более четырехсот верст — до Диялы. Партизанский отряд Бичерахова ушел далеко вперед и оперировал уже в Месопотамии, вблизи у англичан...

* * *

Горные племена опять заявили себя нашими друзьями. При отступлении от Ханекена, курды плохо соблюдали дружеские с нами отношения. Они нарушали прежние договоры, нападали на наши одиноко идущие транспорты, обозы и даже отряды, и этим очень затрудняли операции и снабжение.

Племена действовали вразброд, нарушая обязательства, данные их высшими представителями. Действия многочисленных племен Курдистана не были объединены. Наши военные успехи порождали друзей, неудачи — врагов.

И теперь, при отступлении турок, главарь курдов старался выявить свои к нам симпатии и помогать войскам.

Счастье на войне переменчиво — теперь оно было на нашей стороне.

Генерал Баратов решил использовать опыт прошлого. Еще с весны он вступил в переговоры с вождями наиболее влиятельных племен обоих Курдистанов — южного и западного и предложил им приехать в Керманшах и Сенне для заключения Союза, куда обещал прибыть лично. Момент был выбран удачный. Преследование турок кончилось. Они были совершенно изгнаны с персидской территории, а наши передовые отряды прочно занимали позиции.

* * *

По обоим сторонам шоссе, выжженная солнцем, необозримая равнина. Грузный автомобиль Командира Корпуса медленно продвигается по дороге. Только что смели заднюю шину, а у шоффера запасной больше нет.

Плато серое, шоссе серое, и пассажиры в автомобиле в пыли.

В полувверсте, от автомобиля Командира Корпуса, другой автомобиль — „форд“, истрепанный, без верха, с покосившимся на одну сторону кузовом.

В первом автомобиле — генерал Баратов с начальником дивизии, а во втором — два офицера, адъютанты генералов и казак вестовой.

Шоффер на форде опытный, — у него еще шесть камер и две покрышки в запасе. Он бы давно уже был в Керманшахе, да нельзя. Надо держаться позади машины Командира Корпуса. А она опять стала, на подъеме, у небольшого бугра. Пришлось остановиться и идти помогать.

Моторы выключили. Было тихо, только шоферы кричали, натягивая тугую покрышку „Локомобиля“, да офицеры о чем-то негромко разговаривали.

* * *

Джейраны появились неожиданно. Из-за бугра. Целое стадо стройных серых животных выскочило на шоссе. Огромные черные глаза вожака с ужасом остановились на мгновение на автомобилях, а затем быстрым еле заметным движением он повернул обратно, а за ним в облаке пыли помчалось все стадо. Они скакали огромными прыжками, отрывисто перебирая парами стройных ног, прыгнув длинные уши назад. Когда вожак внезапно повернул, в стаде произошло замешательство. Несколько джейранов упало, но увидев вожака опять впереди, помчалось за ним. Горные козы мчались от дороги, как безумные. Уже через несколько секунд видны были только стройные серые палочки множества бегущих ног, а потом все скрылось в облаке пыли.

* * *

Алибали еще вчера, в гостях у Комиссара, в Хамадане видел молодого ручного джейрана и восторгался его большими печальными глазами, гибким корпусом и когда прикасался к маленьким бугоркам, будущим рогам, радостно улыбался.

Джейран был ростом не более трех четвертей аршина, нескольких месяцев от роду, — недавно подобран в лесу на склоне Эльвенда. Пил молоко из рожка, любил ласки и звени мелодичным колокольчиком, ходил следом за своей богиней — хозяйкой дома. Поджав ноги, лежал на коврах, покрывающих диваны, и медленно поводил огромными ушами, все к чему-то прислушиваясь. А когда богиня приближалась к нему, он вскакивал и ткнулся к ней своими влажными губами. Он носился стрелой по огромному саду, верно рассчитывая свои движения; сад был густой и, казалось, при малейшем неосторожном движении зверь разобьется на смерть о толстый ствол непелинского тополя.

Нет, его ждала другая смерть.

Резвись в саду, джейран нашел остатки чешуи соленой рыбы и с'ел. Повидимому, солдаты забрались в сад через забор и пировали. Остатки пира — с'ел джейран.

Не могли понять, чем он болен. Повидимому, он очень страдал, от ниши отказывался и только вздыхая, со стоном, подходил к богине, умоляя помочь. Ветеринары ничего не могли сделать.

На руках у плачущей госпожи умер джейран, а потом, когда вскрыли его, узнали причину смерти. Весь небольшой желудок зверя был забит рыбьей чешуей.

Анибал узнал о смерти джейрана, когда вернулся из Керманнаха.

* * *

Облако исчезло. Шофферы сидели по местам и Командир Корнуса громко крикнул:

— Аркадий, довольно мечтать.

Нужно было ехать.

Аркадий Несторович Анибал, потомок арана Петра Великого, был адъютантом генерала Баратова. Он недавно окончил училище правоведения и институт восточных языков и еще в Петербурге мечтал понасть на Кавказский фронт. Любитель Востока, замечательно знающий персидский язык, Анибал стремился на фронт в Персию. Впрочем, кроме персидского, он знал еще около дюжины других иностранных языков и знал их не как дилетант, а основательно. Это был лингвист-практик. Восточные языки он любил больше европейских, и когда изучал их, то постигал душу языка, его философию. Персы говорили, что Анибал знает их родной язык лучше их. И это была правда. Он говорил языком образованного перса, говорил, как поэт, украшая свою речь цитатами из Корана, изречениями мудрецов и стихами национальных поэтов.

Ему было не более тридцати. Огромные черные с оттенком грусти глаза обрамлены густыми дугами черно-синих бровей. Они выдавали его происхождение.

Он был прекрасный, исполнительный офицер, искренне полюбил своего начальника и скоро между генералом и прапорщиком установились дружеские отношения.

Анибал полюбил Персию всей своей страстной душой и уже воспевал ее и в стихах, и в нежных импровизациях на рояле, и в красках акварели.

У него была натура с богатым содержанием, а формой ее были нежные слова стихов, мелодии и краски палитры. Он был многогранный артист. И поэт, и музыкант, и художник. Он элегантно восхищался природой, любил зноное солнце Персии и понимал толк в старинном персидском искусстве. Среди его друзей были министры, антиквары и дервиши. Он находил красоту и в смирении осы, и в неукротимости льва. Он любил жизнь и обожествлял ее. Жизнь для него была божественной тайной, а потому он был религиозен и часами простаивал в храме перед скорбными ликами Спасителя и Богоматери.

— Аркадий, спроси у него, давно ли он кашляет? Ведь лето в полном разгаре, а у них тут сыро.

С такими словами Н. Н. Баратов обратился к своему адъютанту в чай-хане около Керманшаха.

Баратов хотел выпить стакан чаю, а кстати и размять ноги.

Когда важный генерал с блестящей свитой вошел в темный и грязный сарай, придорожного чай-хане, произошло большое смятение. Посетители чай-хане — погонщики вскочили, а мальчик за стойкой закашлялся.

На глиняной стойке стоял большой жестяной самовар, а на полках стены несколько десятков маленьких стеклянных стаканчиков. В чай-хане было темно. В глубине, палево от входа, на павозе стояло несколько лошадей. В помещении было сыро, затхлый воздух, несмотря на то, что было начало июля. У мальчика был жестокий бронхит и он беспрерывно кашлял. Земляной пол был сырой, а бедняга ходил босиком.

Аннибал что-то спросил у мальчика, а потом сказал:

— Я ему посоветовал поить геве *). Думаю, что уже через неделю кашель пройдет.

Позже я видел этого мальчика. Он спрашивал о командире и офицере. Он смеялся, благодарил. Кашель прошел.

* * *

У губернаторского дома в Керманшахе автомобили остановились.

Недалеко от ворот, у высокой глинобитной стены, сидели слепцы и жалобно причитали. Их было десять. Все старики с длинными седыми бородами, они были одеты в разного цвета аба. В руках у них были четки, на коленях кяшгули и чаши. Иногда в такой чаше лежало по нескольку мелких монет. Слепцы скороговоркой, дребезжащими голосами, что-то одновременно говорили, а потом как-то все вдруг сразу вскрикивали и после паузы продолжали свои причитания.

Аннибалу очень хотелось поговорить со стариками, но в это время свита губернатора вышла из ворот, навстречу гостям, и окружила автомобили.

* * *

Баратова встречали торжественно.

На другой день, шестого июля, в окрестностях Керманшаха, в одном из богатых ханских имений назначена была встреча с именитыми вождями курдских племен.

Баратов и Загю выехали на автомобилях в сопровождении нескольких офицеров. Курды хотели предстать перед представителями России во всей пышности и блеске своего положения. Огромный двор ханского поместья походил на вооруженный лагерь. Сотни вооруженных людей передвигались в разных направлениях. Вожди племен, в разноцветных ярких аба, были окружены своими приближенными. Здесь были военноподполковники, украшенные оружием и патронами, с огромными разнообразными турбанами, секретари в скромных длинноволых черных сюртуках, старшины и советники в коричневых аба, прислуга в синих мундирах с блестящими плоскими металлическими пуговицами. За оживленными группами стояли смирные всадники с карабинами за плечами и патронташами, унизанными сверху до низу патронами, так, что они стесняли свободу движений.

*) Туфли

Вожди племен прибыли на съезд в сопровождении вооруженных отрядов. Во дворе поместья находились только приближенные свиты и охрана.

Количество вадников свиты определяло влияние вождя.

Вооруженные же отряды расположились биваком на плато, в центре которого должны были происходить заседания этой своеобразной мирной конференции. Вся равнина была покрыта черными палатками вадников, палаток и дыма. Ночью, когда на биваках зажигались костры, можно было насчитать их сотни, и тогда казалось, что на плато у Керманишаха собрались все вооруженные Курдистан.

Заседания конференции происходили в огромном, специально устроенном палатке, украшенной богатыми коврами. Мебелью служили роскошные продолговатые подушки, предназначенные для вождения. Члены конференции располагались на земле, устланной коврами, поджав ноги по персидскому обычаю. В центре круга палатки сидели русские представители: генерал Баратов, начальник дивизии Керманишахского отряда — генерал Загю, и русский консул в Керманишахе — барон Черкасцов. Широким полукругом против них располагались вожди. Они с большим вниманием выслушали речь Баратова. Барон Черкасцов переводил.

Вожди приветствовали в высокопарных выражениях представителя России, генерала Баратова, и единогласно выражали желание жить в дружбе с русскими войсками.

Многочисленные племена Персии говорят на разнообразных наречиях. Наиболее употребительными языками являются: персидский, древний фарсидский, а на севере страны — турецкий. Государственный язык — фарсидский.

Основа языка — наречие фарса, области древней Персии — Фарсидстана. На этом языке говорили древние персы эпохи династии Аххеменидов. Со времени вторжения арабов — с седьмого века по Р. Х., в коренной язык персов проникло много арабских слов и выражений. Буквы письма остались арабские.

Персы любят свой язык, а получившие образование в Европе умеют говорить и по-французски. Из европейских языков наиболее распространен французский. Я встречал в некоторых городах Персии французские школы, устроенные благотворительными иностранными организациями. На „конференции“ говорили по-фарсидски.

Существование речей генерала Баратова и вождей курдов сводилось к желательности выполнения особых русско-курдских соглашений, на основании которых для обеих сторон должна быть установлена свобода передвижения. Между нашими войсками — с одной стороны и курдским населением с другой, отныне должны быть самые искренние и дружественные отношения, причем каждый курд мог свободно передвигаться повсюду в районе расположения войск корпуса, а русские казаки и солдаты могли бы в пределах Курдистана безопасно идти всюду, куда бы их не привели военные обстоятельства. Население и ханы за плату по рыночным ценам должны были продавать нашим войскам продовольствие и фураж.

Переговоры о соглашениях отняли мало времени. Меньше, чем обмен приветствий и последующие празднества. Условия и формы заключения договора были своевременно подготовлены. Эти соглашения имели очень большое значение и дали значительные результаты, т. к. оберегли не мало жизней наших казаков и солдат. Приказ генерала Баратова*) отмечал, что:

— В Керманишахском районе не было ни одного нарушения этого соглашения, а в Курдистанском эти случаи были очень немногочисленны.

Соглашение имело еще и другое значение. Курды всегда беспокоили нас в тылу. Приходилось, для обеспечения тыла, держать вдали от фронта специальные отряды, большие этатные команды. Соглашение, обеспечивая спокойствие в тылу и

*) № 85 — 1918 г.

на флангах, давало возможность сберечь напрасную трату сил и средств и направить их по другому назначению.

Вожжи торжественно подтвердили свои обещания. Скрепили письменные акты подписями, а неграмотные просто печатями.

* * *

Начались празднества. Сначала банкеты с огромным количеством участников, разнообразными персидскими и русскими кушаньями, речами и фейерверками, затем джигитовка.

Из Керманшаха прибыла сотня кубанских казаков.

На открытом пространстве обнаженной зноем равнины залясали красные маки. Загудела земля. Сотня конных казаков промчалась как вихрь и исчезла в клубках желтой пыли. Через несколько мгновений, около десятка всадников мчатся полным карьером и, внезапно осаживая перед центральной группой гостей взбешенных лошадей, отстаиваются как вкопанные. Кони послушны, ручные.

Уже мчится другая группа всадников. Казаки на карьере быстро соскакивают с седел и, лишь дотрогнувшись ногами до земли опять взлетают на коней. Они на полном ходу перелетают через спины лошадей с одной стороны земли, на другую.

Бешено промчалось четыре всадника, отдавшись на волю Божью и коней своих. Они сидят в седлах, повернувшись спинами в направлении движения. Глаз не успевает проследить их. Уже унеслись далеко.

Целая группа, более десятка, промчалась карьером, стоя во весь рост на непрочной кривой казачьих седел. Красные пятна летают по воздуху. Казаки бросили на землю башлыки свои, поворачивают лошадей и, на полном скаку, легко подхватывают их с земли. Подлетели на землю мохнатые кубанские шапки и мгновенным движением всадники, перегнувшись в седлах, достают их с земли.

Карьером мчится лошадь, а на боку у нея, держась только ногами в стремени, опрокинув вниз голову, у самой земли, каким то чудом, держится казак, и через несколько мгновений уже опять в седле...

Джигитуют и офицеры.

На расстоянии ста шагов одна за другой установлены палки, а к палкам прикреплена лоза. Таких палок шесть или семь. Столбики, а на них большие, красно-желтые гранаты.

Уже засверкали у всадников шапки. Скачут они к лозам и широким, верным ударом рубят лозу пополам.

Вот промахнулся один. Лезвие шапки рассекает лишь воздух, а следом за ним офицер, удалый рубака, на полном карьере, пополам рассекает гранат. На знойную землю упали кровавые брызги граната, а части его рассыпались зернышками...

Долго тешили казаки зрителей, а когда командир сотни взмахнул рукавом, слетелись все к нему, как стая ручных птиц. Собрались и замолкли. Затем по команде, только им одним ведомой, рассыпались на горячих конях в разные стороны и давай джигитовать, кто во что горазд.

Гудит земля, в облаках пыли мчатся сотни лошадей, мелькают красные башлыки. Всадники беснуются — прыгают с коней, опять вспрыгивают, мчатся на одной лошади по два и по три, стоя, сидя, спиной в седлах, рубят лозу и гранаты и стреляют в воздух...

Пыль заволокла все, и коней, и всадников их, и зрителей.

Умчалась далеко по полю сотня и уже через несколько минут конным строем, во главе с командиром своим, шагом проходит перед публикой.

Джигитовка кончилась. Толпы курдов окружили казаков. Они весело кричат и приветствуют кубанцев. Джигитовка удалась и, в изысканных выражениях, вожди курдов высказывают Баратову свою признательность.

* * *

От Хамадана к Сенне дорога тянется по плоскогорью, изгибами поднимаясь в гору. Верет полтораэта.

Автомобиль пробрался и сюда. Дорога однообразная, серая. По бокам холмы, выжженная солнцем трава. Это — до перевала. С перевала же открывается грандиозный вид на страшную пропасть, на дне которой горы, — целые цепи их безконечными веренищами тянутся во всех направлениях. Куда-то в пропасть с вершины перевала падает тонкая серая нитка шоссе-дороги, а внизу пропасти, как будто нарочно, рукою титана распырены горы. Одинокие, хмурые стоят эти массивы, отбрасывая черную неприветливую тень. Багровые группы причудливых очертаний тянутся друг за другом, как будто застывший на вечные времена хоровод. Волнообразной желтой лентой уходят другие гиганты на юг, теряясь в облаках где-то на горизонте. А он на сотни верет. И когда смотришь с перевала, то не считаешь множества разноцветных гор, не измерить глубины пространства и не понять ни одного из чудес, что открываются перед глазами.

Солнце в зените и жжет, а не жарко. Мы высоко. Внизу в долинах играют многоверстные тени и краски. Чернеют змеиными брюхами темные таинственные ущелья, и бегут облака, и бегут тени их. Над горами и лесами вольно гуляют ветры, а тени облаков по горам мчатся взапуски, на перегонки. На западе — золотые горы. Все залито солнцем и застыло, а справа уже мчатся черные тени, и пожирают и свет, и золото, и застывший покой.

* * *

Десятого августа, в окрестностях Сенне, с вождями курдов было подписано при такой же обстановке, как и в Керманшахе, дружественное соглашение. Увы, оно не оказалось таким прочным, как Керманшахское.

Через два месяца горы Курдистана огласились стонами и воплями, сначала русских, а потом и курдов.

Шайка разбойников напала на наш небольшой отряд, убила несколько человек и разграбляла имущество. Разбойники скрылись в горы.

Русские добросовестно соблюдали договор, а потому нарушение недавно подписанного соглашения казалось им величайшим оскорблением. Когда в Сенне узнали о нападении, возмущение среди гарнизона было таково, что русским властям с трудом удалось удержать солдат и казаков от разгрома города. Но солдаты поймали разбойников и их постигла жестокая кара. Их замучили. Разстреливали, привязывали к деревьям головой вниз, сажали на кол — предавали разным жестоким мучениям. Трупы их не убрали несколько дней с целью устрашения. Отношения с курдами испортились, и в Западном Курдистане результаты русско-курдских соглашений были значительно слабее, чем в Южном.

* * *

Мой новый приятель, молодой хан, прислал мне в подарок шатер. Собственно это была целая квартира, которую можно было устроить где угодно. Три небольшие комнаты.

Утром, около моей походной палатки появились персы — человек восемь и стали разбирать шатер. Новую небольшую квартиру тут же устлали коврами. На матерчатых стенах были вышиты фантастические птицы, звери и разноцветные узоры, среди которых преобладал характерный бут. Я был смущен таким роскошным подарком и хотел отказаться, но когда об этом узнал мой переводчик, он замахал руками:

— Что Вы, Господь с Вами! Хан смертельно обидится.

Делать нечего. Пришлось принять; нужно было обдумать, как ответить на подарок хана. По восточному обычаю, нужно на подарок ответить подарком.

Оказывается, я сделал большую неосторожность. Накануне я был с визитом у хана: похвалил усадьбу. По обычаю, в Персии, впрочем, как и везде на Востоке, владелец вещи, которую похвалили, чтобы доставить гостю удовольствие, дарит ее.

— Бешкеш.*)

Хорошо еще, что хан не подарил мне усадьбы. Послать ее он не мог и нашел выход в том, что прислал шатер.

Я совсем отчаялся, ибо у меня ничего не было, что соответствовало бы подарку хана.

Помог, как всегда в таких случаях, Погорелов.

— Да Вы, Ваше Высочество, пошлите ему бутылку коньяку. Ведь он, когда был у нас, пил коньяк и все приговаривал: „хейли-хуб***), „хейли-хуб“.

Выхода не было. Коньяк был послан... и в ответ на мой подарок, на другой день, слуги хана приволокли на веревке огромного барана с кручеными раскрашенными рогами.

Ясно, я не мог состязаться далее с ханом и в богатстве, и в щедрости.

Предстояло сделать визит ему, чтобы поблагодарить его за внимание, а кстати, переговорить и о деле — наладить снабжение госпиталей продовольствием.

* * *

Выехали в один из ближайших дней, рано утром, верхами. С нами лихие драгуны Тускаев и Улагай — блестящие кавалеристы, показывавшие по дороге чудеса кавалерийского искусства. Я на Разбое, жена на Желтом.

Разбой — полуперс, полуараб. Серый жеребец, высокий, скакун — шагом ходить не любит и в кавалькаде стремится идти всегда впереди всех.

Желтый — трехлетний русачек, пригнанный из Курской губернии, мало об'езжен. В конюшни стоят с Разбоем вместе, часто ходят вместе и под седлом. Желтый влюблен в Разбоя и старается во всем подражать ему. Скачет — старается не отстать. Да куда ему? Ржет, когда ржет Разбой. Когда ласкают Разбоя — ревнив к ласке. Очень любит сахар. Пожалуй, сахар любит даже больше, чем Разбоя. Разбой — бескорыстен и добр. Он зубами снимает у Желтого узду — как то ухитряется, — а Желтый выбегает из конюшни и резвится по полю, что около нас.

Жаль, мы поздно заметили, что это проказы Разбоя, а то распустился Желтый и причинил большую неприятность — чуть ли не несчастье.

*) — Подарок.

**) — Очень хорошо.

Он разбаловался — привык прыгать, скакать и брыкаться. На прогулке, на галопе, сбросил жену из седла. Я был впереди и ничего не слышал. Я мчался карьером и обернулся лишь на крик вестовой. В нескольких шагах позади меня, без седока, скакал Желтый, а позади, далеко у дороги, белело пятно; над ним, склонившись, стоял вестовой, держа свою лошадь за повод. У меня уняло сердце. Я повернул Разбой и помчался обратно. На земле сидела моя жена. Победил ее. К счастью обошлось благополучно, да, кажется, не совсем. До сих пор она жалуется на боли в затылке.

Я так испугался, что забыл про лошадей. Вестовой сказал:

— Кони ушли.

И помчался за ними вдогонку. Мы остались с женой в поле одни. Предоставленные самим себе лошади мчались карьером обратно, к городу, а за ними на большом расстоянии вестовой. Скоро все скрылось за буграми, и только через час, примерно, Латышев привел на поводу капризных бунтовщиков.

* * *

Сегодня кони идут смирно. Разбой впереди, тянет немного повод и поводит ушами. Слева, от гор благоухание, должно быть, пахнут цветы из садов, хотя кто-то уверяет, что это мимозы. Мы едем холмами. Наслаждаемся утренним воздухом и той особенной бодростью, что чувствуешь только в седле. С нами и Джилю.

Черная борзал, как вихрь, носится по полю — старается держаться подальше от лошадей. Джилю всего полгода, но он большой и длинный и ведет себя, как настоящая собака. Его никто не учил, но он рыщет в разных направлениях, очевидно, по следам невидимых зверей. Вдруг с жестоким лаем бросается на холмы в сторону гор. Ногорелов кричит:

— Ай да Джилю! Дикообразов напал!

Далеко, налево от дороги, вверх по усеянному склону движутся два серых камня — дикообразы, а за ними следом, хрюка ожесточенным лаем, бежит Джилю, бросаясь из стороны в сторону.

— Бац, бац!

Стреляет Ногорелов, а я кричу ему:

— С ума сошел, Джилю убьешь!

Дикообразы ушли, Ногорелов вернулся к нам и зовет Джилю...

Город и сады давно позади. Холмы кончились. Перед нами опять равнина и только, слева и впереди, на горизонте полукольцем кулешобразные вершины гор.

Навстречу двигался своеобразный караван. На выточенных шахматных конях сидели два всадника курда. Один — старик в темном аба, а другой молодой, с винтовкой за плечами. Шапки их были обмотаны нестрыми шарфами — головы казались чрезмерно большими. Позади на двух катерах ехали женщины. Они сидели в клетках, находившихся по бокам животных. На первом катере, в одной из запертых клеток, сидела старуха, а в другой — новинному, молодая женщина; держала на руках младенца. Лица женщин были закрыты. На другом катере, в обеих клетках сидели девочки — четыре или пять. При нашем приближении только одна, постарше, торопливо опустила на лицо белое покрывало, а остальные таранили черные глазетки и весело нам улыбались. За катерами с клетками следовало еще несколько катеров и ишаков, груженных выюками с домашним скарбом. Семья курдов совершала далекий переезд.

Желтый шархнулся в сторону, косясь на огромные клетки, а Джилю веселым лаем провожал караван.

* * *

Скоро и поместье.

Свернули с дороги и в полуверсте, на открытом месте, увидели большой сад. Ехали длинной открытой аллеей, среди деревьев, почти не дававших тени, а когда приблизились к двухэтажному белому зданию, были атакованы челядью, высыпавшей из боковых дверей ханского дома.

У парадного подъезда — резервуар, как пруд, светлой застывшей воды. По краям кусты розариев и еще каких-то растений. Дом — старый, каменный, большой и удобный. Он — огромный квадрат с внутренним открытым двором, посреди которого еще один пруд — овальный. Кругом трава, цветы в кадках и несколько откидных переиленных кресел и стульев. На каменной оправе бассейна, стояло несколько кувшинов и амфор разных размеров, а вокруг застывшей воды, вынытав груды вне-ред и раснутив хвост, важно расхаживал павлины, в сопровождении нескольких невзрачного вида подруг.

Во внутренний двор мы попали сразу, пройдя переднюю в сопровождении целой толпы слуг и приближенных хана, среди которых особенно был приметен невысокого роста старик — в белой чалме и с аккуратно остриженной крапивной бородой.

Часть здания была в два этажа, а боковые коридоры в один. Вдоль этих коридоров с большим количеством комнат, что видно было по бесконечному числу окон, шла просторная открытая галерея. Ее полукольчатые своды опирались на изящные белые колонны, перевитые темными лентами. Колонны прочно вросли в каменный пол и по архитектуре приближались к скромным линиям новического стили. Бордюры фасадов были украшены простыми орнаментами. — звездочками в квадратах и прямыми штрихами мавританской архитектуры. Причудливы и воздушны капризные рисунки между колоннами на фронтонах. Гирлянды скульптуры над бордюрами и сложные гроздья цветов в углах над колоннами. Кружевными виньетками украшены своды галерей, а над одним из входов во втором этаже массивная металлическая решетка замысловатой сложности рисунка.

* * *

Хозяин встретил нас во внутреннем дворе и пригласил в одну из парадных комнат.

Хозяин — принц. По наследству получил колоссальное состояние. Ему принадлежало больше ста деревень в разных концах Персии, и на него работали тысячи крестьян. Большую часть своих имений он никогда не видел и размеров своего состояния и доходов не знал. Он имел дело только с несколькими управляющими, а распоряжения давал только по указке главного управляющего. Тысячи свободных рабов, из поколения в поколение, работали на его предков так же, как и на него.

В Персии нет крепостного права, — крестьянин свободен, может передвигаться куда угодно, но земельные отношения с ханами таковы, что крестьянин всю жизнь работает на помещика и на государство. Земли — хана, а потому право аренды или пользования землей дает земледельцу жалкие крохи доходов.

Дамам предложили пойти в эрдерум — в женские покои, где находились женщины — члены семьи хана. Эрдерум помещался в задней части внутреннего дворика, во втором этаже, и занимал несколько просторных, с низкими потолками комнат. Окна выходили в особый, крытый стеклянной крышей, дворик, внизу которого находился маленький круглый бассейн — аквариум. Окна закрыты мелкими решет-

ками, выдвигающимися вниз: на некоторых окна решетки были спущены. Рамы имели вид сложных изогнутых переплетов с разноцветными стеклами. Преобладали красный и синий цвета. Висящая сторона оконных простенков покрыта мелкой мозаикой.

Внутренние покои были украшены коврами, разноцветными подушками, восточными тунисскими и безделушками. Здесь все производило впечатление уюта, неги и безделья.

Хозяйка дома была в роскошном газовом белом платье и сверкала драгоценными камнями. Молодая красивая женщина, с удлинёнными бархатными глазами, говорила по-французски.

Ходить вне дома нельзя — запрещено. Когда хочешь сделать прогулку, даже по саду — принимаются строжайшие меры. Мужчины не могут быть поблизости, и даже слугам воспрещается входить в сад. Жизнь в городе — хуже, чем здесь. Свободы еще меньше. В магазинах поехать нельзя. Предосудительно. Выезжать можно только в экипаже — к родственникам или знакомым.

Угощала чаем и разнообразными печеньями, приготовленными из риса под неопосредственным наблюдением. Жизнь своей была довольна и с большим любопытством смотрела на европейских женщин.

Когда наши дамы пришли, мы сидели в огромной, в два света, столовой и собирались завтракать.

Столовая вся из зеркал и стекла. Три стены украшены большими вертикальными зеркалами, а четвертая, выходящая в сад, состояла из нескольких больших, от потолка до полу, открывающихся во двор, окон. Верхние части окон состояли из разноцветных стекол, а узкие простенки между ними были украшены зеркалами. Потолок также зеркальный: он состоял из массы небольших зеркал, образующих один сложный и эффектный орнамент. Три большие хрустальные люстры, как исполинские гроздья, свешивались сверху и блистали миллионами многоцветных искр.

Принц, в белом фланелевом европейском костюме, был радужным хозяином. Многоцветные слуги бесшумно приносили какое-то новое блюдо риса. Рис крупный и мелкий, белый, красный и желтый. Рис — в закуске, рис — приправа, рис — сладкое. Это был какой-то культ национального блюда, и любители им восхищались.

Принц плохо говорил по-французски, слащаво смеялся и часто обращался к своему бывшему гувернеру и товарищу, как к переводчику.

Обед был бесконечно долгим. Перед моими глазами мелькали крашенные оранжевые ногти слуг, быстро и бесшумно менявших приборы. Я вздохнул свободно только после обеда, когда вышли на веранду. Здесь был сервирован чай. Мне предложили кальян, и я с большим интересом втягивал в себя сладковатый дым и следил, как в стеклянном графине бурлила вода. Хан курил тоже кальян — какой-то особенный — яйцевидный, весь из серебра с миниатюрными эмалевыми изображениями.

С той стороны, где мы сидели, дом стоял, как будто на пригорке, и с веранды открывался вид на поля, холмы и отдаленные силуэты гор. Уже наступал вечер, и я, погружившись в мысли, смотрел на эти поля и холмы, на отдаленную дымку и на кровавое пожарное небо на западе. Блели орудия, где-то раздавался выстрел, и я вспомнил, что надо уезжать.

Мои спутники не торопились. Всем понравилось в гостях, и только, когда уже совсем стемнело и рогатые звезды украсили небо, мы стали прощаться с ханом. Слуги провожали нас до ворот с факелами, а когда проходили мимо, то старались идти боком, не спиной, в знак уважения. Желтые огни факелов прыгали перед глазами — улыбавшиеся лица казались восковыми и искажались гримасой.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

О революции на фронте узнали в марте; на передовых позициях — в Мессопотамии, о событиях стало известно лишь в начале апреля. Фронт заволновался и, как везде, тыл армии реагировал на события резче, чем войска передовой линии. Этим некогда. Зорко надо следить за неприятелем, как бы чего не вышло, — караулы, раз'езды, а то и стычки. Надо добывать продовольствие и фураж. Дела много, да и сведений почти никаких нет.

Толком ничего не знают.

Беляничков, посившийся на „форде“ по всей стране, в экстазе передавал новости о революции. Впрочем, не один он. Все двести автомобилей фронта сразу как-то заговорили, приделались в красные одежды, а глаза шофферов и белые зубы засверкали на солнце.

Эизели, Казвина, Хамадана — не узнать. По прямым проводам из Баку и Тифлиса, телеграфисты узнавали замечательные новости, и, до передачи штабам, эти новости попадали в казармы, в бараки, в госпитали, в гаражи, караулы и, передаваясь дальше со скоростью ветра, становились достоянием всех и каждого. Огненные искры новостей освещали доселе хмурые лица, от них начинали блестеть глаза, зажигались души, и слово свободно текло расплавленным металлом. Слово сжигало и испепеляло все на своем пути. От старого оставалось мало. Даже вера в Бога как-то сразу была подорвана. Глаза сверкали новым огнем, губы занеклись, а душа наливалась чем-то горячим. . .

Сначала — телеграммы, приказы, газеты.

Новости подавали. Число их росло; чтобы переварить любую, нужны месяцы. А они летели каждую минуту.

— Всеобщая забастовка.

— Дума и Комитет. Царь отрекся. Михаил отказался.

— Временное Правительство.

— Новые имена, князь Львов.

Потом митинги, манифестации, красные флаги, флажки и бантики.

Всеобщий праздник. Веселее Пасхи и Рождества. Ведь эти — „казенные“...

Потом узнали:

— Честь не отдавать.

— Собирать Комитеты, и все решать и обсуждать сообща.

— Без мнения солдат и казаков воевать не имеют права.

— Снабжение должны улучшить, а сверх кормовых, мыльных и табачных должны выдать еще и „тронические“.

— Да, что такое эти „тронические“? — добивался я, и мне, как „своему“, удалось узнать — не сразу, что это особые деньги, которые должно выдать Новое Правительство солдатам и казакам в Персии за ведение войны под „тронниками“.

Начались съезды: местные, внутренние, внешние. Дивизионные, корпусные, армейские, фронтовые, краевые.

Врачебные, медицинские, земские и городские, автомобильные, снабженческие и прочие и прочие...

Всякий, кто хотел навесить своих родных или попросту проехать с фронта в тыл, — стремился получить командировку. Приходили приказы — отпуска воспрещены.

Революционная армия должна напрячь все силы...

Весна и лето семнадцатого года и у нас на фронте было летом митингов, лекций, съездов и командировок.

Образовался корпусный комитет.

* * *

Петербург занимался удовлетворением контр-революции и очищением армии от негодных элементов. Баратов попал в Гучковский „черный список“.

— Отрешить от командования корпусом.

— Позвольте, за что?

— Помилуйте, — говорил Гучков, — у нас есть сведения, что вы в Персии не жалели во время войны ни людей, ни лошадей.

Мы негодовали.

— Что уж из Первой Кавказской Кавалерийской постарался! Будьте уверены, — говорили казаки, — Мы знаем кто. Ах...

Баратов был отрешен, а на его место был назначен блестящий жокей из Петербургских генералов — Павлов.

Фронт был возмущен.

— Отец командир, и, вдруг, отрешен?!

— Баратов, который так любил армию, и которого так любила армия в Персии!

Ветушили Комитеты, общественные организации, войсковые части. Снарядили делегацию в Тифлис к Командующему фронтом, в Красокар^{*)}, к Правительственному Комиссару, в Особый Закавказский Комитет, дав наказы вернуть Баратова во что бы то ни стало.

Ходили разные слухи об отрешении Баратова.

Двадцать четвертого марта им был издан приказ по войскам^{**)}, в котором сообщалось о назначении его начальником снабжений Кавказской армии и главным начальником Кавказского военного округа. Должность как будто выше, но... тыловая. Приказ оставлял горький осадок. Ясно было, что Баратов в опале. Он уехал в Тифлис. Здесь уже стало известно точно, что враги „панакостили“. В корпусе злились и к ходатайствам, из среды самого корпуса, прибавилось окружение. Полетели телеграммы из Тегерана в Тифлис и Петербург. Просили миссии — наша и

*) — Краевой Совет Кавказской Армии.

**) — № 34.

союзные, персидские власти. Нажим был полный. Баратов выехал в Петербург, имел разговор с Гучковым и получил новое назначение — Командующим Кавказской армией, действовавшей в Турции.

— К пехотным частям. Кто? Герой Саракамыша, кавалерист и „персидский“ Баратов.

Враги старались, но они были слабее петины и друзей.

Комиссар Правительства по Кавказу В. А. Харламов говорил по прямому проводу с Петербургом и настаивал на возвращении Баратова в Персию. Война продолжалась, и Временное Правительство верило в революционное наступление. Багдадская операция не была завершена, а Министерство Иностранных Дел преемственно продолжало старую русскую политику в Персии. Нажимали на военного министра и столичные дипломаты. Из Персии продолжали поступать ходатайства; стало известно об озлоблении в войсках, о разговорах и постановлениях на митингах и в комитетах. — Революция принесла всем радость, а нам... ложку дегтя.

Только в июне вернулся Баратов и вехал триумфатором. Революционная армия встречала его с энтузиазмом. В его возвращении видели свою победу, победу нового права, победу революции.

Первый Кавказский Кавалерийский Корпус пополнился новыми частями. За весну прибыло много пехоты, прибыли казаки-оренбуржцы. В состав корпуса вошла целая Туркестанская стрелковая дивизия, и корпус переименовали в Отдельный Кавказский Кавалерийский, с правами армии. На здании штаба водрузили георгиевское знамя и с таким же флажком порхал по фронту серый автомобиль триумфатора.

* * *

Я был в ту пору Председателем Корпусного Комитета. Он же — армейский. Стремился возможно лучше и полнее организовать представительство солдат и казаков, как в центре — в общеармейском Комитете, так и в местных. Это удалось. Чтобы придать авторитет и внутреннюю силу Корпусному Комитету, занялись улучшением снабжения войск.

В Тифлисе всегда сидело несколько энергичных членов Комитета. Они добывали деньги, продовольствие и обмундирование, проталкивая все это на фронт. Результаты сказались быстро. Осенью мы были почти готовы к зимней кампании. Члены Комитета поддерживали живую и постоянную связь с своими избирателями, и помещение Комитета походило на хлопотливый улей.

Войска нуждались в информации. Издавали бюллетени, газету. Выписывали журналы и газеты из России, устраивали библиотеки, лекции, доклады, диспуты...

* * *

Фронт держался прочно. Боевых операций почти не было. Корниловское выступление послужило поводом к усилению политической активности, и Комитеты торопились выносить резолюции о поддержке Временного Правительства. Издалека оно казалось прочным и истинно-народным. Узнали, что на фронтах вводится новая власть. Военные Комиссары.

Получили сведения, что комиссаров назначают, а не выбирают и будто бы к нам кого-то назначили.

А вдруг чужого, да еще из Петербурга!

Решили представить своего кандидата. Выбор пал на меня. Вызвали в Тифлисе, сносились с Петербургом, а потом утвердили...

* * *

В войсках происходили недоразумения. Они бывали и раньше, но теперь я стал чувствовать их острее: много их направляли ко мне. Сначала мелкие, между солдатами и командным составом, а потом покрупнее.

Из Тифлиса от Краевого Совета Кавказской Армии прислали помощника эсэра Васильева. Старый революционер, когда-то стрелявший в полковника, в одном из крупных провинциальных городов. Бежал за границу, скрывался в Швейцарии. Царское Правительство требовало его выдачи. История с Васильевым в свое время наделала много шума.

Подчеркнуто штатский был Васильев, первый, но солдаты хорошо относились к нему.

Казаки посмеивались. Их передергивало, когда в речах он проглатывал букву „к“, а ударение в слове — казаки, делал на втором слове — каза'и.

Ох, не любят этого казаки... Сразу видно, что чужой!

Получили „положение о военных комиссарах и обще-войсковых организациях“. Пришлось создать новое учреждение с небольшой канцелирией: Военный Комиссариат. По положению выходило: надо надзирать за Комитетами, за командным составом, за печатью.

Целью новых органов было:

— Надзор за законностью и укрепление единообразного революционного порядка в армии, в целях поднятия ее боеспособности в связи с ее демократизацией.

Власть была громадная. От приостановления распоряжений Командира Корнуса — кроме боевых, — вплоть до расформирования войсковых частей и применения вооруженной силы.

Я чувствовал формальное неудобство, совмещая должности Председателя Комитета и Комиссара.

— Плюньте, говорил мне Комиссар Кавказского фронта — Донской, а Корнусуны Комитет считал такое совмещение полезным, а потому правильным. Я сосредоточил всю политическую работу в Комитете, на виду у всех, а не в Комиссариате. Васильев произносил в полках речи, отбывал приемы и дежурства в канцелирии, а вся будничная деловая жизнь протекала во дворе и помещениях Корнусова Комитета. Здесь принимались и разбирались жалобы, обсуждались новости и статьи, издавалась газета, раздавалась литература, проходили собрания, выносились постановления, разъяснялись миллионы вопросов о кормовых, отпусках, командировочных, трошечках.

Темпераментный и прямой Начальник Штаба Корнуса — генерал А. И. Лининский, был нашим постоянным гостем, а в боевые дни заседаний Комитета приезжал Баратов. Он сразу оценил его значение и помимо Комитета не проводил ни одного крупного мероприятия. Между штабом Корнуса и Комитетом была теснейшая связь и сотрудничество. Так продолжалось до конца, т. е. до расформирования Корнуса.

* * *

Глубокая осень.

Командир Корнуса и Военный комиссар на позициях. Тоскливо среди голых, неприветливых гор Курдистана. Автомобиль ревет на поворотах, подпрыгивает на

ухабах и хочется спать. Мы ездим уже больше недели и очень устали. Уже не говорим; охрипли от сотен речей, что произносили всю неделю.

Палево от дороги, глубоко внизу, на дне ущелья несколько землянок. На сером фоне щебня и глины — маленькие серые фигуры солдат.

Автомобиль остановился. Мы выходим из машины и смотрим вниз. Резким белым пятном на краю обрыва торчит большая белая папаха Баратова.

— Пограничники, ко мне!

Властно, — так что эхо ответило э-э-э.

Серых фигурок стало сразу больше и они зашевелились; побежали, стали карабкаться наверх. Через несколько минут рота окружила нас. От быстрого бега солдаты запыхались, еще не успели отдышаться, а лица веселые и глаза смеются. Поздоровались. Опять говорим. О России. О революции.

— Надо держаться. Понимаем, что война надоела, что устали, хочется домой.

— Да здравствует свобода! Да здравствует а-а-а...

— Да здравствует республика! Да здравствует, ура, ура!..

* * *

Опять едем. Равнина. Здесь целая дивизия. Сначала смотр войскам. Парад на позициях. Потом — не то митинг, не то беседа.

— Когда ж мы домой пойдем? — господин генерал.

Что-то отвечает Баратов на это.

— Как же вы, славные пограничники, вынесли такое постановление! Ведь среди Вас и православные, и армяне, и мусульмане. Как же быть полку без священника? Ведь есть же верующие! Неужели так-таки все не верите в Бога?..

— Все, все, — закричали солдаты. Кричали десятки голосов, а казалось, гудит тысяча.

— Ну, если все... я не знаю.

Баратов беспомощно развел руками и растерянный замолчал. Сильно верующий человек был потрясен. Десятки лет прожил он с солдатами и казаками, а теперь вот — ничего не понимал. Он очень страдал.

* * *

Где-то далеко, далеко, за тридцать земель, заброшены в горах западного Курдистана части стрелков Туркестанской дивизии. Стрелки разбросаны небольшими группами на несколько десятков верст; к нашему приезду приказано было собрать их вместе, оставив на местах уменьшенные отряды.

На склоне покатой долины у реки лагерь стрелков. Опять серые горы, хмурое небо и грязные палатки. Как грибы рассыпаны они в долине, и нет среди них никакой жизни. Огромной массой в несколько тысяч, по полкам, собраны у края долины, повыше к горам, туркестанцы. Серые шеренги застыли при виде нас, и в ответ на приветствие Баратова, раскатами грома в горах, отвечает многоголосое эхо... Плохо обуты — вместо сапог иногда просто обмотки или тряпки. Шнелли рваные, гимнастерки грязные. Спрашиваю одного:

— А что, брат, давно белье менял?

— Никак нет.

— Ну, а сколько же времени?

— Да месяца три.

— Да как же Вы говорите, что недавно?

— Никак нет, его совсем нету.

— Чего нету?

— Белья...

Смотрю под гимнастерку — в чем мать родила.

— Да, — думаю, — вот тебе и снабжение! Вот тут и войой третью зиму!

Баратов тем временем говорит. Громко, четко, округленными фразами, он рассказывает российские новости, вспоминает боевые заслуги туркестанцев, призывает стоять „до победного конца“. Говорит уже около часу. Ведь он неутомим — скорее утомляются слушатели. В особенности те, кто слышал эти речи десятки раз. Так и сейчас. Адъютант страдает — смотрит на меня выразительно и умоляет глазами помочь делу. Я вижу, что оратор повторяется, что солдаты уже не так внимательны, а офицеры, что стоят кучкой — не слушают. А после него надо говорить мне. Ведь он генерал! А вот, что революционный выбранный комиссар скажет?

Я приближаюсь незаметно к оратору и тихо говорю:

— Кончайте.

Пауза. Опять:

— Кончайте.

Видю, что он уже подходит к концу и все округляет и округляет. Я осторожно дергаю его за широкий рукав черескя и, наконец, о счастье:

— Да здравствует республика, ура-а-а... ует революционная родина-а-а-а.

Речи наши имеют большой успех. Очевидно, туркестанцы изголодались больше пограничников. Да и понятно. Заброшены в горах, на край света. За нашим автомобилем бегут сотни солдат с криками ура. Фуражки летят вверх. Они рады, смеются... Чему? Ведь конец поляр!

Еще весной видно было, что над Россией и армией нависает гроза. Она разразилась в Москве и Петербурге в октябре, уже больше месяца назад, а вот здесь все по старому.

На перерез нашему автомобилю бегут сотни других солдат.

— Ура-а-а-а.

Окружают машину, и я вижу дружелюбные, радостные, смеющиеся лица и глаза...

— Дозвольте покачать!

Я барахтаюсь и пытаюсь сопротивляться. Бесполезно. Беспомощно размахиваю руками и вижу свою красную комиссарскую ленту с орлом и широкие рукава черескя Баратова. Замирает сердце, как на качелях, а фуражки летят, летят без конца.

Раскаты криков ура заглушают и мои протесты, и шум мотора, и звуки труб игривого полкового марша.

* * *

В Корпусном Комитете боевой день. На повестке дня вопрос об „энзельских рыболовах“.

Давно они беспокоят Комитет, и нужно же, наконец, проявить власть. Но энзельский гарнизон развален. Ведь Энзели — самый глубокий тыл наш, а потому и менее досягаем для Комитета. Войска энзельского гарнизона раньше всех попадают в сферу идущих из России влияний и событий.

Батальон Пограничного полка прибыл на персидский фронт весной, после революции. Не помню откуда шел полк, должно быть, издалека. Оборвались, обтрепались,

голодали и устали. Наконец, в Энзели. А ведь здесь весна — рай. Тепло, море лениво плещет, греет солнышко, а садов, зелени... цветут мимозы, апельсины, миндаль. — одуряющий запах. А главное никакой войны.

Там где-то впереди, за тысячу верст, говорят, есть война с турками...

Батальону бы выступить уже, идти на пополнение на фронт... Отдохнули, поправились, получили обмундирование, кормовые, мыльные, табачные... всякие.

— Врача нет и медикаментов.

Прислали врача и медикаменты.

Короче говоря — батальону надо бы выступить два месяца назад, но он не хочет воевать и ничьих приказов не слушает. Ведь солдат около тысячи, а Энзели — городишка маленький. Солдаты каждый день в городе, на базаре. Обижают персов. Занялись рыбным промыслом.

Бурный Сефид-Руд, прыгая по камням у Менджлия и Рудбара, у Энзели впадает в море широкой спокойной рекой. Рыбы тут много. И морская и речная.

Ловили рыбу, варили, жарили и продавали.

Надоело. Нашли более выгодный промысел.

Беспошлинно табак возить в Баку.

— Кто ж солдат то проверять будет?

Вообще в пограничном городке коммерческих комбинаций — миллион.

Некоторые из солдат стали промысливать в городе, в окрестных деревнях и на дорогах.

— Ведь вольная жизнь!

Ночью около Энзели показаться было рискованно. Началось пьянство.

— Что на позиции?

— До победного конца?

— Пошли Вы к ...

Всякий, кто приезжал из России, в Энзели попадал в дурные условия. Жаловались персы, жаловался губернатор. Присылали телеграммы в Хамадан с просьбой повлиять на распустившихся солдат комендант и начальник гарнизона.

Просили заставить батальон уйти на позиции. Батальон, собственно, был уже и не батальон, а лишь три четверти. Остальные разбрелись и разбежались.

— Да так, какой же это батальон? Рыболовы!

Чем дальше от тыла, тем настроение спокойнее, войска устойчивее. Среди выборных в Комитетах, — везде твердое убеждение.

— Хоть и надоело в Иерси, тоска смертная, и из России сообщают, что солдаты самовольно бросают фронт, — мы должны держаться и без приказов не уходить.

— А если в бой идти, то и в бой пойдем...

„Рыболовы“ раздражали солдат в Хамадане, Керманшахе и в Сенне.

Во дворе Корпусного Комитета негде яблоку упасть. Заседание открытое. Солдаты и казаки пришли послушать о „рыболовах“. На веранде Комитет и почетные гости с Баратовым во главе. Здесь почти весь штаб.

С рыболовами покончили быстро.

Решили, под гром аплодисментов аудитории, приказать батальону в течение трех суток собраться и выступить на фронт, а для подкрепления телеграфного распоряжения и приведения его в исполнение, командировали двух популярных членов Комитета в Энзели. Если же батальон не послушается Корпусного Комитета, просить Военного Комиссара принять меры, которые он найдет нужными...

* * *

События нарастали. Из России стали поступать известия о перевороте в Москве и Петербурге, о падении Временного Правительства, о революции на фронтах, о братаниях и заключении мира между нашими и немецкими полками.

Делегаты Корпусного Комитета вернулись и рассказали, что в России, на севере — новая революция и новая власть, что некоторые части бросают фронты, а что на юге — казаки против большевиков. Из Омска делегаты еще убрали ноги — там, вместо Исполнительного, уже образовался Военно-Революционный Комитет и, конечно, о выступлении кого-бы то ни было на позиции не может быть и речи. В Казани, по их словам, в гарнизоне тоже начинается брожение.

* * *

Приходила „Правда“ и „Оконная Правда“. Проникали какими-то путями в толщу солдатской массы, и искры призывов, лозунгов и мыслей падали на горячий, готовый вспыхнуть материал, в гарнизонах, полках, ротах, сотнях батальонных командах.

Казаки не митинговали. Они держались спокойно. Считались стойкими войсками. Но началось с них.

Казаки Горько-Моздокского полка получили с Терека тревожные письма. Вдоль Сунженской линии, горцы засадили с казаками, схватились за оружие — идут бои. Станицы горят, шесть из них уже разрушены до основания.

— Вы защищаете родину, где-то в Персии, далеко, а тут родные очаги разрушены, а жена твоя, казачка, против ингушей уже с винтовкой... Имущество разграблено, кое-что спрятали, а дом сгорел. Стенана убили, а Дюенко пропал совсем.

К Баратову приехала из полка делегация — офицер и пять казаков. Баратов по телефону просил меня срочно приехать в штаб.

Пранорщик, новидимому, робел перед Командиром Корпуса. Казаки мрачно молчали.

Набрались храбрости.

— Вот, Ваше Высочество, Полк постановил домой идти. Просит разрешения, чтобы не самовольно.

— Дозволяете, Ваше Превосходительство, домой „идти“? Какие известия!

Мне сразу стало ясно, что казаки вынесли категорическое решение уходить с фронта, но пришли к Баратову, чтобы, на всякий случай, прикрыться его согласием; а если и не согласится, то уйдут все же с его ведома.

Баратов говорил:

— А если я не позволю? Как же так? Взять и самовольно уйти! Но я не имею права вам разрешить уйти. Мы же все, казаки и солдаты и офицеры, находимся здесь не по своей охоте. Ведь, чтобы оставить фронт, нужно иметь приказ от Главнокомандующего.

— Так точно, Ваше Высочество, только полк решил...

Баратов уговаривал, убеждал, доказывал, угрожал, говорил шепотом и кричал:

— Ваши деды и отцы... Позор...

— Полк постановил все равно идти домой, только просит Вас...

Говорил и я... Напрасно.

— Что же Вы хотите? Если Вы хотите с разрешения начальства, я не могу разрешить, а если хотите сами, то зачем же вы пришли сюда?

— Полк все одно уйдет. Решил выступление на завтра.

— Да ведь поймите Вы, если отпустить вас, то, значит, надо отпустить всех. Вы понимаете, — тогда оголится весь фронт!

Порешили на том, что Командир Корпуса запросит Тифлис, а если ответа через два дня не будет, казаки могут уходить. Делегация ушла, а Баратов упал в кресло и плакал...

* * *

— Домой!

— По домам...

На фронте стоял стон, и не было силы, чтобы его остановить. Корпусный Комитет, Комиссариат и Штаб Корпуса были завалены петициями, телеграммами и осаждались делегациями, приехавшими просить об отводе войск в Россию. Штаб передавал все по команде в Тифлис, но оттуда ничего не отвечали.

Приходили телеграммы по адресу: „всем, всем, всем“, за неизвестными подписями, с предложениями бросать фронт, мириться самим частям с неприятелем.

Новые лозунги: „мир на фронте, война в тылу“, „мир хижинам — война дворцам“, манили и дразнили, мешали воевать, работать, есть и спать...

Телеграммы о перемирии.

Красокар предлагал избрать делегатов от Корпуса и совместно с представителями штаба отправиться к туркам для заключения перемирия. К такому-то числу.

— Куда?

В Главный Штаб турецких войск.

— О, радость... Ведь три года войны! Война кончается...

— А победа? Где же победный конец?

* * *

В составе Корпусного Комитета не все шло гладко. Появились новые члены Комитета — большевики. Некоторые из горячих сторонников Временного Правительства вдруг стали его врагами, другие — молчаливые и тихие вдруг заговорили, да как? Комитет раскололся почти пополам. Казаки держались дружно, образовали казачью фракцию и стояли на „государственной“ точке зрения.

Против большевиков, против самовольного ухода с фронта.

Остальные члены Комитета — тоже объединились, но большевиками себя не называли. Лидеры нового объединения проявили еще в октябре, во время предвыборной кампании в Учредительное Собрание, — большую активность. Говорили речи и вывешивали плакаты. Они проводили в Учредительное Собрание список большевиков, составленный в Тифлисе. Действовали робко, а в декабре подняли голову. Заседания Корпусного Комитета вдруг стали бурными. На фронте с турками было полное затишье, зато на политическом фронте начиналась буря.

Где-нибудь на питательном пункте не было сахара. Запрос в Комитете.

Из-за недостатка персидского серебра не выплачено солдатам жалование — скандал. Виновата империалистическая буржуазия и ее агенты — генералы и помещики.

— Едущим в отпуск в Россию надо дать винтовки!

— Да ведь они же в отпуск едут, зачем им винтовки? И как давать винтовки в тыл, когда у нас на фронте недостаточно оружия.

— Вы продались англичанам. А в России оружие лучше, чем здесь...

— Да зачем же в России оружие?

Молчание, а посмелее говорили:

— Да ведь мир хижинам...

Двор Корпусного Комитета походил на вооруженный лагерь.

Через Хамадан с фронта проходили тысячи солдат с отпусками, командировками, пропусками.

Проходили армяне, грузины, мусульмане...

В штабе были получены телеграммы из Тифлиса — образовалось Закавказское правительство. Турки угрожают границам. Для защиты Кавказа и сохранения фронта создаются национальные войска.

— Из всех частей отберите грузин, мусульман, армян. Формируйте из них по национальному признаку команды, отряды, роты. Командируйте их в распоряжение командного состава Закавказского Правительства.

Пытались формировать в Казиние. Выходило плохо... Ряды в частях таяли. Из Германшахского и Курдистанского отрядов потянулись новые группы солдат, новые просители. Они толклись во дворе и помещениях Комитета, пытались разрешить свои неразрешимые нужды. Они просили, требовали, есорились, надоедали, мешали членам Комитета работать. На собраниях Комитета, открытых для всех, они прерывали членов его, во время речей, репликами и криками. В сношениях с такими солдатами Комитет решил взять твердый тон.

События нарастали. Революция углублялась...

* * *

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В ШТАБЕ

В неудачный момент приехал французский генерал Ля-Гши.

Слава о наших победах в Персии в шестнадцатом году докатилась до Франции и, пока при Ставке французских войск решали, кого послать для связи, мы отскочили, как пружина, назад от Багдада и Ханекена. Потеряли Керманшах, стали не твердо у Виссутуна и ждали пополнений и подвоза снаряжения из России и корпусного тыла. Баратов куда-то уехал из штаба: просил Синтишна и меня принять именитого французского гостя.

Где уж тут принять, когда отступление продолжается! Наговорили кучу бодрых слов, выслушали столько же любезностей, угостили завтраком и предоставили генералу самому разбираться в обстановке.

Майор Роулансон, английский представитель при корпусе, Михаил Михайлович, как его запросто все называли, был давно у нас, видел все наши успехи, а неудачи считал временными и, после нескольких рюмок водки, закатывал на ломанном языке бодрые речи о силе русского оружия и непобедимости Алланты.

Француз привез Баратову командорский орден почетного легиона, погостил немного, получил на память тоже какой-то орден и уехал. Французы только интересовались экзотическим фронтом и при штабе корпуса постоянного представителя не держали.

Англичане другое дело. Они зорко следили за нами, а Михаил Михайлович даже верхом проделал Ханекенский поход. Операции английской Мессопотамской и нашей персидской армии были согласованы. Наш успех создавал на английском фронте полезную перегруппировку войск, а неудача тоже немедленно давала себя знать на берегах Тигра.

Петербург и Лондон делали большую политику; военные операции на Персидском фронте мало отражались на отношениях двух союзных держав.

Наоборот, переменчивое счастье войны на двух смежных фронтах — Персидском и Мессопотамском — влияло на отношения между Командующими армиями, на характер связи, на финансовые расчеты...

Лето и зиму семнадцатого года штаб корпуса опять был расквартирован в Шеве́рнии, около Хамадана.

Шеве́рнии — в семи верстах от древней столицы Персии. Шеве́рнии — усадьба, с большим двухэтажным домом и огромным количеством жилых помещений и служб, пристроенных у северной стены высокого глиняного забора, окружающего поместье. Усадьба — не менее квадратной версты принадлежит старому хамаданскому губернатору, миллионному помещику.

Сколько здесь было свежести и тени еще прошлым летом! А теперь голо и жарко, и большой двухэтажный дом сиротливо стоит посреди огромного двора. Турки за зиму вырубали весь сад и сожгли деревья в больших неуютных каминах ханского дома и служб.

Мертвая страна Персии. Растительности мало, цветов нет, а Божьего дара — песни птиц почти никогда не услышишь. Солнце выжгло всю жизнь, испепелило траву и высушило воду. А там, где воды нет — нет и жизни.

Из глубины земли с большим трудом достал человек воду и оживил клочек земли.

Ханскому саду было больше ста лет. В шумистов листья бук и тополя воздушные обитатели знойной страны находили прият и прохладу, и веселое чирканье и пение птиц наполнило весь сад, оживило горный ландшафт и хмурью застывшие массивы Эльвенда.

Горная цепь кристаллических пород Загресса полукругом охватывает равнину, и бесконечные звенья гор уходят на запад к Урмию, на восток за Керман, теряясь на горизонте. По склонам Загресса, через западную ширь плоскогорья, тянутся зелено-сочные пастбища, фруктовые сады, кудрявые рощи, леса. В хмурой чаще лесов густое население — бурый медведь, кабаны, стада коз, волки и лисы. На Востоке Загресс сменяет одежды. Краски бледнее — его путь пролетает через степь и пустыню.

Хамадан у подножья Эльвенда. Сколько столетий древнему городу?

Двадцать пять. Хамадан — древние Экбатаны. Персидский город своей эпохи. Легендарная Семирамида у склонов Эльвенда построила дворец — чудо архитектурного искусства. Старые Экбатаны покоренной Мидии блистали богатством и роскошью. Она уже больше не столица свободного государства, а лишь резиденция подвластного сатрапа. Аххемениды были столь же тщеславны, как и храбры. Дарий I приказал выстроить новый город у подножья Эльвенда — новые Экбатаны. Этот город должен быть богаче всех, краше всех. Цари Персии имели четыре столицы. В Вавилоне жили зимой, — тепло. В Экбатанах — летом, не жарко. Роскошь зданий Экбатар была поразительна. Царский дворец имел семь стадий*) и окружности; у дворца — пятадель, но город не был окружен стенами. Зачем? Разве границы Великой монархии защищены не надежно?

Все древние сооружения дворца из кипариса и кедра. Кровельные доски из чистого серебра, а балки, колонны и потолки оббиты серебром и золотом. В храме Эны колонны обложены золотом...

В упорном состязании двух великих монархий древности персы не выдержали. Великая монархия была разрушена в три года. Греки ликовали, а Александр Македонский после битвы при Арбеллах занял Экбатаны. Наступление непобедимых полчищ было так стремительно, что персы не успели вывезти из города несметных богатств. Греки захватили в Экбатанах богатую казну царя Дария III, сокровища

*) Мера длины у греков равная 600 футам.

столицы и придворной знати. Шумные войны победителя заняли город. Александр Великий разграбил город, дворец и двинулся дальше на юг, предавая на своем пути все мечу и огню...

Прошли еще века. Были опять вторжения, нашествия, битвы. Грабили город, храмы, дворец. Кто? Антигон, Селевк, Никанор и другие.

Что же осталось от роскоши древнего города?

Иногда в самом Хамадане, а чаще в окрестностях, в открытом поле, можно видеть остатки былого величия человеческой культуры на этом забытом Востоке. Куски белого камня и мрамора, цилиндрические обломки огромных каменных колонн, мраморные плиты и разбитые орнаменты скульптурных украшений.

За восточной окраиной города, в поле, недалеко от проезжей грунтовой дороги, гигантских размеров каменный лев. Лапами и хвостом он зарылся в землю, а туловище все же в уровень человеческого роста. Морда у льва обезображена временем и маслянисто-темного цвета. На бурой земле, около головы, — на камне, сотни небольших камней формы фаллуса. Ночью, когда кипучая жизнь Хамадана замирает, ко льву крадутся стыдливые фигуры одиноких персиянок, страдающих бесплодием, и возносят горячие молитвы Аллаху, прося его помощи. Они приносят с собой благовонное масло, каменных фаллусов и благоговейно мажут морду льва, а камни складывают у подножия статуи.

„Лев Александра Македонского“ — священное место. Народное предание приписывает льву таинственную силу.

* * *

Из бесконечных лабиринтов Хамаданского базара выбираешься на воздух с облегчением. Кривые переулки, с однообразными желтыми стенами, тянутся во всех направлениях, перекрещиваются и, кажется, им нет конца. Единственная возможность не заблудиться — ориентироваться по большим белым надписям на заборах у перекрестков:

— В Корпусное Интендантство.

— В гараж.

— В пит. п. В. З. С.

— В Шверин.

Белые русские буквы помогают везде изучению географии городов чуждой нам архитектуры.

Недалеко от одного из входов базара, там, где кривые переулки, запутавшись, образуют неразвязанный узел, — тихая площадь с постройкой посредине. Не то храм, не то гробница. Здание небольшое — кубической формы, с высоким куполом. Вход сводчатый, а остроконечный купол украшен разноцветной мозаикой. Это — гробница библейских Эсфирь и Мардохая. Евреи чтут это место; почетные иностранцы могут войти и внутрь. На площади у основания гробницы какой-то каменный круг — непонятного значения — нечто вроде трибуны для проповедников, а кругом склады дров и хвороста.

Внутри сводчатого входа, прячась в тени, сидят два еврея, сторожа-привратники. Они с готовностью показывают гробницу иностранцу, рассказывают про красавицу Эсфирь, Мудрого Мардохая, муки еврейского народа, стоившего под чужеземным игом, про патриотизм Эсфири...

Два золоченых саркофага стоят посреди гробницы; и мистический свет сверху и запах ветхости и древности, и монотонный говор привратника на непонятном языке — старый, уснувший на веки, мир. Мир далекого прошлого — ветхозаветный

Сколько тысячелетий стоят эти тяжелые каменные гробы, нестерпимые непонятными древне-еврейскими знаками и буквами?

И саркофаги, и помещение, и древнее здание — реставрированы.

Удалось человеку сохранить эпизод из жизни предков своих и чтит он место это, и оно стало святым для него. Пбо незыблемо стоит в веках камни эти, а в сердцах людей сама радостная легенда о красавице Дефири и Мардохее.

* * *

Ночь. Уже декабрь и холодно, а в небе так же, как и весной, большие блестящие звезды. Я выхожу на площадь и у самой гробницы вижу тень...

— Селим, это Вы?

Молчит. Ясно — он. Его серая шапка и ненужный бантык.

— На кой черт Вы назначили мне здесь свидание?

Отвечает:

— Был недалеко и хотел поговорить без свидетелей.

Любит он из всего создавать таинственность.

— Ну ладно.

Селим Георгиевич Альхави — одна из незаметных, но красочных и влиятельных фигур на нашем фронте.

Почему? Чин прапорщика, а ума всякому генералу может дать взаймы.

Араб — сириец, еще в детстве был отправлен нашими миссионерами в Россию. Умный, способный и прилежный, Селим Георгиевич быстро прошел среднюю школу и к началу войны имел в руках диплом Петербургского Университета. На персидском фронте стремился попасть в штаб, — попал; кормил и поил офицеров штаба дешево, вкусно и обильно. Был великолепный хозяин собрания. Врагов не имел, приобретал только друзей и, хотя был прапорщиком, но заведывал политической частью штаба. Заведывал талантливо. Знал всегда и везде — что делается. Великолепный информатор, хитрец, ловкач и дипломат. На Баратова имел значительное влияние и давал часто дельные советы.

— Ну, как твое мнение, Селим, — спрашивал Баратов.

Масленные глаза араба щурились и с небольшим акцентом он что-то говорил. Как будто, что-то путное, а что — не разберешь.

Он публично никогда не излагал своих взглядов. На всякий вопрос имел свою точку зрения, но блестяще маскировал. Он подсказывал ее собеседнику; подсовывал незаметно какую-либо мысль, а собеседник, не находивший выхода, радостно считал эту мысль неожиданным собственным открытием.

После революции, когда жизнь очень осложнилась, Альхави в штабе — плавал, как рыба по воде. Вопросы политические поглотили и стратегию, и тактику, и экономику фронта. Альхави сообщал новости, умел их объяснить, вел переговоры с Корпусным Комитетом, был принят всею и был желанным собеседником и гостем. Когда уходили все, после заседания, и он оставался один, с глазу на глаз, он говорил коротко и ясно.

— Ну, что же, говорите, Селим Георгиевич.

— Через два месяца от нашего фронта ничего не останется.

— Знаю.

— Энзели и Казвин уже не повинуются ни Баратову, ни Вам, ни Комитету.

— Знаю.

— На всем нашем фронте уже началась революция.

— Тоже знаю.

— Вы вот все знаете, а что делать — Вы знаете?

— Тоже знаю. — Я засмеялся.

— А что?

— Да ничего.

Альхави расхохотался.

— Чего Вы смеетесь?

— Я думал, что разговор длиннее будет. Думал, что убеждать придется. Как легко мы сговорились и понимаем друг друга.

Затем понизил голос:

— Комкора арестовать хотят... и весь штаб...

* * *

Генерала А. И. Линицкого, начальника штаба, любили все. За прямоту, простоту и энергию. Генерал политики не любил, да и не понимал в ней, по собственному признанию. Работал много, и снабженцем в семнадцатом году армия в значительной степени обязана ему.

Любил очень семью свою, получал тревожные и тяжелые письма. Заметно нервничал. Между Комкором и Наштабом стали происходить недоразумения, стычки. Баратов — спокойный и сдержанный, Линицкий — горячий, непосредственный. Искры при столкновениях бывали и раньше, а теперь уже появился огонь. Линицкий решил уехать в Россию и Баратов ему не препятствовал. Он вызывал из Тифлиса на место начальника штаба В. Г. Ласточкина, генерального штаба генерала, своего старинного приятеля — „спокойного, сдержанного“.

Снегу намело в Северине изрядно. Большая редкость.

Я сидел в кабинете Комкора и о чем-то горячо спорил.

— Ваше Превосходительство, — доложил вестовой, — генерал Ласточкин приехал, просит доложить.

В кабинет ввалился запущенный снегом, в валенках и полушубке, толстый невысокого роста человек.

— Ласточкин.

Я поклонился.

— Да ты знаешь, — обратился он к Баратову. — Насилу в Казвине автомобиль получил. Говорю: новый начальник штаба корпуса.

— Какой там еще новый начальник? Войну кончать надо. Поворачивайте назад, господин генерал...

— Да, я уж думал, что ты совсем не приедешь. Ну и во-время, братец ты мой, приехал, — сказал Баратов. — Штаб-то есть, а вот корпуса почти уже и нет! То-есть есть, стоят еще, но скоро тронутся все и домой уйдут. Так, что ты будешь просто начальник штаба, без корпуса.

Баратов находил силы шутить.

Вошел Альхави и начал что-то шептать Баратову.

— Да ты расскажи громко. Вот, Владимир Гурьевич, рекомендую твоему вниманию — Баратов обращался к Ласточкину, — Селим Премудрый. Начальник политической части, мой большой друг.

Альхави рассказывал новости:

— Сообщают из Казвина. В Энзели приехал из России эмиссар Правительства Народных Комиссаров. Левый эс-эр. Блюмкин *).

Альхави был прав.

Эмиссар уже несколько дней находился в Энзели.

*) Впоследствии убивший в Москве германского посла графа Мирбаха.

— В Казвине, во главе Военно-Революционного Комитета стоит, вместо Шах-Назарова — Владимирова.

Мы знали Владимирова.

Это был старый революционер, эс-эр, недавно бывший председателем Исполнительного Комитета в Керманшахе.

Альхави продолжал:

— В Казвине на митинге выступал Мдивани.

Баратов удивлялся:

— Как Мдивани? Да ведь он в армии не состоит!

Я смеялся.

— Ох, Николай Николаевич... ведь революция!..

Громоподобный Мдивани, участия в составе Комитета не принимал — он был частным лицом в Персии. Он только „рыкал“ на митингах, пользуясь у солдат совершенно исключительным успехом.

— А Вы слышали? — говорил Альхави, обращаясь ко мне. — Коломийцев уже тоже левый эс-эр.

— Да ведь он всегда был эс-эром...

Коломийцев — студент, прапорщик, занял в Керманшахе в Комитете место Владимирова. Солдаты любили его и в гарнизоне был образцовый порядок.

Баратов вздохнул:

— Да, Владимир Гурьевич... вот наши интересы теперь... Военных дел никаких, занимаемся политикой.

* * *

Январь и февраль восемнадцатого года.

Штаб Корпуса, Корпусный Комитет и канцелярия Военного Комиссара осаждались телеграммами и делегациями. По фронту стоял стон:

— Домой...

Какая-то сила еще удерживала части. Вероятно, сила традиционного воинского долга. Половина войск состояла из казаков. Они признавали своих начальников, а командиры частей без приказа уходить с фронта не хотели. Тыл — Энзели и Казвин оторвались от Корпуса и споелись с Россией непосредственно, минуя нас. Гарнизон Хамадана, войска на фронте и на флангах признавали Баратова, штаб, Корпусный Комитет, Комиссара. Из Корпуса вынал небольшой тыловой сектор, но если продолжать удерживать войска, то они уйдут самовольно. Уйдут внезапно, поднявшись ураганом, сметая все на своем пути.

— В России делят землю, фабрики, заводы, дома, — а мы тут стоим.

— Довольно поддерживать англичан.

Из Сеше телеграфировали те, что в поябре Баратова и меня несли на руках:

— Полк постановил... взорвать склады патронов, предназначенные для защиты международного империализма...

Патронов было несколько миллионов.

Мы отвечали:

— Взрывать патронов не нужно. Они пригодятся в России. Скоро пойдете домой. Завтра Корпусной Комитет при участии ваших делегатов будет обсуждать вопрос о выводе Корпуса из Персии. Соблюдайте революционный порядок...

* * *

Нами — Баратовым и мной — была послана в Тифлис телеграмма — решить в течение сорока восьми часов приступить к выводу корпуса. Отрицательный ответ не возможен. В случае неполучения ответа, сами даем приказ об эвакуации. Если войска тронутся без разрешения — последствия могут быть очень печальны. Пострадает мирное население Персии.

* * *

До истечения указанного нами срока из Тифлиса от Главнокомандующего Кавказским фронтом было получено телеграфное разрешение вывести войска из Персии в Россию.

* * *

Заседание Корпусного Комитета было многочисленным и бурным. Небольшая комната заседаний и смежная с ней были переполнены до крайности. Не смотря на холодный день, сотни казаков и солдат наполняли двор. Заседание началось утром и продолжалось до поздней ночи. Главный вопрос был ясен.

Уходить.

Но противники-большевики и казаки придирались почти к каждому слову, прения обострялись и затягивались. Главный вопрос — порядок выступления частей. На фронте было семьдесят пять тысяч человек, из которых половина конница. Чтобы понасть обратно в Россию, нужно пересечь Каспийское море. Нашим тылом была вода.

— Вывести кавалерийский корпус?!

Это значит: вывести лошадей, обозы, орудия, оружие, патроны, склады вещевые и продовольственные и тысячи других вещей. Нужны пароходы. Сколько? Семьдесят пять? Сто? Хватит ли их в Каспийском море? Ведь теперь зима. Сколько времени будет возить? Неделю? Месяц? Два? Погрузка и разгрузка должна отнять очень много времени. Какие пароходы? Их тоннаж? Как их достать?

Надо ехать добывать — в Баку, Петровск...

Перед Комитетом стояли тысячи вопросов, но главный — кому и в каком порядке уходить, давил на мозги, раздражал и вызывал долгие и бурные споры.

В кудлатой кубанской шапке есаул Гречкин горячо доказывал принцип справедливости.

— Уходить первыми должны те, кто раньше пришел в Персию. Казаки пришли раньше всех. Еще в пятнадцатом и начале шестнадцатого.

Есаула поддерживали: выдержанный Рудько, разумный Седашев, кристальный Стахорский — товарищ председателя. Но есаул лучше умел состязаться на поле брани, чем в словесном турнире. Он уклонялся от темы, делал личные выпады и раздражал своих противников слева. Его перебивали. Гигант Бурденко ревел и перебивал оратора:

— Отцы наши и деды всю жизнь воевали. Для кого? Зачем? И я воюю. Довольно. Будь прокляты англичане!

Талантливый и злой Осипян шипел, как змея, подливая масло в огонь. Его реплики:

— Империалисты! Эх, казачки, казачки. Что, опять будете умирять революцию? Это Вам не девятьсот пятый год.

Гречкин свирепел; после какой-то особенно злой реплики, схватился за книжал и сделал движение в сторону своего врага...

— Ах за книжал? Вот как!

Крики, гам, стук. Вскочили с мест, угрожая кулаками.

Пришлось прервать заседание. В прокуренной, насыщенной неаренциями взвинченных людей и накаленной страстью огненных слов, комнате — было душно, шумно, бестолково.

В перерыве политические страсти разгорелись еще больше.

С искаженными лицами, размахивая мозолистыми длинными руками, группа великанов шофферов-большевиков отбивалась от наседавших казаков. Казаков было больше и говорить они умели складнее трех шофферов. Кричали все.

Пусть, пусть выливается кипучая энергия в безответственный час, ведь скоро надо ринуть и действовать.

Частым, пришедшим на фронт недавно, предстояла неприятная перспектива — покинуть Персию позже всех, т. е. через несколько месяцев. Было ясно, что правильно поставленная эвакуация фронта при наличии всех объективных условий требовала не менее четырех месяцев.

— Что же допустим, что туркестанцы приняли после других, должны они ждать?

— Должны.

— А если часть стоит в Энзели у самого парохода, то, значит, тоже не может ехать, если пришла в Персию позже другой?

— Не может ехать.

Благоразумие и справедливость взяли верх.

Постановлением Комитета, при штабе была образована особая комиссия по выводу корпуса, при участии комиссаров Корпусного Комитета, которой была дана директива:

— Прежде уходит та войсковая часть, которая прибыла на фронт раньше.

Особая Комиссия выработала воззвание, план выхода частей и блестяще руководила сложным делом.

Телеграф и телефон на другой день оповестили все войска о решении Корпусного Комитета. Ликование не было пределов.

Баратов и я выезжали на позиции. Перед четвертым пограничным „железным“ полком Баратов сказал:

— Вы пойдете на отдых в Ставропольскую губернию.

Ему не дали говорить. Крики ура заглушили слова, а я так и не понял — почему в Ставропольскую и почему на отдых? Гражданская война началась — куда дойдут солдаты полка и в каком числе — угадать трудно...

* * *

Казвин, Хамадан, Керманих и другие центры армии всегда были загружены солдатами, но после революции число войск в городах значительно увеличилось.

Больные, выписавшиеся из госпиталей, отпусковые, командиремые по делам службы, сменяющиеся части наполняли эти центры, увеличивая вдвое, втрое нормальный гарнизон. Зимой 1917-1918 года в городских гарнизонах было много празднующихся солдат. После постановления Корпусного Комитета и приказа об эвакуации в Россию, сложная машина армейского организма пришла в движение, более радостное, чем наступление, и русское военное население городов Персии сразу увеличилось.

Комиссия по выводу войск, составляя маршруты движений войсковых частей, избегала следования их через города.

Помещений нет, да и много соблазнов.

Однако, все же, кое-какие части просачивались и в города.

Хамадан кишел серо-зеленой солдатской массой. Части возвращались с оружием в полном боевом снаряжении. Солдат и казак располагал сотней патронов, а в кармане ни гроша. В ожидании очереди отправки, кормовых, каких-нибудь документов, бродили полу-голодные казаки и солдаты по переулкам крытых базаров, мимо магазинов с дразнящими товарами, выставленными на показ в поражающем изобилии.

* * *

Как начался погром, сказать трудно.

Я забыл подлинную причину, вернее повод погрома. Была какая-то комиссия, что-то установила, но события шли тогда уже таким быстрым темпом, что вскоре забыли и о погроме и о комиссии. Кажется, солдаты покупатели повздорили с персами кушцами.

Началось с утра.

Били посуду, стекла. Разбивали ящики. Тащили материю, кожу, гвозди и сладости... Переворачивали вверх дном магазинны, громили прилавки и били защищавших свои товары и сопротивлявшихся торговцев и приказчиков. Спешно закрывались наглухо лавки, еще не подвергшиеся разграблению, и на открытых улицах города, и в лабиринтах крытого рынка стоял шум, крики, грохот и плач...

Члены Корпусного Комитета помчались к местам погрома, полные решимости остановить позорное дело грабителей.

— Ведь это же нейтральная страна!

— Позор.

— В воюющей стране не трогаем мирного жителя. А здесь этот прекрасный благорасположенный бедный народ! Торговцы то в большинстве сами ремесленники...

— Эх, эх... да еще когда? Во время эвакуации. Да ведь нам в спешу будут стрелять с каждого холма, из-за каждого утеса! Видали перевалы?

— Что вы делаете, безумные? Остановитесь.

— Да кто ты такой? Чего орешь?

— Я член Корпусного Комитета... Остановитесь, товарищи.

— К... всех этих членов. Бей, бей, товарищи, го-го-го... Тащи ковер, там разберем...

Член Комитета — огромный детина, рассвиренел.

— Не ругайся.

Бац по морде.

— Будешь стервец. Брось ковер.

В другом месте слово убеждения подействовало.

В третьем — в руках у казака сверкнула сталь нагана и толпа солдат разбежалась.

Появился вооруженный „Отряд Корпусного Комитета“. Все молодые революционные солдаты из разных частей. Отряд для того и создали, чтобы иметь возможность, когда нужно, „подкрепить решение Комитета“ реальной силой. Разгонили кучки грабителей, отнимали награбленное, возвращали владельцам и арестовывали отдельных подстрекателей и зачинщиков.

Через час погром прекратился, но уже в этот день базары не открывались.

* * *

— У телефона Командир Корнуса. Это Вы, Алексей Григорьевич?

— Я...

— Можно Вас просить сейчас приехать ко мне?

Я сел в свой затасканный „Форд“ и поехал.

Был вечер. Дорога грязная: мокрый снег большими хлопьями падал в открытый автомобиль.

— Кому это в такой час и такую погоду пришлось в голову ехать?

Горловые звуки печальной мелодии без слов доносились слева и приближались. Автомобиль был с глушителем — по мокрой мягкой дороге шел почти бесшумно. Я попросил шофера остановиться. Звук росли, а невидимый певец уже высоким гортанным голосом рассказывал какую-то восточную сказку...

Много слышал я этих песен. Горный житель, мальчик-пастух рассказывал свою жизнь. Говорил просто, без слов, зная, что его слушатели — послушное стадо и неприветливые горы.

Той же однообразной мелодией жаловался на свою судьбу крестьянин, зубом деревянной допотопной бороны ковырявший сухую и скудную землю. Так же тоскливо, с надрывом, пели по вечерам горожане эти песни на плоских крышах убогих лачуг своих, высоко задрав голову к усеянному звездами небу.

Песни Персии! Они так же печальны, как унылые горы, выжженные солнцем равнины и серо-желтые слепые деревушки Ирана...

— Поедем, Алексей Григорьевич.

Я продрог. Сколько же мы стояли посреди дороги?

У ворот штабного двора в Шеврине нас никто не окликнул. Подъехали к дому. Никакой охраны. Всегда я привык видеть по ночам на широкой веранде штабного дома двух смелых казаков. Сегодня никого.

— Что побудило случилось?

Баратов был один и писал у стола, заваленного бумагами.

— Да уж так несколько дней: я замечал сам. Нариды делаются, но казаки уже не хотят охранять своего Командира Корнуса. Они просто уходят спать. Да, ведь, Вы знаете, я не придаю этим охранам никакого значения. Охраняет верующего один Господь Бог...

Поговорили о делах.

— Как хорошо, что Вы приехали. У нас, ведь, нет от Вас секретов. Правда, такая мысль у меня была в голове, но молодежь сама до этого додумалась. Аннибал, Марков, Селим... да все. Они мне проходу не дают.

Вы знаете какой вопрос? Войска уходит. Через три-четыре месяца здесь из Корнуса никого не останется.

Сколько России стоили мы, т. е. наш Корнус, Корнус Вадбольского, да и вообще все эти дороги, банки, порты, консулы, представительство и тому подобное? А наша политика? Говорят, империалистическая. Уверю вас, она просто — национальная. При всяком правительстве у России, как государства, будут здесь большие экономические и политические интересы. Ну, сейчас уходит все, устали, — революция. Но, ведь, это же пенхоз. Придет время, России опустеет, и здесь всюду будут англичане, а не русские. Понимаете, что за несколько месяцев пропадет вся столетняя работа России в Персии...

Он задумался.

— Вы ничего не имеете против, если я приглашу молодежь сюда?

Кабинет скоро наполнился штабными офицерами. Здесь почти не было кадровых. Таширов, Стучевский, Аннибал, Альхави, Бульба, Соколов, Марков, Федоров... Все временно одетые в форму прапорщиков, представители либеральных профессий.

Баратова всегда окружала хорошая молодежь. Нельзя того же сказать про старших. Штабные еще ничего, но начальники частей и управлений — генералы и

штаб-офицеры, не всегда соответствовали назначению. В первом корпусе было много людей, присланных на фронт по протекции, без ведома Баратова и помимо его желания.

Баратов изложил цель совещания. Повторил то же, что сказал и мне.

— Конечно, это собственно, не наше дело — политика и дипломатия, по в чрезвычайных, так сказать, обстоятельствах приходится и это делать. Ведь центральной власти нет. Главнокомандующий Кавказским фронтом новую власть в Петербурге не признает; нам никаких указаний нет. Я запросил Тифлис, но ответа, по обыкновению, нет. Что-то надо делать. Иван Иванович — он обратился к Таширову, — так я изложил то, о чем мы разговаривали?

Споров почти не было. Не допускали мысли, чтобы все казаки и солдаты хотели уйти с фронта.

Неужели не найдется несколько сот человек, которые добровольно, на особых условиях, согласятся остаться в Персии и составить добровольческий отряд, который будет продолжать отстаивать русские интересы, безопасность граждан, учреждений и целостность имущества?

Так и решили: сформировать такой добровольческий отряд. Сообщить о желательности создания такого отряда Военному Комиссару и Корпусному Комитету и просить их совместно с Командиром Корпуса сформировать отряд.

— Хотите заняться таким делом, — спросил я своего помощника Васильева.

Он подхватил идею, стал ее развивать и проводить в жизнь. Корпусный Комитет, не без трений, но тоже согласился с предложением Баратова и даже обратился к войскам с воззванием.

Васильев горячился, как всегда, — скоро достал деньги, оружие, обозы, лошадей и набрал человек триста добровольцев.

Ну и намучились же мы с этими добровольцами!

Выяснилось, что значительная часть из них были венеритики, которым стыдно было возвращаться домой к своим семьям...

— Отчаянная публика, — говорил Васильев.

Пьянствовали, скандалили, просили и вымогательствовали, где только можно и как только можно. Васильев платил им изрядное жалованье, придед, давал мыло, табак и прочее. Они ничем не удовлетворялись, устраивали митинги — не политические — нет, а для обсуждения нужд своих, и нагнали с каждым днем.

Строевой частью „добровольцев“ заведывал храбрый полковник — барон Медем. Он вводил дисциплину. Не нравилось. Решили его арестовать; Медем принужден был скрываться. Грозили арестом Баратову в случае неудовлетворения каких-то требований.

Я приехал как-то в штаб поздно ночью. Баратов выехал в Керманшах; зашел к Ласточкину.

— Ну, батюшка, наделали мы себе сами!

— А что?

— Да от „добровольцев“ житья нету! Днем все что нибудь требуют, а ночью — песни, палба, хулиганство...

— Как с охрапой?

— Наладилось. Все штабные офицеры дежурят по очереди. Да что толку-то!

* * *

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ПАРТИЗАНЫ ФРОНТА: ШКУРО И БИЧЕРАХОВ

Из темноты я услышал крики:

— Стой, стой!

— Это не нам, Иван Савельевич?

— Должно быть нам. Как будто кругом больше никого нет.

Беляничков остановил автомобиль. Ко мне подбежал маленького роста человек в большой панаме.

— Вы куда? В Северин? В Штаб? Позвольте представиться: войсковой старшина Шкуро.

Я назвал себя.

— Мне нужно к командиру корпуса, да этот проклятый грузовик до утра будет идти. Подвезите, пожалуйста.

Мы поехали. В темноте на Северин-Хамаданской дороге беспомощно стоял грузовой автомобиль. Шкуро кричал казаку:

— Смотри ящики не побей! Найдешь меня в офицерском собрании.

Обращаясь ко мне, прибавил:

— Два ящика „Абрау“ везу из России. Ну и хлестот же с ними набрался по дороге! Водки не люблю, а „грубое“ ничего.

Он говорил без умолку.

— Ездил на Кубань, на заседание рады, делегатом от своего отряда. Вы не видели моих партизан? Волки. Ну так, приезжаю я в Екатеринодар. Идет заседание. В Раде. Понимаете, обсуждается вопрос о форме правления! Казаков, офицеров — тьма. Один делегат с фронта говорит:

— Мне наказ дан кубанцами от полка добиваться республики.

Другой говорит:

— Федеративной, социалистической.

Третий:

— Автономной Кубанской республики.

Все за республику. Выхожу я:

— А мои волки. — говорю я, — поручили мне передать всей Кубани, Раде и казакам, что они стоят и будут биться за конституционную монархию.

Только я это сказал, — крики: долой, вон, шум, свист. Ну, ничего, обошлось... По дороге сюда тоже не обошлось без приключений... Вот это и Шеверия? А где же Комкор?

Мы поднялись к командиру корпуса. Был сентябрь, часов десять вечера. Баратов принял нас вместе. Вошел Альяхви. Обычным вкрадчивым голосом:

— Вы уже здесь, а мы тут о Вас хлопочем.

Шкуро рассказывал:

— Если бы не Комиссар, сегодня не попал бы к Вам. Спасибо. О чем хлопочете? Альяхви совсем закрыл глаза.

— Да, ведь, Вы же считаетесь арестованным в Юзбаш-чае.

— Ах, это? Я не успел еще рассказать. Вы, Ваше Превосходительство, знаете, что со мной случилось по дороге, уже здесь в Персии? Приехал в Энзели. С трудом достал автомобиль, снесу к Вам и моим партизанам. По дороге, недалеко от Казвина, стал завтракать. Один. А ехал только с казаком. Что-то мне понадобилось. Обращаюсь к солдату — этанному.

— Принеси.

— Я, говорит, Вам, господин полковник, не носильщик. Да мне и некогда.

— А куда ты снесишь, говорю.

— Заседание этанного Комитета.

— Ах, ты, говорю, с.....ь. Что ж это за дело — заседание Комитета? Скоро всех Вас вешать будем.

Баратов нахмурился.

— Ну, что Вы, Андрей Григорьевич!

— Нет, погодите, Ваше Превосходительство. Собираюсь я идти: стоп. Не пускают. Человек десять солдат.

— Вы арестованы.

— Как арестован? да мне к командиру корпуса надо, да я Вас!...

— Да Вы не кричите, полковник.

— Сиж. Поставили охрану мерзавцы. Думаю, как бы это ходу дать? Говорю своему казаку:

— Ты ловчись на какой-нибудь проезжий грузовик, да ящики захвати. Абрау с собой везу. Приедешь в Казвин, да на телефон со штабом соединишься. Проси доложить Командиру Корпуса, что войсковой старшина арестован. Под вечер казаку удалось уехать. Сиж уже полдня. Надоело. Велю караульному позвать сюда Комитет этана. Пришли. Говорю, что снесу и больше сидеть не могу.

— Казака моего видели? Вы про него забыли?! А он получил от меня инструкцию и уже давно в Казвине. В моем партизанском отряде тысяча человек. Что со мной будет не важно, но что вас всех перевешают, так это факт.

— Вы знаете, подействовало. Пошли совещаться и говорят:

— Вы свободны, господин полковник. Извините, вышло недоразумение.

Рассказ продолжал Альяхви:

Казаки Шкуро добрались до Казвина и доложили о происшествии в Юзбаш-чае Команданту. Командант соединился со штабом. Вызвали Альяхви. Хитрый араб сообразил, что из дела могут произойти неприятности. Хотел доложить Баратову, но его не было в тот момент в штабе. Сказал сам Команданту:

— Телефонруйте в Юзбаш-чай и скажите, что партизаны Шкуро узнали об аресте любимого начальника, взволновались, требуют грузовые автомобили и выезжают в Юзбаш-чай освобождать Шкуро. Скажите, что Комкор приказал казакам сидеть смирно, а вам немедленно освободить Шкуро.

Отряд Шкуро в это время находился в Курдистане, в районе Сение. Никаких автомобилей в Сение не было, да и быть не могло, т. к. дороги в Курдистане не для автомобилей. Походным же порядком, от Сение до Юзбан-чая, казаки раньше десяти — двенадцати дней добраться не могли. Да они еще и не знали об аресте Шкуро. Правда, любили они его очень.

* * *

Партизанский отряд Шкуро прибыл в Персию летом семнадцатого года. Он был сформирован на юго-западном фронте из добровольцев казаков, различных полков, незадолго до революции. Отряд был сформирован по инициативе Шкуро, с благословения и при поддержке Великого Князя Бориса Владимировича, походного атамана казачьих войск. Партизаны должны были ходить по тылам противника, — делать набеги, портить пути сообщения, жечь склады — всячески вредить неприятелю. Таких отрядов было сформировано несколько. Они были снабжены легкими орудиями, пулеметами и в военно-техническом отношении представляли самостоятельную законченную часть. На отрядном знамени Шкуринского партизанского отряда была изображена волчья голова, а на кубанских панахах казаков и офицеров баранья шерсть была заменена волчьим мехом.

* * *

Мартовская революция застала меня в Москве. Я был Комиссаром Московского Градоначальства и исполнял должность заместителя Начальника Московской милиции. Были первые дни революции. Я сидел у себя в кабинете и занимался. Была глухая почта. Мне подали телеграмму. Она была послана со станции Глухово, Екатерининской железной дороги, и адресована в Петербург Комитету Государственной Думы, военному министру и в Москву: Градоначальнику, Комиссару Москвы и еще кому-то.

— Мы, жители села Глухово, — говорилось в телеграмме — сообщаем, что сего числа, мимо нашей станции, проследовали эшелоны вооруженных казаков с фронта. В полном боевом снаряжении и амуниции, с пулеметами. На вопросы, куда едут, отвечают неохотно, на север, в Москву. Боймся, едут усмирить революцию, боймся за дорогое Временное Революционное Правительство. Телеграммами по линии пытаемся задержать казаков...

* * *

— Была думка. Признаюсь, — говорил Шкуро, — Уже в первые дни революции видел, что ничего путного не выйдет. Революция началась с севера, из столицы. Рыба с головы начинает тухнуть. Хотел с казаками усмирить Москву, да доехать не удалось.

Я спросил Шкуро о маршруте и числах. Выходило, что по Екатерининской дороге с юго-западного фронта Шкуро двигался на Москву.

— Ну и что же?

— Вижу, что с усмирением ничего не выходит. Стал проситься опять на фронт. Куда? Слышал, что в Персии есть лихой батыйка-Баратов. Стал проситься к нему. Фронт далекий, крепкий. Буду драться с турками, с курдами, с самим чертом.

Ну, не могу я видеть митингов!...

* * *

Отряд Шкуро был крепкой спяшной частью. Казаки любили своего начальника; офицерский состав был подобран очень искусно. Партизаны были — исключительно молодежь и биография каждого — сплошная удаля и отвага. Они были переранены, переколоты и ничего не боялись. Курдов держали в страхе и на позициях заменяли несколько конных полков. Партизанский отряд скучал на позициях, — боев не было, а сам Шкуро метался между Хамаданом и Сенне. В декабре партизан вызвали в Хамадан, и, казалось, можно было быть спокойным за порядок в Хамадане. Шкуро торжествовал. Его отряд был на глазах у всех образцом дисциплины, воинского долга и стоял на „государственной“ платформе. Но это только казалось.

* * *

В сочельник семнадцатого года погода была отвратительная. Мокрыми хлопьями падал снег, таял; во дворе Шеверинской усадьбы образовались лужи и слякоть. После богослужения мы были приглашены на разговоры к партизанам. Шкуро обходил казармы и сам распоряжался.

— Чтобы у казаков было побольше еды!

— Не беспокойтесь, об араке они сами позаботились.

— Здесь нужно отодвинуть столы — а то проходу нет!

— Чтобы трубачи поменьше шли.

Через двор он переходил из одного помещения в другое в сопровождении нескольких приближенных. Из темноты раздался выстрел и Шкуро унал, схватившись за плечо. Это было первое предостережение. Праздник был испорчен. Кто стрелял неизвестно. Пуля пробила ключицу. Через три недели Шкуро выздоровел.

* * *

Партизаны стоили дорого и с ними было много хлопот.

— Прошу денег у командира корпуса, поддержите, пожалуйста, мою просьбу, — говорил Шкуро.

— Да на что Вам деньги? Все сыты и обуты. Фураж есть. Зачем Вам деньги?

— А жалованье?! Казаки без дела сидят, ну, им деньги и пужны. Если бы война была, тогда другое дело. Война это профессия казака. В войне он сам себе зарабатывает. А если войны нет, как сейчас, то чтоб казак любил и слушал — ему надо платить.

Начальник снабжения, полковник Даниельсон, постоянно ворчал:

— Опять Шкуро денег просит. Это не отряд — а прорва какая-то!

* * *

— Господин Председатель, мы к Вам.

Передо мной стояло четыре казака Шкурянского отряда. Все кавалеры четырех степеней. Одного из них, хромого, я примечал раньше. Шкуро очень его любил.

— Мы от всего отряда — делегаты. Начальника нашего, т. е. войскового старшину Шкуро мы арестовали, так как он монархист и контр-революционер. Кроме того, деньги, что нам полагаются, он задержал и не выдает. А у самого все кутежи. Просим рассудить нас со Шкурой. Затем и приехали.

С товарищем председателя Стахорским и еще с одним членом Корпусного Комитета, казаком, поехали в отряд.

Большой двор у казарм заполнен шумливой толпой вооруженных казаков. Выкатили пулеметы...

— Тес... Тинь, комиссар приехал...

В коридорах здания, приспособленного под казарму, собрались казаки. Руководители движения пространно изложили, в чем казаки обвиняют Шкуро. Нам предъявили лист, покрытый сотвыми подписей. Тут было обвинение в монархизме и контр-революционности и требование об уплате денег. Обвинения были сформулированы в общих выражениях. Казаки просили рассказать, что происходит в России и заявили, что они желают уйти домой. Только без Шкуры.

Сам Шкуро был тут же.

Бледный, с рукой на перевязи, он был сосредоточен и молчал.

Мы говорили долго и много. Рассказали о России, о Кубани; обещали назначить комиссию из членов Корпусного Комитета с участием представителей от партизан, для подробного рассмотрения обвинений и для выяснения финансовых расчетов.

Наконец, Шкуро заговорил.

Он вспоминал походы, что проделал с казаками. Яркими мазками он напомнил им историю создания отряда, общие печали неуспехов и пережитую радость побед.

— Ваши груди украшены эмблемой храбрых. Кто дал Вам их? Я. Кто вел Вас к чести и славе? — Я. Когда Вы придете на Кубань, вы не будете прятать Ваши награды, а будете с гордостью вытаскивать ваши груди, чтобы все видели и вас героев!

Он переходил от патетического пафоса к трагическому шепоту. Восклидал, укорял и зывал...

— Родная Кубань, — говорил он плача, — возьми меня в свою землю, чтобы не видеть и не испытывать мне больше позора, что я выношу...

Он почти падал в обморок на руки его окружающих. Впечатление было колоссальное. Из обвиняемого он превратился в обвинителя, вырос из маленького войскового старшины, на глазах у всех, в властного вождя, переживающего трагедию. Шкуро увели, и казаки в безмолвии разошлись. Его увели друзья-офицеры, посадили на автомобиль и увезли. Все это видели, и никто не протестовал. Арестованный на глазах у всех стал свободным. Его освободила сила его таланта убеждать и молчаливое признание всех...

* * *

Баратов и я убеждали Шкуро уехать из отряда. Политическое положение на фронте было запутанное. Связь с центром утеряна. Денег не было. Назревала эвакуация корпуса. Хлопот было много, а тут еще возни с отрядом Шкуро. Отряд в Хамадане, около штаба. Мешает работать. Казаки требовали, чтобы под командой ближайшего помощника и друга Шкуро — есаула Проценка их отвели домой на Кубань. Шкуро упирался. Он очень самолюбив и заподозрил интригу:

— Ни за что! Казаков подговорили, их сбили, я знаю их наизусть. Знаю чем дышит каждый! Не уеду. Через три дня, они опять все пойдут за мной.

Нужно сказать, что офицеры отряда все были на стороне Шкуро, да и часть казаков, конечно.

Мы были отвлечены другими делами. Шкуро, видимо, не дремал. Его агенты работали. Через четыре дня мне пред'явили новый лист с подписями казаков. Большинство, прежде подписавшихся, отказывалось от своих подписей на первом листе и признавало опять Шкуро, просило его стать во главе отряда.

Самолюбие было удовлетворено, и Шкуро согласился уехать на отдых в Тегеран. Казаков мы отправили в тыл, в Казвин и дальше.

— Грицко, дывись. Та ще ж наш цувковник!

— Та где?

— Та вон, бачь. За вугел заходыть!

— Гля, гля, черкеску снял, да и какой же чудной! В свитке! Та ще ж па-
красився. Мабуть щоб не узнали?!

— Ха, ха, ха!..

Почему Шкуро ходил в штатском и загримированный в Казвин, я до сих пор не знаю.

Казаки ушли в Россию, а Шкуро уехал кутить в Тегеран.

* * *

Корпус Баратова — левый фланг тысячеверстного русского фронта. Партизанский отряд Бичерахова — левый фланг нашего корпуса.

Бичерахов в Персии с начала операций.

— Куда же тебя назначить, — спросил Бичерахова Баратов.

— Куда прикажете, Ваше Превосходительство. Куданибудь подальше от штабов и поближе к врагу.

— Да, я это знаю, Лазарь.

Баратов задумался.

Терские и кубанские казаки — природные горцы. Легко пересекли их кони высокие снежные перевалы, бурные речки в ущельях, знойные горные равнины. Но дороге били конную жандармерию, гнали отряды курдов и остановились в самом опасном месте — у Буруджира. Постоянные стычки с разбойничьими шайками, военными отрядами... Скучать некогда.

Только мелко все это.

— Эх, хватить бы турок, немцев, черта — дивизией, корпусом в обхват, а еще лучше бы армией!

Любит Бичерахов войну, пороховой дым, канонаду пушек. Любит скакать карьером и приказывать. Под свист пуль бросается в атаку во главе партизан своих. Раненый, перераненый. Ходит с палкой. Да и как только на коне сидит?

— Ах, как хочется славы и власти! Как бурная натура жаждет живого творческого дела!..

Бичерахов — осетин. Отец природный воин в копное Царя. Как и всякий старый казак — много кой чего умеет. Кто лучше скронт черкеску?

Мальчика, мечтавшего о коне и кивжале, бредившего родным Кавказом, засадили зубрить в Петербурге и в Царском. Лазарь учился и играл с маленькими Великими Князьями.

Тогда и теперь — одинаково стремился стать первым, а карьерой его был путь пинов, а не роз...

— Дайте мне два „форда“, посплки, врача и казаки благословят Вас.

— Да зачем Вам автомобили, когда у Вас там дорог нет?

— Раненых от нас на посылках доставят, а до Кума мы дорогу поправим.

Бичерахову нельзя было отказать. Еще свежи были в памяти блестящие дела Беломестнова и Бичерахова в районе Кума, Кашана и Нефгани. Знаменитый Наиб-Гуссейн с большой пайкой разбойников готовит разгром Тегерана. Напрасно! У Рабат-Керима его разбивают на голову. Турки стремятся прорваться через Султан-Абад в столицу Ирана. Тщетно! Им мешает инициатива и решительность Бичерахова и доблесть его казаков. Славные дела! Это те дела, от которых Персия еще в пятнадцатом году пришла в изумление и которыми в свое время гордилась Россия.

* * *

— Пустите меня с партизанами вперед, — говорил Бичерахов Баратову в начале семнадцатого года, — и я сомкну оба фронта: русский и английский. Рейд Гамалия — блестящ, — но эпизод. Из двух фронтов союзников я сделаю один — Персидско-Мессонотамский.

Так, летом семнадцатого года, партизаны Бичерахова стали нашим авангардом. Партизаны сомкнули фронты и глухой осенью у Кара-Тепе казаки, совместно с английской армией, под командой генерала Маршалл дрались с турками.

* * *

Революция в разгаре. Хмурый октябрь принес войскам радость. Сначала перемирие. Мир в Брест-Литовске с немцами и мирный договор. Главнокомандующий Кавказским фронтом разрешает русским войскам уйти из Персии...

— Вы знаете, какую телеграмму прислал Бичерахов?

— ?!..

— Не хочет уходить из Мессонотамии. Не верит, что заключен мир. Так и пишет: „казаки будут драться до победного конца“. Посылаю ему повторное и решительное приказание.

Баратов был смущен и расстроен.

— Имеем такое войско, мы заключаем сепаратный мир!

Потом добавил:

— Бичерахов был на крайнем левом фланге. Работал отлично. В авангарде наших войск, тоже себя показал. В арьергарде будет не хуже. Ведь ему будет принадлежать честь вывоза имущества и прикрытия войск при отходе!

Казаки Бичерахова так далеко находились от родины и от нас, что совсем не слышали осеннего российского грома. Кроме того, они вели войну. Ходили в атаки, дрались.

Ни газет, ни митингов. Это была сохранившаяся дисциплинированная часть.

* * *

Казвин бурлил, как кипящий котел. Эвакуация шла полным ходом, и в городе было большое скопление войск. Военно-Революционный Комитет стремился, чтобы войска, попавшие в Казвин, скорее уходили дальше в тыл, в Энзели. К пароходам. Не так было легко их выпроводить. Солдаты ватагами, с песнями, ходили по городу. Митинговали. В помещении Энзели-Тегеранской дороги, в большом зале,

состоялся митинг, на котором возбужденная толпа солдат, из недавно прибывших на фронт и никогда не видавших Баратова, сорвала со стены портрет какого-то сановника министерства финансов, изорвала этот портрет, будучи уверена, что это — Баратов.

— Товарищи, да ведь Баратов — генерал, это не он.

— Все пр . . . авно. Буржуй, сволочь!

* * *

Был февраль. Самое плохое время года в Персии. Перевалы занесены снегом, в горах — бураны, а на низменных плато плоскогорий — распутица. Казвин тонул в жидкой, липкой грязи. После долгого перерыва я приехал в Казвин. С падением Временного Правительства кончились тем самым и мои полномочия Военного Комиссара этого Правительства. Корпусный Комитет признал, однако, полезным „в интересах революционного порядка, независимо от того, какая в России государственная власть и каковы будут ее новые органы“, на фронте продлить мои полномочия Военного Комиссара Корпуса.

Корпусный Комитет продолжал руководить эвакуацией Корпуса; его члены сопровождали все значительные части войск до Энзели, до пароходов, сохраняя свои полномочия. Вследствие этого ряды наши значительно поредели; Корпусный Комитет преобразовался в Корпусный Исполнительный Комитет, в составе девяти членов, под моим председательством.

Войска уходили с музыкой и песнями. Каждая часть стремилась захватить фургоны, повозки, вьючных животных, чтобы идти налегке. Своих вещей на себе не несли. Солдаты укладывали свой скарб на фургоны и пытались тут же примоститься.

В движении домой части теряли строевой вид и порой походили на движущийся караван, или цыганский табор. Яркие красные знамена в руках, на бричках, фургонах, оживляли эти военные караваны, делали все радостным и освещали путь.

Солдаты шли весело, балагурили, полные неясных радостных ощущений, — конца войны, возвращения на родину, новой жизни, ожидаемых богатств.

Офицеры сняли погоны и шли во главе частей, по чувству долга, хмурые или притворяясь радостными, не зная что с собой делать, со страхом думая о будущем. Пока были в Персии — солдаты и казаки признавали своих начальников. Некоторых заменили еще мы, то есть Корпусный Комитет и Комиссариат, других войска сменили сами.

* * *

Содержание русских войск в Персии стоило очень дорого. Тифлис всегда урезывал ассигнования и высылал деньги с запозданием. После октября эти присылки совсем прекратились. По соглашению между Петербургом и Лондоном, англичане выдавали штабу Баратова на содержание войск примерно четвертую часть стоимости расходов Корпуса. Собственно, они должны были давать больше, но Хамаданская Англо-Русская Финансовая Комиссия, ведавшая выдачей субсидий русским войскам, урезывала сметы, а начиная с марта восемнадцатого года совсем прекратила выдачу денег. Приказ был дан из Лондона. Англичане выжали из нас все, а когда увидели, что русские воевать больше не могут, бросили на произвол судьбы. Бросили голодными массу еще не ушедших войск и отказались платить наши долги.

Еще осенью не хватало средств прокормить людей и лошадей. Нужно было платить жалование, покупать продукты и фураж, платить подрядчикам за транспорт, за помещения...

В начале затыкали дыры и лопчались. Мучился Баратов, а вместе с ним и Корпусный Комитет и Комиссариат. К реквизициям прибегать не хотелось, но пришлось. Приказом по Корпусу Баратов разрешил реквизиции с болью в сердце, ибо понимал, что, по существу своему, реквизиция — насилие, а при пошатнувшейся дисциплине, может быть опасной. Войска платили за реквизируемые продукты реквизиционными квитанциями, которые предлагалось предъявлять к учету и возможной оплате в особую ликвидационную комиссию.

Долг русских войск персидскому населению с осени семнадцатого года до конца пребывания корпуса достиг восьми с половиной миллионов персидских крап и, повидимому, так и остался не погашенным в связи с прекращением выдачи англичанами субсидий. Во всяком случае он не был погашен до второй половины восемнадцатого года.

Председателем ликвидационной комиссии был назначен генерал Рубец-Масальский. Этот генерал прибыл к нам из Тифлиса осенью, еще до октябрьского переворота от Штаба Главнокомандующего в качестве финансового ревизора. В Тифлисе, как и во всех центрах, где были главные штабы фронтов, был недостаток денег. Ясно было, что Россия истощена до крайности и четвертого года войны выдержать не может. Рубль стремительно падал. Бумажных денег нужно было больше и больше. В результате прекращения экономических отношений между Россией и Персией и политических событий в России — близилась катастрофа с рублем.

В Тифлисе не углублялись в эти вопросы, а когда приходили из Персии от Баратова все увеличивающиеся требования денежных ассигнований, генералы говорили:

— Этот Баратов, опять ему нужны новые миллионы!

Враги не дремали, нащупывали, и вот, вместо присылки денег, прислали ревизора. Мы в Комитете пожимали плечами.

А рубль все падал. Он начал падать еще в пятнадцатом году, как только наши границы с Персией были закрыты.

До войны персидский серебряный туман расценивался в два наших серебряных рубля, а осенью шестнадцатого года стоял вдвое дороже. В сентябре за него платили четыре рубля двадцать копеек. Курс рубля ни в какой зависимости от военных операций не находился. В самый разгар наших успехов рубль падал. Основной причиной этого было прекращение ввоза русских товаров. До войны, когда персидский потребительский рынок был насыщен русскими товарами, рубль ценился высоко, т. к. персидские куны платили за эти товары русским рублем. Нет товаров, не нужны и русские деньги. После революции за рубль платили уже двадцать копеек и меньше. А когда началась в России гражданская война, русских денежных знаков совсем не покупали. Я знал одного персидского хана, который скунил массу мелких русских кредитных билетов, трех и пяти рублевого достоинства, и, вместо обоев, обклеил ими небольшую комнату.

Рубец-Масальскому не пришлось ревизовать Корпус. Он взял неверный тон — разыгрывал важного ревизора, был заносчив, безтактен и надоедлив. Его не взлюбили.

Вихрь революции занес его в Персию и бросил беспомощного около штаба. Денег нет, инструкций нет, начальства нет... Под красными знаменами, с войсками корпуса, в Персию возвращаться не захотел. Куда девать его? Баратов приобщил его к действительной жизни.

— Пусть, пусть разбирается...

Генерала атаковали десятки подрывчиков и поставщиков, сотни обиженных нервов и тысячи других разных просителей, истцов, держателей реквизиционных квитанций...

Войскам внушалось при производстве реквизиций соблюдать вежливость, избегать насилий и соблюдать соответствующие формальности.

Не обошлось без обид. Были грубости, насилия, нарушения гарантий. Поступали жалобы, были случаи сопротивления. В результате — зимой и весной восемнадцатого года, отношение к нам со стороны персидских властей и населения стало хуже. Шайки вооруженных всадников, из прилегающих к дорогам деревень, стали метить. В нашей слабости был источник мести и жажды наживы разбойников.

* * *

С высоких гор, в ущелье Ляушана, шайка разбойников обстреляла небольшой отряд этапной команды, идущей в Менджиль.

Несколько десятков солдат на фургонах везут свою поклажу. Иные взобрались на вещи, иные идут пешком, усталые, но радостные, как реющие над ними знамена. Выстрелы удивили сначала, ибо стояли года на этапе, а войны не видели. Винтовки на фургонах — тяжело нести. Поднялась суматоха, открыли пальбу по горам, неизвестно в кого. Нападение отбили, но радость исчезла. Убили двоих и одного ранили разбойники. Они спрятались за скалами и били наперевья. Нет, надо быть вперед осторожнее.

— Вы уж, господин прапорщик, возьмите команду!

Построились.

— Караул, вперед!

— Скорее, скорее из этой проклятой земли...

* * *

Грузовой автомобиль вышел из Хамадана утром. На нем большие, какие-то случайные казаки. Набилося народу человек двадцать, а то и больше. Отъехали от города верст пятьдесят. Мечтали чайку понить в чайной Красного Креста. Не пришлось.

Верстах в пяти от Амирие автомобиль остановили всадники — человек пятнадцать. В форме персидских жандармов, вооружены с ног до головы. Ограбили дочиста.

— Оставьте хоть сапоги, я больной.

На непонятном языке что-то кричат, бьют.

Один казак, буйная голова, схватился за папаг. Наповал убил разбойника и сам поплатился жизнью. Кого-то еще ранили. Разбойники спокойно уехали, бросив ограбленных раздетыми догола.

* * *

Уже весна. Пьянит запах свежей травы, теплое новое солнце ласкает и греет.

— Завтра в Казвине, а через день, два, в Тегеране. Хорошо будет „после всего“ отдохнуть в Тегеране, пожить несколько месяцев совсем свободным — без службы, без дела.

Так думал В. С. Муравьев — главный инженер Земского Союза в Перени, погрузившись в дрему, на укачанном его автомобиле недалеко у Резани.

Но Муравьев спешил навстречу своей судьбе. „Форд“ сломался, и как ни бился шоффер, он сам и его спутники — аптекарь, Бабин и еще один казак, ничего не выходило. Машина стала. Нужно было почевать на грязном этане и ждать. Или оказания, или пока вывезут из Хамадана исправный автомобиль. Пришла оказия, а вместе с ней и смерть. Мимо ехал другой „форд“ Союза. В нем Гесслер с женой. Остановились.

— В чем дело?

— Да вот спешу, а „форд“ сломался.

Муравьев был старший и хотел ехать немедленно дальше. Гесслер уступил автомобиль.

Миновали плато, поднялись от Маньяна по извилистым Сузтан-Булаха, спустились к Аве и узкими ущельями шумных и безлесных гор приблизились к Нов-иду. На повороте острый камень порезал покрышку; поставили домкрат и стали натягивать шину. Сверху раздался залп из нескольких ружей и дивос унало. Шоффер и аптекарь. Муравьев едва успел вытащить револьвер, как раздался второй залп, и он почувствовал острую боль в животе. Падали камни, слышен был шум и Муравьев понял, что пришла смерть. Он пополз по дороге и спустился в овраг. Живот был мокрый, кровь хлестала из раны и двигаться больше не мог. Впереди слышал гортанные голоса и вдруг вспомнил:

— А казенные деньги? Да и четки, четки тоже.

Судорожно разгребал влажную землю рукой и сунул туда бумажник и четки. Потерял сознание. Разбойник стащил сапоги и тулукру. Муравьев был жив и выдал себя сам. Застонал...

Три трупа лежали на дороге у беспомощно стоявшего „форда“, а один поодаль в овраге. У Муравьева, кроме двух огнестрельных, были еще колотые раны. Привезли деньги, и документы, и четки...

Мы были близки пятнадцать лет.

Память Муравьева приняли почтить все русские, бывшие в Казвине. После погребения, нашу печаль в талантливом надгробном слове выразил А. Я. Мартынов.

Мне привезли четки.

Все, что осталось от старого друга.

Да, четки... Они у меня висят на стене.

* * *

Немного позже, около Решта, был убит Мали — друг, солдат, доктор, тридцать лет своей жизни отдавший больным людям. Святая душа. Доктор Гааз нашего фронта. Убит бессмысленно и жестоко. Его труп нашли через четыре дня после убийства, изглоданный собаками...

В Казвине и Реште Муравьеву и Мали поставлены памятники, а сколько безымянных могил в горах и пустынях Перени оставили русские весной восемнадцатого года!

* * *

Получив повторный приказ и новую задачу, Вичерахов с отрядом быстро пришел в Керманшах и Хамадан. Ему было приказано безболезненно „закрыть корпус“. Помочь войскам вывезти имущество.

Баратов говорил:

— В Персии не должно остаться ни одного патрона, ни одного гвоздя. Тебе, Лазарь, это легко сделать. Казаки твои тебя слушаются; войска корпуса стремятся в Россию, и, конечно, им не до имущества. Только бы собственное вывезти. Мы же выводим корпус, значит, надо вывести и вывезти все... А что в России гражданская война, так что же? Несчастье, горе, а все-таки русское добро нельзя бросать на чужбине.

Керманшах Бичерахов ликвидировал быстро. Потянулись обозы, караваны верблюдов в Хамадан и дальше в Казвин.

Уже в марте часть партизан прибыла в Хамадан и расквартировалась в Шеверине. Они прибыли, как раз, в тот момент, когда безобразничали „добровольцы“ Васильева.

Казаки возмущались:

— Вы что с..... с... делаете? То вам то подай, то другое. Да Вы сколько жалования получаете? В Россию идти не хотите! Ну погодите же!

В двадцать четыре часа им было велено убраться из Хамадана. Васильев был рад такому обороту дела и решил ехать в Россию. Во главе распушенных солдат он отправился на Казвин и Энзели. Часть их разбежалась еще по дороге, а в Баку Васильев имел много хлопот с добровольцами и, из-за них, с местными властями.

Из Керманшаха, Казвина, Сенне и других мест, по общему правилу, сначала вывозилось все имущество, а потом соответственно уменьшенные гарнизоны покидали места стоянки.

* * *

Энзели был переполнен войсками, как никогда. Самый город, Казьян*), порт, берега реки и моря — представляли огромный вооруженный лагерь.

Происходила эвакуация.

Пароходов было мало и войсковые части ожидали погрузки. Ожидали нервно и появление пароходов с моря встречали криками ура.

Власть была твердая и очередь соблюдалась строжайшим образом.

Каспийский флот сделал колоссальную работу. Паровые котлы не остывали, а команды падали от усталости и напряжения. Большие десятка паровых судов день и ночь сповали между Энзели и Баку. С фронта приходили новые части, узнавали, что их очередь уже прошла — они были далеко на фронте и, пока дошли до Энзели, их очередь была потеряна — загорался спор и вмешательством Комитета справедливость восстанавливалась.

Войска вели себя сдержанно. Ни погромов, ни бесчинств, ни насилий над офицерами не было.

Говорили много, устраивали митинги, но за то и работали!

Грузили лошадей, госпитали, орудия, обозы, пулеметы, фураж, продовольствие, интенданские склады...

Грузились десятки тысяч людей с криками, песнями, руганью, стоном, смехом и шутками. Трепали лебедки, лызгали и визжали цепи, ревели гудки, ржали лошади... Над городом и морем несколько месяцев стоял гул здоровой многотысячной армии.

Город был красный.

*) — Русская часть города.

Развевались красные флаги на домах, казармах, бараках, палатках.

Они ревели на высоких мачтах пароходов, играли с ветром на столбах деревянных пристаней, на шестах прибитых к фургонам и на макушках остроконечных палаток. Везде, где был человек, было красное знамя.

Это был не тот солдат, что пришел год или два тому назад в Персию. Это были уже не те люди, что три года в грязно-зеленом тряпье были обезличены среди унылых серых гор и городов Персии.

Они теперь стали беспокойными, яркими, красными. Их озарило красное знамя. Они дышали красным воздухом, говорили красные слова и смеялись красным смехом.

Над морем с севера поднялись облака. Вечерело.

Огромные пушистые клубы облаков розовели снизу. Заходящее солнце окрасило их брызгами лучей своих, а потом весь север неба запылал.

Огонь шел оттуда, где была Россия, родина. Красные знамена казались кровавыми.

* * *

Корпус ушел, а Бичерахов с партизанами остался в Персии. Уже закрылся Корпусный Исполнительный Комитет, упразднил себя Комиссар Корпуса, а Баратов уехал в Багдад, погостить к англичанам. Бичерахов энергично собирал остатки Корпусного имущества и стягивал его в Казвине и Энзели.

Персидский фронт мировой войны перестал существовать.

Начиналась бичераховщина.

Глава партизан преобразился. Непонятным задуманным планам соответствовала манера вождя, великодержавный тон, военные приготовления. Бичерахов что-то задумал, но что?

Он говорил:

— Я только стремлюсь довести казаков до дому, на Терек.

Хитро улыбался.

Утверждали:

— Бичерахов с отрядом, отныне, — авангард английских войск, стремящихся в Баку, в Закавказье. В Энзели уже хлопочет о чем-то осторожный Альхави. Он служит новому господину. В Казвине — большой штаб, новые люди.

Кучик-хан был отлично осведомлен. Он знал, что Бичерахов ведет англичан. В Керманшахе и Хамадане уже появились первые ласточки — щеголеватые, серо-зеленые „форды“. Небольшие отряды индусов прибывали в Персию. Наступил июнь.

В горах Менджили и ущельях Рудбара засели „лесные братья“ Кучик-хана. Они укрепили горный проход — рыли окопы, расставили пулеметы и пушки.

Говорили:

— Что действуют опять немцы и турки. Они не даром тратят деньги. Кавказ займут турки, а в Баку скоро будет штаб немецких оккупационных войск. Оттого англичане так спешат в Баку и Петровск.

— Эх, эх, да ведь это все из-за русской нефти!

— Что Вы? Оставьте. Война продолжается.

„Лесные братья“ поклялись не пропускать англичан. Будет бой с Бичераховым. Отряд разобьют. Как горных курочек перестреляют казаков кучик-хановцы. Плачет ветер у Менджили, шумит Сефид-Руд, а гулкое эхо кровавого боя сотрясает горы.

— Казаки, домой! На Кубань и Терек!

Свистом пуль, горячим дыханием огня, ударами стали, казаки пробили громаду гор. Дорогу оросили кровью. Напрасно клялись „лесные братья“. Коня казаков прошили по их трунам. Английский радио-телеграф принимал:

— Дорога свободна.

* * *

В Баку и Петровске Бичерахов набирал войска. Он щедро платил английским золотом. Его отряд превратился в тридцатитысячную армию, опираясь на тыл — прибрежную полосу Каспийского моря от Энзели до Ленкорани. Бичерахов провозгласил себя Главнокомандующим Кавказским фронтом и дрался на два фронта — на внешнем с турками, на внутреннем с войсками Советской России. Он заявил:

— Брест-Литовского мира не признаю, продолжаю войну.

Он дружил с англичанами, опирался на бакинскую „демократию“ и боролся с „внутренними врагами“.

Казалось — мечты сбылись. Войсковой старшина стал генералом. Партизан — Главнокомандующим. У его ног, — богатейший город, в его распоряжении Каспийский флот, в его руках груды золота. Он щедр... раздает деньги, чины, ордена.

Калиф па час!

Узкая лента дороги от Багдада до Энзели опять оживлена. Вместо черных „фордов“ — серые. Колоннальные войска англичан шумят на базарах Керманшаха, Хамадана, Казвина и Энзели. Серые автомобили подвозят цветные войска. Они уже наполняют шумные улицы Баку, Тифлиса и Батума. Персия занята. Закавказье оккупировано. Бичерахов больше не нужен.

— Вы устали, dear general, Вам нужно отдохнуть. Вы еще нужны отечеству, а благодарная Англия никогда не забудет того, что Вы сделали, для союзного дела.

Друг Бичерахова, представитель английских войск при его отряде, полковник Клаттербек приглашал Бичерахова в гости, в Англию. От полуторатысячного ядра отряда оставалось казаков триста, не больше. Партизаны были перебиты в жестоких боях.

Бичерахов уехал в Англию.

Гром гражданской войны гремел над Россией.

* * *

Баратов возвратился из поездки в Багдад в мае восемнадцатого года. Гостил в Казвине и Тегеране. Жил в посольской даче в Заргенде у Этгера. Автомобиль Баратова ревел на улицах Тегерана — генерал имел много друзей среди персов и в сопровождении своего блестящего адъютанта, В. М. Деснотули, делал визиты. Часто видел Баратова вместе с командиром персидской казачьей дивизии, полковником Старосельским.

По городу ползли бестолковые слухи. Говорили шепотом, на ухо:

Недаром Баратов и Старосельский вместе. Будет создана персидская армия. Во главе с Баратовым.

— Как? Из кого? Для чего? На какие средства?

Ведь из России более полугодом дивизия не получает ни гроша! Офицеры голодают.

Англичан тяготила дивизия, а Баратов мозолил глаза.

— Что ему тут надо? Командующий армией — без армии. Хоть бы сидел скромно, а то ему и к шаху надо, к министрам ездит, они у него в гостях. Персы, едуру, ура ему кричат, шапки снимают...

— Вы устали, dear general. Какой огромный труд влиал на Вашу долю, а на нашу — честь воевать рядом и вместе с Вами. Как признательна Вам будет Россия и Англия. О, ведь, Англия знает Вас! Вы очень популярны в Англии, впрочем, как везде. Вы бы, Ваше Превосходительство, оказали нам честь, посетив нашу дорогую родину.

Просьбы были очень настойчивы. Они носили характер предложений. Баратову дали понять, что он должен уехать из Персии.

— Поедете через Индию, посмотрите ее чудеса...

В знойный июль, мимо встречных черных войск англичан, пыльный автомобиль увозил Баратова в Индию, в Англию, в... почетную ссылку.

К О Н Е Ц.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	СТР.
Новый фронт	5
Непрошенные гости	17
Отрезвление	26
Генерал Баратов	36
Летучка	41
На Багдад	49
Рейд Гамални	59
Назад от Ханекена	72
Графиня Бобринская	80
Табор	84
Общественные Организации	92
Шоффер Белянчиков	106
В Тегеране	111
Мохаррем и саффар	124
Вечерника	136
Великий Князь Дмитрий Павлович	146
В Курдистане	153
Революция	164
В штабе	174
Партизаны фронта: Шкуро и Бичерахов	185





The background of the entire page is a complex marbled paper pattern. It features swirling, organic shapes in various shades of gray, black, and white, creating a dynamic and textured visual effect. The pattern is dense and covers the entire surface, with some areas appearing lighter and others darker due to the interplay of the colors.

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

The Andre Savine Collection

D568.3
E46

